

СИБИРСКИЕ ОГНИ



8/2024

На первой странице
обложки:
Олег Шелудяков.
Рыцарь на белом коне.
2018



Олег Шелудяков.
Волшебный город.
2008



Олег Шелудяков.
Утренняя рыбалка.
2014

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

И. о. главного редактора:

М. В. ХЛЕБНИКОВ

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
А. Б. Шалин (Новосибирск)
М. Н. Щукин (Новосибирск)

Михаил Косарев
ответственный секретарь

Лариса Подистова
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Сергей Москвитин
редактор отдела художественной литературы

Татьяна Седлецкая
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Л. Р. Юкляева
Верстка: С. В. Колотилов

8/2024

Содержание

ПРОЗА

Наталья КОРОТКОВА. Пуля Гарибальди . Повесть.	3
Сергей ВЛАДИМИРОВ. Колодец . Рассказ.	36
Анатолий КОБЕРНИЧЕНКО. Зеркало . Рассказ.	47
Сергей СМИРНОВ. Хорошие профессии . Рассказы.	69
Евгений ПРОКОПОВ. На «сортировке» . Рассказ.	84

ПОЭЗИЯ

Алена РЫЧКОВА-ЗАКАБЛУКОВСКАЯ. Тень присутствия . Стихи.	30
Василий РЫСЕНКОВ. Очередь за небом . Стихи.	65
Константин КОМАРОВ. Плановый сплин . Стихи.	89

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Руслан ВОРОБЬЕВ. Варлам Шаламов в Туркмене	93
<i>Литературный конкурс «Иду на грозу»</i>	
Элинор ПЭЙТ. Шатун . <i>О жизни и творчестве первого научного сотрудника Саяно-Шушенского заповедника Б. П. Завацкого</i>	100

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Александр ФОКИН. «Твоя от Твоих...» Предисловие к публикации «Константинопольского дневника» Ильи Сургучёва.	117
Илья СУРГУЧЁВ. Константинопольский дневник . <i>Подготовка текста, комментарии и публикация: Александр Фокин</i>	124

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Счастливый сказочник . <i>Фрагменты из книги о Юрии Магалифе. Окончание</i>	149
--	-----

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Иван РОДИОНОВ. «Гроза» на минималках	178
Валерий ИВАНЧЕНКО. Польза жанровой обертки	181

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Инна КИМ. Что такое красота? <i>Разговор с художником Олегом Шелудяковым</i>	186
---	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

И. о. главного редактора, и. о. директора ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. В. Хлебников

Наталья КОРОТКОВА

ПУЛЯ ГАРИБАЛЬДИ

П о в е с т ь

Каждый день, за редким исключением, Максим начинал с утренней пробежки. Выходя из подъезда своей новенькой высотки, он легкой трусцой спускался вниз по Добролюбова, затем сворачивал на Большевичку к Речному вокзалу, по подземному переходу перебирался на противоположную сторону улицы. И... вот она — Михайловская набережная. За спиной стукотит, лязгая и гроыхая колесными парами, железнодорожная станция. В длинную вереницу выстраиваются друг за другом маршрутки на автобусной остановке. С шумом, прямо над головой, проносятся вагоны по метромосту. А перед глазами — сияет, несет свои воды широкая неспешная Обь.

Бегать он начал полгода назад. Шеф подсадил на это дело. Любители бега — они такие. Им мало самим марафонить, непременно надо всех знакомых и родственников в свою «секту» вовлечь. Благодаря шефу у Максима в конторе уже половина отдела в бегуны записалось. Кто-то — из корпоративной солидарности и желания начальству угодить. Кто-то — рассчитывая таким образом здоровье поправить. А кто-то — в погоне за стремительно уходящей молодостью, как завхоз Михалыч. Тому сорок недавно стукнуло. Кризис, понимаешь, среднего возраста. Вот и запаниковал мужик: мол, как так? Еще, казалось, вчера от баб отбою не было, а тут... Пузико, одышка, прочие безобразия сообразно возрасту. Ну и побежал... С армии не бегал, а тут сдуру на первой же тренировке рванул. Мотор и не выдержал, стуканул. Со стадиона с мигалками увезли.

Максим в этот «клуб любителей легкой атлетики» вступил исключительно из любопытства. Времени у него, конечно, свободного в обрез: недавно начальником отдела назначили. Ответственность большая: их строительная компания — одна из самых крупных в Сибири. Но, глядя на то, как коллеги скачивают себе на телефоны специальные приложения для бегунов, соревнуются между собой, кто сколько пробежал и с какой скоростью, тоже решил попробовать. Да и форму в последнее время подрастерял — чего уж... Однако, памятуя о печальном опыте Михалыча, прежде чем выйти на беговую тропу, пересмотрел кучу роликов

на ютьюбе. Изучил, так сказать, вопрос. Спортивную одежду опять же купил самую лучшую из той, что нашел, кроссовки крутые японские — «Асиксы», фитнес-браслет навороченный. И — вот никогда бы раньше не подумал — втянулся!

Тренировался Максим регулярно. В любую погоду. Дождь ли, снег... Слабины себе не давал. Бежал медленно, мягко, пятками не долбил. Дистанцию наращивал постепенно. Через месяц догнал до десяти километров. Иногда, в охотку, пробегал и пятнадцать. Мог бы и больше. Но обычно на этом останавливался. Хотя чувствовал, что и силы еще есть и пульс держит.

Максим бежал, любуясь на снующие по Оби прогулочные катера и речные трамвайчики, на огромные самоходные баржи и малогабаритные, но мощные буксиры-толкачи. Когда-то, много лет назад, его — деревенского паренька с Алтая — с головой захлестнуло, подхватило и понесло бурным потоком неукротимой энергии этого молодого, стремительно растущего мегаполиса. Максим ни разу не пожалел о своем выборе. Выставки, фестивали, гастроли столичных знаменитостей... Жизнь в этом городе не замирала ни на минуту. Даже по ночам. Под окнами его дома сутками напролет, и днем и ночью громыхая, проносились большегрузы, идущие транзитом через Новосибирск. И это неустанное движение бодрило, питало и заряжало своей неиссякаемой мощью.

По выходным он отправлялся в Заельцовский парк. Лучшего места для бега в городе не найти! Считаю, граница города, за парком — лес. В самом парке два асфальтовых кольца для лыжной трассы. А в лесу столько дорожек и тропинок, что пару раз он даже заблудился, но зато — это тебе не по асфальту ноги бить!

В отличие от других бегунов, он никогда не надевал наушники: предпочитал живую музыку леса. Природа — это, пожалуй, единственное, чего не хватало ему в городе. А тут... Один сосновый дух чего стоит! Почти как дома.

Вскоре Максим с удовольствием отметил, что заметно похудел. Постройнел. Походка стала энергичной, пружинистой. А самое главное — настроение. Иной раз во время пробежки его безо всякой на то причины начинал переполнять какой-то буквально щенячий восторг. Прямо повизгивать хотелось от ощущения силы, здоровья, молодости...

А в прошлом месяце Максим зарегистрировался на участие в Мюнхенском полумарафоне — опять же шеф подбил, — поэтому теперь он тренировался с удвоенной силой. Да еще, вдобавок ко всему, увлекся лечебным голоданием. И все бы хорошо, да только в последнее время как-то неважно стал себя чувствовать.

На здоровье Максим никогда не жаловался. Какие могут быть жалобы, если тебе едва за тридцать? Тем более что к организму своему он относился с таким же вниманием, как и к автомобилю, который раз в полгода в обязательном порядке загонял на СТО, справедливо полагая, что легче и — что немаловажно! — дешевле будет устранить вовремя

обнаруженный незначительный косяк, чем оплачивать потом ремонт, который влетит в копеечку.

И потому для Максима стало полной неожиданностью, когда у него вдруг обнаружили диабет. Диабет оказался второго типа. Врач объяснил, что такое у молодых хоть и редко, но встречается, особенно после перенесенных инфекций. Максим же и правда зимой переболел гриппом. Видать, аукнулось. Однако, узнав о диагнозе, рук не опустил. Да и доктор его успокоил, сказав, что в данном случае инсулин колоть не нужно, таблетками можно обойтись. А так — диета, физическая активность... Но предупредил, что излишних нагрузок следует все же избегать и тем более никакого голодания.

«Ничего-ничего, — бодрился Максим. — И не с такими болезнями живут. Прорвемся!»

Пробежать полумарафон стало для него теперь делом принципа. И он продолжил заниматься с прежним рвением.

Максим вообще привык не давать себе спуска. С самого детства. Лет в десять завел дневник, в котором тщательно анализировал и контролировал выполнение поставленных перед собой целей и задач. Еще и девиз на первой странице написал: «Если быть, то быть лучшим!» Вот так. Ни больше ни меньше. И надо сказать, Максим неуклонно следовал этому девизу. Сначала окончил с отличием школу. В его случае это была не такая уж и простая задача, поскольку родился и вырос он в глухой алтайской деревне. Ни тебе репетиторов, ни другой какой помощи. До всего доходил своим умом. А пришла пора поступать — рванул в Новосибирск. Как мать ни уговаривала на Бийск (все ближе к дому), Максим ни в какую. Подал заявление на прием сразу в три вуза — благо высокие балы по ЕГЭ позволяли — и во все три прошел по конкурсу. Немного подумав, остановил свой выбор на строительном.

А дальше — общага, жизнь студенческая... Дело это, как известно, веселое. Ко второму году обучения треть его сокурсников из института повылетала. Максим тоже не прочь был гульнуть, но учеба у него всегда оставалась на первом месте. Дневник, как в детстве, он уже не вел, но привычка расставлять приоритеты и во всем полагаться только на себя так и осталась. Жизнь у Максима была на десять лет вперед расписана.

Вот и с полумарафоном так же: пока готовился к забегу в Мюнхене, уже прикидывал, как в следующем году на такой же в Мадрид махнет. Зарботок позволял, с отпуском на работе — спасибо шефу — проблем никаких, а дома... Дома его никто больше не ждет.

С женой он разошелся месяц назад. Студенческий брак, первая любовь... Десять лет вместе прожили. Юношеские страсти улеглись, детей не завели, а интересов общих, как оказалось, — никаких. Поговорить — и то не о чем. Жена, окончив институт, устроилась офис-менеджером в контору через дорогу от их дома. Как устроилась, так десять лет на одном стуле в приемной у директора и просидела, перекладывая бумажки из одной папки в другую. Глядя на нее, Максим никак не мог



взять в толк: что ее там держит? Сам он за это время уже не единожды сменил место работы, получая все более и более интересные предложения.

И вот недавно совершенно случайно застукал супругу в кафе за одним столиком с ее начальником. Чем дольше наблюдал за ними через окно, стоя на улице, тем меньше оставалось сомнений в характере их отношений. Максим безотрывно, с яростью и брезгливостью одновременно смотрел на рыхлого, с глубокими залысынами, уже не молодого мужика. А в голове исступленно билось: «Как? Как она могла?.. Да еще с таким! Что она вообще в нем нашла?..»

Вот ведь! Вроде и любви между ними уже давно особой не было, однако измена жены больно ударила по самолюбию. Нет. Он не ворвался в кафе, не набил сопернику морду. Посчитал это ниже своего достоинства. Глубоко оскорбленный, Максим без лишних объяснений и разборок подал на развод. Жена, собрав вещи, ушла. К этому... своему.

Пожалуй, впервые жизнь пошла не по плану. И, похоже, он не был к такому готов. Максим решил сделать передышку. Столько лет в постоянном загоне: то учеба, то работа, то ипотека! Еще и диагноз этот... И развод — до кучи. А тут... Захотелось простого человеческого тепла. Поддержки, что ли? Чувство это оказалось новым и неожиданным. И как-то под вечер, сидя в пустой квартире, Максим позвонил матери.

На следующий день оформил недельный отпуск за свой счет, заскочил в магазин за подарком и, залив полный бак на заправке, рванул поутру на своем «Солярисе» по Чуйскому тракту.

* * *

— Эй, есть кто дома?

Максим, держа перед собой объемистую коробку с подарком, толкнул ногой скособоченную калитку и с трудом протиснулся во двор.

У собачьей будки, радостно взвизгнув, завертелся на цепи Алтан. Максим прошел вдоль беленного известью забора, по заросшему спорышом двору и, поставив на землю коробку, ласково потрепал пса по загривку. Алтан, не находя места от счастья, залаял во весь голос, приветствуя хозяина.

— Сыночка! — на крыльцо, услышав лай собаки, выскочила Анна. — Максимушка! А я целый день караулю! Вроде автобус проехал, а тебя все нет и нет.

— Так я ж на машине.

Максим, подхватив подарок, подошел к матери. Обнял одной рукой.

— Забыла! — рассмеялась Анна, прижимаясь к сыну. — Забыла, что на машине. Да ты проходи, проходи в дом-то.

Она суетливо ухватила за коробку:

— Давай помогу.

— Да куда ты, мам! Я сам. Она же тяжелая, — улыбнулся Максим, только сейчас понимая, как соскучился по матери.

С позапрошлого лета не виделись. Да и нынче, сказать по совести, не должны были — отпуск-то он для полумарафона в Мюнхене приберегал.

«Ну вот... — невесело усмехнулся он про себя. — Не развод, так и с матерью неизвестно когда бы еще увиделся».

Анна, войдя в дом, продолжала суетиться, не зная, куда посадить долгожданного гостя. Максим, присев на диван, с улыбкой наблюдал за ней, отмечая, что мать с прошлой их встречи почти не изменилась. Для своих лет выглядела на удивление хорошо: стройная, живая... И не скажешь, что пенсионерка. Седины вот только прибавилось.

— Мам, да ты присядь, — поймал он ее за руку.

Анна послушно опустилась рядом.

— Какой ты у меня. — Она с любовью огладила его голову.

— Какой?

— Краси-и-вый...

— Скажешь тоже. — Максим, смутившись, прижал мать к себе, и та, как воробушек, приткнулась где-то у него под мышкой.

«Да... Отвыкли друг от друга», — подумал он, заметив, как стесняется мать. Да и ему отчего-то неловко.

— Как ты тут?

— Да что мне делается? Огород нынче весь засаживать не стала. Вы-то ничего не берете, а мне куда одной? Так... Понемногу всего: картошка, огурцы, помидоры... А вот цыплят взяла. Да, взяла... В магазине-то нынче не курица — химия одна. А тут свое. Натуральное. Приедешь осенью за мясом-то? — Она робко глянула на сына. — У тебя камера, ты говорил, вроде морозильная?

— Да куда мне? Надо будет — в магазине куплю. Ты смотри лучше, что я тебе привез.

Он достал из коробки мультиварку.

— Ой, да зачем, сыночка? Дорого же, поди?

— Да ну, мам, — дорого... Отличная вещь! С вечера продукты заложил, а наутро у тебя уже все готово. Хочешь — каша, а хочешь — борщ. И не надо у плиты стоять.

— Так я и в обычной кастрюльке сварила бы, — заохала Анна, с опаской разглядывая подарок. — А кнопок-то сколько, кнопок... Я ж сроду не разберусь. Сломаю еще чего.

— Да тут все просто, — засмеялся Максим. — Я покажу. Я и сам в такой готовлю.

— Это как же? — Анна удивленно вскинула брови. — А жена что же? Не готовит?

— Да... — осекся Максим, сообразив, что сболтнул лишнего, — она ж тоже на работе целыми днями. Ты смотри, здесь вот выбираешь нужный режим... — поспешил он увести разговор в сторону.

Про развод он матери не говорил. Знал, что расстроится.

— Ну да, ну да... — Анна внимательно посмотрела на сына. — И с работы, видать, не отпустили. Так занята?

— Не отпустили.



— Ну-ну... А сам-то надолго? — поинтересовалась она, убирая коробку с мультиваркой в шкаф, туда, где хранились в неприкосновенности остальные сыновьи подарки.

— На недельку, мам.

— На неделю... Так мало? — Анна опять прижалась к сыну, вдыхая родной запах. — Ну хоть на неделю... И то ладно.

За ужином, глядя на то, с каким аппетитом ест Максим, Анна грустно улыбалась. Хоть и хорошо все у сына в жизни складывалось, а все ж болела душа за него. Сама не знала отчего, но болела. Больше всего, конечно, переживала, что внуков до сих пор не народили. У снохи неловко вроде как спрашивать, а Максим всякий раз разговор в шутку переводил.

«Не может, видать, родить», — решила Анна. И вот уж какой год в церкви свечи ставила Богородице. Молилась. Заикнулась было в разговоре с сыном, что неплохо бы им с женой тоже в храм сходить. Но...

Максим, хоть и крещеный в детстве был, в Бога не верил. Да и немудрено. Анна сама уж в годах была, когда ее в храм потянуло. В молодости разве о таких вещах задумываешься? При том что отец Анны был человеком воцерковленным. Однако и у него не получилось в свое время дочь к вере приобщить. Да и внука своего привести в храм отец тоже не успел — умер рано. Максимке в ту пору лет шесть-семь было. Вот и приходилось теперь Анне одной за всю родню перед Господом стоять, каждый свой день начиная с молитвы: «Спаси и сохрани, Матерь Божья, под покровом Своим родных и близких моих...»

После ужина Анна постелила сыну в его бывшей комнате, на раскладном диванчике. С того времени, как Максим уехал, здесь почти ничего не изменилось: те же, только выцветшие плакаты с любимыми музыкальными группами на стенах, старый магнитофон-кассетник, полки с книгами. Да еще фотографии: вот он у матери на коленях на лавочке возле дома, вот на выпускном, а вот дед...

Отца у Максима не было. Мать никогда не рассказывала о нем: кто он, где он? Знал только, что разбежались родители по молодости, еще до его рождения. И с тех пор — ни слуху ни духу от родителя. Сгинул, как будто и не было его никогда. Отца мальчишке заменил дед. Максим его очень хорошо помнил.

Сидит тот, бывало, за кухонным столом у раскрытого окна, само-садом трубку набивает. Табак он на огороде выращивал сам, казенного не признавал. Максим и сейчас помнил ядреный запах того табака.

Деда он обожал и страшно гордился им перед другими пацанами. Ростом тот был под притолоку. Плечища в дверной проем едва проходили. А кулак у деда — чуть ли не с Максимкину голову. Да еще и окладистая борода с проседью. Одно слово — богатырь! Вылитый Илья Муромец с картины Васнецова.

— Дед, а дед... Расскажи сказку.



— Про Сивку-Бурку?

— Ага.

— Ну, слушай...

Старик не спеша набивал трубку табаком, примаминал его пальцем и неторопливо начинал:

— Было у старика трое сынóв...

Эту сказку Максим знал наизусть, но каждый раз слушал ее с благоговейным вниманием.

После зачина дед прерывался и с минуту-другую, в задумчивости поглядывая в окно на пустынную деревенскую улицу, раскуривал трубку. Максимка изнывал в ожидании. И дед, попыхивая дымком, продолжал.

По мере развития сказочного сюжета он постепенно вживался в роль: голос его креп, жестикуляция усиливалась, глаза разгорались таинственным огнем. Дойдя до момента, когда Иван вызывает коня, повествующий, привстав с места, обращал свой взгляд куда-то в незримую даль и, вскинув руку, зычным голосом рокотал:

— Сивка-Бурка, вещей каурка! Стань передо мной, как лист перед травой!

Делал он это столь убедительно, что Максим всякий раз оборачивался назад, куда был устремлен огненный взор деда, уверенный в том, что из соседней комнаты в сей же миг должен выскочить Сивка-Бурка. Ему даже казалось, что он слышит стук копыт.

— Конь бежит, земля дрожит, из ушей пламя, из ноздрей дым столбом валит! — продолжал дед, а Максим, немея от восторга, не сводил с него глаз.

И вот кульминационный момент:

— Влез Иванушка коню в правое ухо...

Максимка, затаив дыхание, представлял, как Иван залезает в ухо коню, ни на минуту не сомневаясь, что так оно все на самом деле и было. Да что там говорить! Станиславский — окажись он рядом, — и тот, наблюдая, как дед держит театральную паузу, непременно бы воскликнул: «Верю! Верю, черт побери!»

И все же, когда Максиму случалось покататься верхом на соседском Воронке, он заглядывал коню в ухо и не переставал удивляться: как это Иван-царевич умудрился там поместиться? Но деду при этом продолжал верить безоговорочно. Беззаветно!

— Влез, значит... — продолжал дед. — А из левого уха... — Тут он делал глубокую затяжку, выпускал дым и, прикрыв глаза, долго-долго молчал. — Из левого... вы-ы-лез.

Максимка отлично знал, чем дело кончится, но природный артистизм деда всякий раз придавал стократ рассказанной сказке новый, неожиданный окрас. И Максим облегченно выдыхал, услышав, что Иван все ж таки выбрался на свет Божий.

А дед между тем, попыхивая трубкой, завершал свое сказание:

— И стал он таким молодцом, что ни в сказке сказать ни пером описать.



Когда Максимка подрос и научился читать сам, он с удивлением обнаружил, что сказка, оказывается, на том не заканчивалась. Но дед, видимо, считал, что с внука и этого будет довольно.

Умер он неожиданно. Застудился. Пошел на рыбалку и провалился в полынью. Пока выбрался, пока дошел... А морозы в ту пору крепкие стояли. Через неделю скончался.

Для маленького Максима это стало настоящим потрясением. Поверить в происходящее он не мог. «Не может быть, — думал Максимка, глядя на лежащего в гробу деда. — Притворяется он». Казалось, вот откроет сейчас глаза, подмигнет и скажет: «Ну что, брат, приуныл? Это я так... Приболел малость. Мы с тобой еще на перепелов пойдем. Непременно! Даже не сомневайся».

У деда в сенах стоял старинный деревянный сундук, обитый коваными железными полосами, со снастями для ловли птиц. «Вот ближе к осени пойдем с тобой, Максимка, на перепелов, — не раз говорил ему дед, доставая из сундука ловчую сеть. — Это еще мой отец вязал. Ты думаешь, я зачем в конце огорода рожь посеял? Вот как раз для этого. Перепела, они шибко любят в хлебных полях гнездиться. А вот и манок...»

Дед доставал из сундука деревянную свистульку и, приложив к губам, свистел: «Слышишь? Спать-пора... Так перепела кричат. Идешь вечером по полю, а они отовсюду: спать-пора, спать-пора... — Он протягивал Максимке деревянную свистульку на шнурке: — На, тренируйся перепелов подманивать». И Максим, повесив манок на шею, бегал по деревне, то и дело посвистывая: спать-пора, спать-пора...

Увидев, как гроб с дедом опускают в могилу, Максим убежал с кладбища. А дома вечером, когда мать, поцеловав его перед сном, ушла к себе, полночи проревел под одеялом, представляя, что вот так и его когда-нибудь... Как деда.

С тех пор он ужасно боялся смерти. До холода в животе, до тошноты. И все, что связано со смертью, тоже вызывало отвращение. И похороны терпеть не мог, и кладбища... Даже к деду никогда на могилу не ходил, как мать ни уговаривала. И в церковь — ни шагу, хотя в детстве с дедом каждую воскресную службу отстаивал. Обида в сердце жила — за деда, за то, что он так рано умер. Что Бог не уберег.

А когда вырос, увлекся психологией, много читал литературы по саморазвитию и вскоре вполне уверовал в то, что все в этой жизни зависит только от человека, от его воли и стремлений. Глядя, как мать пишет записочки о его здравии перед тем, как пойти в храм, снисходительно улыбался, считая, что самый лучший залог его здравия — это правильный образ жизни. Спиртным не увлекался, не курил, регулярно посещал тренажерный зал, теперь еще и бегал.

* * *

Проснулся Максим поздно. Стрелка на часах, тикающих на стене, подбиралась к десяти. С удовольствием потянувшись, сел, сунул ноги в заботливо поставленные матерью рядом с диваном новые тапки,

поднялся и пошел на кухню. На столе его ждал накрытый вышитым полотенчиком завтрак: молоко, мед, яйца, козий сыр — все свое, домашнее.

Матери в доме не было. По-быстрому умывшись, Максим сел было за стол, отломил кусок от еще теплой булки, но... Остановился, передумав. Отпуск отпуском, а утреннюю пробежку никто не отменял.

Надев трико, майку и кроссовки, глянул на себя в зеркало — красавец!

Максим вышел во двор. Поначалу сунулся было за ограду, однако тут же передумал. Все-таки бегающий с утра по улице без всякого дела мужик — картина для деревни непривычная. Засмеют! После некоторых раздумий направился в огород. Из тридцати соток от силы три были заняты грядками, соток пять засажено картошкой, остальное — чистое поле. Бегай — не хочу. Никто слова не скажет. По левую руку — огород крестного, дядьки Ивана. По правую — сосновый бор. Дом их крайний на улице. Правда, сразу за огородом, через проулок, дом соседки — тетки Райки. Не хотелось бы ей на глаза попадаться. Впрочем, день-то будний, она на работе, поди.

Добежав до края огорода, Максим развернулся и припустил в обратную сторону. И так несколько раз, пока в очередной раз, подбегая к дому соседки, не увидел, как та, высунувшись по пояс в раскрытое окно, активно жестикулирует, и жестикуляции эти были явно обращены к нему.

Максим, не добежав до конца огорода, ответно помахал ей рукой в знак приветствия и развернулся в сторону дома. В деревне за теткой Райкой давно и прочно закрепилось прозвище «Ботало коровье». Стоило с ней только языком зацепиться — и все: не переслушаешь. Как говорит мать, семь верст до небес и все пехом.

Во дворе Максим набрал из колодца воды и, заголившись по пояс, с удовольствием окатил себя из ведра. Хорошо!

* * *

Анна, вернувшись из магазина, сына дома не застала. «Должно быть, прогуляться по деревне пошел», — решила она и принялась выкладывать продукты из сумки на стол.

И тут на пороге появилась запыхавшаяся, с вытаращенными глазами соседка Райка.

— Ань, чего у вас случилось-то?

— Ничего вроде не случилось... — замерла Анна. — А что такое?

— Да как же ничего?! — Райка, тяжело дыша, рухнула на табуретку у порога. — Максимка твой где?!

— А что такое? Что с ним? — Анна схватилась за сердце.

— Так это я тебя спрашиваю — что с ним? Я щас в окошко смотрю, а он несется по огороду, как угорелый. Ну, думаю, случилось чего. Я на двор. А он до плетня добег, развернулся и назад чесанул. Я ему: Максим, Максим... Да какое там, не слышит! Ну, думаю, может, забыл чего. Домой вернулась, а сама к окну — караулю. Мало ли... Глядь — снова бежит! А у самого морда красная, шары навывкат, волосы дыбом...





Жуть! Махнул мне рукой и опять назад. Ну, тут уж я избушку на клюшку — и к вам. Не иначе, думаю, приключилось чего, а у заполошного твоего, видать, шок, вот он и носится туда-сюда. Ну, я сразу к вам. На помощь! — Райка, сдернув с головы платок, утерла взмокшую от бега и волнения шею.

— Тьфу на тебя! — Анна опустилась на стул. — Холера ты бестолковая! Напугала же до смерти.

— Так а чего заполошный-то твой по огороду марафонит с утра пораньше?

— Спортом он занимается. Пробежка у него утренняя.

— На кой? — вытаращила глаза Райка.

— Для здоровья.

— Вот малахольный.

— Сама ты малахольная, — обиделась Анна. — За своей бы лучше приглядывала. Вон, опять на курятник полезла — медитировать, прости, Господи.

Райка, соскочив со стула, прильнула к окну.

— Вот же ж, дурында! Вот чего с ней делать, Ань? Ведь перед соседями стыдно.

Дочь Анны — Танька, замерев в позе лотоса, с задранной к солнцу головой сидела на крыше пристроенного к сараю скособоченного курятника.

— У самой девка каждое утро на курятнике истуканом сидит, а туда же... Сына моего поносит. Ты мне скажи — вот чего она там сидит?

— Так она теперь это... — Райка сморщила лоб, вспоминая мудрое слово. — Праноед!

— Божечки... — всплеснула руками Анна. — Это чего ж такое?

— Она теперь, Ань, солнечной энергией питается. Сидит и на солнце — веришь, нет — не мигая смотрит. А у самой слезы из глаз ручьем. Я ей: дура ты, дура, ты ж глаза угробишь! А она мне: ты, мама, ничего не понимаешь. Человеку, говорит, для полноценного функционирования достаточно одной солнечной энергии и гармонии духа с телом.

— И что же? Она правда ничего не ест?

— Ну как тебе сказать... Днем — да, не ест, держится. А как дело к ночи, так хрюпает за милую душу. Все потому, говорит, что не достигла пока полной гармонии.

— Замуж ей надо, — заключила Анна, глядя в окно на неподвижную Таньку.

— Да кто ж ее возьмет такую, прости, Господи, — вздохнула Райка. — Она мне тут знаешь что заявила? Я, говорит, мама, замуж выйду в шестьдесят два года! Мне, говорит, так по гороскопу Ба Цзы выпало. Это что ж, спрашиваю, за Бацзы такое? А это, говорит, мама, калькулятор такой специальный, в интернете. Он столпы судьбы рассчитывает. Я, говорит, согласно моей натальной карте — дерево Инь, потому что я родилась в год Кролика, а моя звезда брака — Крыса.

— Рай, так а ты чего ждешь-то?

— А что такое?

— Так ей же к врачу надо. Ты в город ее свози. Может, ей там таблеток каких дадут. Психиатр-то.

— Ага, счас! Что же это — я родную дочь к психиатру повезу?

— Так дело-то нешуточное. Как бы у нее совсем крыша не съехала.

— Ты за своим бегуном присматривай, а я со своей девкой уж как-нибудь сама разберусь! — поджала губы Райка и, хлопнув дверь, выскочила на крыльцо.

* * *

Вечером за празднично накрытым столом собрались гости.

Крестный — дядька Иван. Да тетка Райка с дочерью Татьяной — девкой, по единодушному мнению односельчан, тихомутной. С легким прибабахом, проще говоря.

Танька была ненамного моложе Максима, однако замуж так до сих пор и не вышла. До недавнего времени проживала в Бийске. Вот в городе-то она, со слов тетки Райки, головой и подвинулась. А все оттого, что без конца таскалась на курсы какие-то дурацкие по саморазвитию, до тех пор, пока все деньги, скопленные для нее матерью, не профукала. И, поскольку с последнего места работы она уволилась — Татьяна в принципе надолго нигде не задерживалась: все искала себя! — платить за съемную квартиру стало нечем. Так что пришлось ей волей-неволей возвращаться к матери под крыло.

И вот уже второй месяц маялась она без дела. В деревне-то скукота. Одни старики остались. Поговорить — и то не с кем. А тут... Максим — молодой интересный мужчина. В кои-то веки! По такому случаю Татьяна принарядилась: макияж, причесочка, все дела...

Сидя за столом, она с интересом поглядывала на соседа и без конца, видать, от волнения, поправляла рюши на новой кофточке. Максима она со школы помнила. Он на пару лет ее старше был и внимания на нее, соплюху, понятное дело, тогда не обращал. Да с тех пор уж почти пятнадцать лет прошло. Теперь — дело другое. Танька так-то ничего из себя. Шанс есть. Родительница ее, надо сказать, мыслила в том же направлении. Изболелась все ж таки душа за дочь. А тут, глядишь, чего и выгорит.

— Ну что, Максим, докладáй, как жизнь городская проистекает, — начал разговор дядька Иван, распечатывая принесенную с собой бутылку самогона.

— Отлично, дядя Ваня, проистекает, — Максим с удовольствием подхватил шуточный тон крестного.

— То-то я смотрю, — машина новая, мать подарками дорогими хвастает... Забурел брат, совсем забурел... — Иван одобрительно хлопал крестника по плечу.

Он потянулся к нему через стол, собираясь налить самогонки, но Максим прикрыл ладонью стоящую перед ним рюмку:

— Извини, дядь Ваня, не пью!

— А я разве пью? — застыл с бутылкой в руке дядька. — Я ж чисто символически! Нам с тобой еще в баню идти.



— Не-не-не...

— Так собственного же приготовления. Натурпродукт!

— Не могу, дядя Ваня. Спортивный режим!

— Ну, как знаешь. — Иван поставил бутылку на стол. — Так, значит, говоришь, жизнь удалась? Начальником вроде большим стал.

— Да каким там начальником? Так... Руководитель отдела небольшого. Расскажите лучше, как вы тут?

— Да ты не тушуйся, Максим. Чего ты? Не так много из нашей деревни молодежи в люди выбилось. В город-то почти все поужали. А толку? Кто спился, кто снаркоманился, а кто и вовсе — сидит. Вон Танька наша тоже! Помыкалась, помыкалась в городе да к матери под крыло. На реабилитацию.

— А что такое? — Максим повернулся к Татьяне. — Заболела?

— Дядя Иван шутит у нас так, — завела та глаза к потолку.

— Ну так, а чего? Разве я неправду говорю? — повернулся к Максиму Иван. — У Таньки всегда мозги набекрень были. А в городе и во все крыша поехала. Что не утро — она на курятнике. Связь с космосом устанавливает. Кристалл сознания формирует! О как!

— Ты язык-то прикуси, — возвысила голос тетка Райка, всерьез возмечтавшая заполучить Максима в зятя. — Тоже мне, Петросян недоделанный. Не слушай его, Максим, пустобреха. Ты к нам как? На-долго — нет?

— На неделю.

— У-у-у... — расстроено протянула Райка. — А чего ж так мало? С работы не отпустили?

— Вот и я говорю, — вздохнула Анна. — Что та неделя! Пролетит — и не заметишь. Я думала, ты мне крышу у сарайки подлатаешь.

— Ну так завтра, мам, и начну.

— Да что ты, сыночка? Завтра праздник большой — Троица. Завтра к деду на могилку сходить надо. Отца Василия позовем, он панихиду отслужит.

— Мам... Давай это... — поморщился Максим. — Без меня.

— Да как же без тебя? Не по-людски это. Я и конфетки купила на могилку, и яички покрасила.

Максим вздохнул.

— Ты же знаешь мое отношение. Все эти обедни, панихиды, свечки... В наше время? Ну какая церковь? Какая загробная жизнь? Смешно, честное слово.

Анна только горестно вздохнула...

— Мать дело тебе говорит, — вмешался в разговор дядька Иван. — Не по-людски это. В такой-то день и не сходить к родному деду на могилку!.. Не помянуть. Ты ж единственный внук, как-никак. Наследник! Продолжатель фамилии. Ну сам посуди: кому как не нам память о близких хранить, за упокой их душ молиться? Ну ладно, сейчас мы с матерью, так сказать, вахту несем. А как нас не станет? Нас-то кто помянет? Смотри, Максим, оно ведь как аукнется, так и откликнется. Как ни крути, а все там будем. А ну как и к тебе никто не придет, не помянет?..

— А я никого и не зову к себе приходиться. И вообще, кому это нужно? Кладбища эти? Столько земли зря пропадает.

— А куда ж прикажешь покойников девать? — изумился дядька Иван.

— Так для этого крематории давно существуют. Я вот, например, не хочу, чтобы меня в землю зарывали. Кремировать — и дело с концом. А прах за огородом вон, над речкой развеять. И не придется никому потом по кладбищам ходить.

— Ой, божечки! — всплеснула руками мать. — Ты ж крещеный! Православный. Мы ж тебя младенцем в храме нашем с дядей Иваном и дедом твоим крестили.

— Ну так я ж никого об этом не просил.

— Да как же, сыночка, без Бога-то? Ведь это все одно, что сиротой неприкаянной мыкаться. И жить тяжело, и помирать страшно.

— Вот оттого и проблемы наши, — усмехнулся Максим. — Привыкли все надеяться на кого-то. На правительство. На президента. На Бога... Лично я сам всего добился, никто мне не помогал. И ответственность за свою жизнь я ни на кого никогда не перекладываю.

— Ох-хо-хо... Сыночка! Да ведь Господь все одно приведет. Лишь бы не поздно оказалось. Пожалеешь потом, что не сам да не по своей доброй воле.

За столом повисла неловкая пауза.

— Неужто ты, Максим, смерти несколько не боишься? — прищурился дядька Иван.

— А чего ее бояться? Какой смысл? Нерационально это, дядь Вань.

— Чего-чего?

— Нерационально, говорю. Бойся — не бойся, итог-то один.

— Нет, ты погоди, — остановил его жестом дядька. — Не боится он... Ишь, герой нашелся! Вот я. Я, положим, в душу бессмертную верую. В то, что жизнь моя не оборвется после телесной, так сказать, смерти. И то... — Он болезненно скривился. — Как представишь иной раз, что будешь на двух табуретках посередине комнаты лежать. — Он глянул в сторону красного угла, где под Спасом теплилась лампадка, и перекрестился. — И то душа стынет. А ты? Тебе-то что жить помогает? Какая такая сила? А?

— Здравый смысл, — улыбнулся Максим. — Здравый смысл мне, дядя Ваня, жить помогает!

— Нет, это ж подумать страшно! — не унимался дядька. — Это как же? Вот жил ты, получается, жил... Любил, значит, страдал, стремился к чему-то... А срок пришел — и привет? Помер, в землю тебя зарыли, или — хуже того — сожгли, как ветошь какую ненужную... И все?! Что же это получается? Зазря, выходит, все было?

Максим усмехнулся.

Не любил он эти разговоры. Хотя понять стариков можно. Возраст, как никак, вот и ищет человек за что зацепиться. Но вот когда молодые на полном серьезе так рассуждать начинают, этого он понять никак не мог.

— А вот я согласна! — вскинулась молчавшая до сих пор Танька.



— С чем это ты, интересно знать, согласна? — повернулся к ней дядька Иван.

— Я с Максимом согласна. Ведь это же и правда ерунда какая-то! Религия ваша. Ну как можно, например, верить в непорочное зачатие? Ну бред же!

Максим с интересом посмотрел на соседку. Танькины глаза горели, как ему показалось, нездоровым блеском.

— А во что же ты, скажи на милость, веришь? — вскинул брови дядька Иван. — В экстрасенсов своих? Или ты, как Максим?.. Ни в Бога, ни в черта?

— Ну почему же? Очень даже верю.

— И во что же?

— Я верю, что все мы когда-то уже жили на земле. И еще будем жить! Только в другом качестве.

— Это, Татьяна, реинкарнация называется, — подсказал ей Максим. — Есть такая сомнительная, на мой взгляд, теория. У буддистов.

— Почему сомнительная, — обиделась Танька.

— Да все потому же. Потому что нет никакого тому научного обоснования.

— Ну почему же — нет? Напрасно вы так о буддистах. Вот вы слышали, что недавно, где-то, кажется, в Бурятии, откопали мумию одну. В деревянном ящике, в позе лотоса. Семьдесят пять лет под землей мумия эта лежала, а когда ученые откопали, биополе ее измерили, а это биополе живого человека оказалось. Представляете?

— Это как же они измерили это самое биополе? — удивилась Анна.

— У них для этого приборы специальные имеются, маятник какой-то. Они его к голове мумии поднесли, а он как давай вращаться!

Дядька Иван крякнул:

— А я-то все думаю, Танька, чего это ты каждый день на курятнике в позе лотоса восседаешь. А тут вон оно че! Вона ты куда, оказывается, метишь. Тоже, как та мумия, желаешь? Ты поймей ввиду, Татьяна, я не знаю, как там у бурятов, а в нашей деревне никто тебя откапывать не станет. Даже и не надейся!

— Не смешно! — надула губы Танька. — Просто я, в отличие от вас, верю, что, если вести правильный образ жизни, то в будущем есть шанс переродиться...

— Знаем-знаем, — хохотнул Иван, — слышали. Это как у Высоцкого: «Удобную религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем...»

— Зря смеетесь, — вспыхнула Татьяна. — Вот я, например, точно знаю, кем я была в прошлой жизни.

— Я тоже, Танька, знаю, — хитро сощурил глаз дядька Иван.

— Ну вы-то... — фыркнула та. — Вы-то откуда знать можете?

— А тут, Танька, и знать нечего! Деревом ты была.

— Почему это деревом?

— Потому что тупая ты, Татьяна, как пробка! — дядька Иван довольно гоготнул.

— Вот как? — Татьяна, горестно закатив глаза, повернулась к Максиму. — Как с такими людьми жить? Ведь кругом серость и ограниченность. И невежество! Максим, ну вы-то хоть меня понимаете?

— Ну что ты, Тань? Не обижайся, дядя Иван шутит.

— Тань, слышь, Тань, а кем... Кем ты в прошлой жизни была-то? — Анна настороженно смотрела на соседку.

У Татьяны опять лихорадочно заблестели глаза.

— Я в городе ходила к астрологине одной...

— Астрология эта ваша, — со значением изрек дядька Иван, — мерзость перед Богом.

Но Татьяна на его слова — ноль внимания.

— Так вот, она мне сказала, что я в прошлой жизни была солдатом и воевала в отряде Гарибальди! — Она победно обвела взглядом сидящих за столом.

Сидящие за столом притихли. А тетка Анна осторожно отодвинулась от Таньки подальше вместе с табуреткой.

— Ну все... — дядька Иван с сочувствием поглядел на Татьяну. — Покатились камушки с горы...

— А знаете, как я погибла? — Татьяна кокетливо улыбнулась опешившему от столь неожиданного заявления Максиму.

Выдержав театральную паузу, она объявила:

— В бою! От вражеской пули. Пуля прямо в голову попала! Представляете?

— А я, Танька, всегда говорил, что у тебя полснаряда в голове! — обрадовался дядька Иван. — Но сегодня, Татьяна, ты превзошла самое себя. Это ж надо до такого додуматься! Пуля... Гарибальди... Х-ха!

Танька, зло сощурившись, зыркнула в его сторону.

— Ты, Татьяна, не обращай на него внимания, — с трудом сдерживая смех, успокоил ее Максим. — Ты рассказывай, рассказывай...

— А я и не обращаю. Зря смеетесь, дядя Иван. У меня всю жизнь голова, думаете, почему болит? Я же после астрологини этой в больницу пошла. МРТ сделала, между прочим. И что бы вы думали?

— Что? — вскинул брови дядька Иван.

— Киста! — победно провозгласила Татьяна и торжественно обвела взглядом сидящих за столом. — Киста у меня в мозгу в виде пули. Я как на снимок глянула — ну точно! Она. Пуля.

— Господи помилуй! — всплеснула руками тетка Райка. — Еще не хватало! Киста... Ты чего ж молчала-то? Дурында ты этакая!

— Да... — протянул в задумчивости дядька Иван. — Я-то, Танька, думал, ты просто так дуркуешь, а тут дело-то серьезное, оказывается.

Татьяна, воодушевленная произведенным впечатлением, продолжала: — И насчет кремации я с Максимом тоже совершенно согласна. Нормальный, цивилизованный подход. Вот к чему? К чему эти огромные кладбища, эти пластмассовые цветы, оградки... Это же отвратительно!

— То есть тебя, Татьяна, я так понимаю, тоже по ветру развеять, если что, — хмыкнул дядька Иван. — Нет, ты уж определись как-нибудь! Будем из тебя все ж таки мумию делать или кремируем к едрене фене?



— Молчи, дурак старый, — замахнулась на него тетка Райка. — Типун тебе на язык! Я тебя щас самого развею.

— Да я-то чего? Я токмо волю покойницы исполнить...

— И-и-и... — тоненько затынула тетка Райка.

— Можно не развевать, для этого колумбарии есть. Вон в Европе все чистенько, аккуратненько — приятно посмотреть. А можно и дома оставить.

— Что оставить? — замер дядька Иван, не донеся вилку до рта.

— Урну. Я интересовалась, они очень симпатичные бывают, прекрасно в интерьер впишутся.

— Это как же? В интерьер, — ужаснулась Анна. — Это что же? Человека сжечь, а урну, значит, на комоде держать?

— А что здесь такого? — удивилась в свою очередь Танька. — К тому же, вы подумайте: а если другие родственники далеко живут? Это же не наездишься на могилу! А тут каждый может отсыпать себе по чуть-чуть — и все. Очень удобно. И никому не обидно.

— Слышала, Раиса, чего тебя опосля смерти ждет? — повернулся к соседке дядька Иван. — Сожгут тебя дети рóдные, расфасуют по разной таре и будешь ты...

— Да замолкни, старый хрен, — взвилась Райка. — И ты Танька, замолчь! Замолчь, тебе говорю! Это ж надо до такого додуматься! Вот они к чему ваши интернеты приводят! Начитаются всякого, а потом... Это ж надо — живого человека точно сахар-песок пересыпать.

— Почему живого? — удивилась Танька. — Как раз неживого. Тебе разве не все равно будет потом?

— Замолчь, я тебе говорю!

— Да что у вас за разговоры такие, в самом деле? За столом! — не выдержала Анна. — В кои-то веки сын родной приехал, и целый вечер черт-те о чем разговоры. Прости, Господи!

— Да-а-а... — покачал головой дядька Иван. — Замуж тебе, Татьяна, надо. Сразу вся дурь из головы вылетит. Точно тебе говорю.

— Семья, дядя Ваня, в наше время — это изжившее себя явление. В наше время главное — это самореализация.

— Ну-ну... А ты все ж таки подумай, Татьяна, подумай. У тебя времени, между прочим, в репродуктивном, так сказать, смысле, всего ничего осталось! А ты заместо того, чтобы мужа себе нормального найти, по астрологам таскаешься. Я тебе на полном серьезе говорю — загремишь ты со своим Гарибальди по известному адресу, в одну палату с Наполеоном.

Он потянулся было за самогонкой, но вспомнив о бане, с огорчением крикнул и поднялся из-за стола.

— Айда, Максим, лучше париться. А то, пока мы тут лясы точим, выстыло поди уж все. Пойдем, а не то с такими разговорами ум за разум зайдет. Попарю тебя, глядишь, в башке и прояснится. Таньке — той, как я посмотрю, ничто уже не поможет... Одно слово — «Пуля Гарибальди»!

Татьяна презрительно скривила губы и вновь выразительно закатила глаза. А Райка, всхлипнув, промокнула платком уголки глаз.

— А на тебя, Максим, — продолжил Иван, выходя из-за стола, — у меня все ж таки какая-никакая, а надежда имеется. Я твоего деда хорошо помню. Правильный мужик был. Настоящий. Не может такого быть, чтобы такие гены и зазря пропали. Пошли-пошли...

Иван направился к выходу. Максим следом.

* * *

Баня ютилась на краю огорода. Потемневший от времени сруб под тесовой крышей тонул в гигантских лопухах. За огородом, от крайнего дома проулка, сразу начинался бор. В ласковом вечернем свете мягко тонули верхушки рослых сосен. А вдали, у самого окоема, вольно раскинулись похожие на волны, вытянутые в длину пихтовые гривы.

Максим задержался у порога, невольно залюбовавшись представшей картиной. А дядька Иван пригнулся и нырнул в полутемный предбанник.

— Ну точно — остыла. Заболтался с вами, — донеслось изнутри. — Ща... Погодь маленько: дровишек подброшу.

Через пару минут дядька Иван вышел:

— Ну что, курнем, пока греется?

Он протянул Максиму сигареты.

— Не курю я.

— Ишь ты... Не пьешь, не куришь... За здоровьем, стало быть, следишь? Молодца! Одобряю. А я вот с двенадцати лет к этому делу пристрастился. С дружкой моим школьным Колькой, помню, первый раз в четвертом классе попробовали. Физрук нас тогда за школой прихватил. По шее надавал. Да только не помогло. Вот с тех пор и дымлю. Не могу бросить.

Они присели на сухой, выбеленный дождями поваленный тополь. Над головой с протяжным криком пролетела стая гусей.

Максим запрокинул голову:

— На озеро полетели?

— Ага. Там у них гнездовье. — Иван глубоко затынулся. — Вот ты, Максим, говоришь, Бога нет. Хорошо. Допустим. А как же тогда вот это все? — Он повел рукой вокруг. — Каким таким образом все это так разумно обустроилось, скажи, пожалуйста? А? Можешь ты мне это объяснить?

— Что именно, дядя Иван?

— Да все! Вот хоть гуси эти. Чуть зима на порог — они на крыло и в теплые края. Ну это ладно, это как раз понять можно: жрать нечего, холодища. Кому понравится? Но ты мне вот что скажи: за каким таким лешим они по весне обратно сюда летят? А? Чего им там не сидится? Тепло, светло, еды навалом. Куда с добром, казалось бы? У меня вон сват в Краснодарский край лет пять назад умотал — не нарадуется. Никаким калачом его назад в Сибирь не заманишь. Оно и понятно: девять месяцев в году снег, дождь, слякоть, грязь по колено. А эти? Вот за каким они назад прутся? Что им тут — медом намазано?

— Ну так, инстинкт у них.



— Инстинкт! — хмыкнул Иван. — Какой-то неправильный инстинкт. Человек, и тот ищет, где лучше, а птица, небось, не дурнее. Да хоть бы и инстинкт! А кто ей этот инстинкт в башку заложил? А?

— Да никто не закладывал. Врожденный он у нее.

— Ишь ты! Интересно у тебя получается. А ты вот знаешь, к примеру, что птицы обучаются без участия других птиц? Не веришь? Я этой темой специально интересовался. Да! Вот скажи мне: ребенок человеческий многому сам научится без отца-матери? Нет. А эта птаха только народилась, уже знает, куда ей лететь. Это как? У них что? Компас в башке? Ведь за тыщи километров прутся и не собьются ни разу. А?

— Ну как-как? По солнцу, по звездам... Ты что, дядя Иван, в школе не учился?

— Я-то учился. Да только ты мне объясни: что это за система навигации такая у них? Совершенная! Человек вон по приборам — и то плутает.

Мы тут как-то с соседом Васькой Бельмесовым поехали в Бийск. Запчасти он там заказал на машину. Ну и я с ним за компанию, мне тоже прикупить кое-что надо было. И ведь нет чтобы поутру выехать. Куда там... Это ж Васька! Время к обеду, а он все собраться не может. Наконец выдвинулись. А дорога-то неблизкая. Часа два ехать. Да в Бийске, пока по магазинам мотались, пока к родственнику Васькиному заехали — жена там что-то передать велела ему, — уже и вечер. Мы и так-то еле-еле ориентируемся — сто лет в город не выбирались, а тут еще и по темноте. А у Васьки зрение, чтоб ты понимал, — минус три. Он и днем-то не так чтобы очень видит, а уж вечером... Тут еще дождик, как на грех, накрапывать начал. Фонари не горят, встречные фары спят. А Васька мне: «Я, — говорит, — обочину совсем не вижу. Ты мне подсказывай». Хорошее дело, думаю. Ладно. Едем. А сам мыслю себе: не заплутать бы. А Васька: «Не волнуйся, — говорит. — У меня навигатор на телефоне». Ну ладно, думаю, раз так. С навигатором уж по-любому доедем. С навигатором-то любой дурак сможет. Знай баранку крути да команды слушай: поверните направо да поверните налево... Ну, едем, значит. Только что-то уж очень долго. Я Ваське говорю: «Слушай, сосед, что-то твой навигатор брешет, похоже. Не та дорога». А он мне: «Не бойсь, это он оптимальный маршрут ищет».

Ну ладно, думаю, может, и впрямь каким более удобным путем повел нас. И тут вдруг — на тебе! Речка перед нами и мост. Откуда, думаю, мост? Не было моста. Точно помню. Я опять к соседу: «Давай спросим у кого-нибудь дорогу — ну точно не туда телефон твой ведет». А Васька — он же упертый. Ему хоть кол на голове теши, все одно на своем стоять будет. Да злится еще! Не лезь, говорит, под руку. Навигатору виднее. Хрен с тобой, думаю. А сам тоже уже от злости, чувствую, закипать начинаю. Но ничего... Сижу. Помалкиваю.

Переехали мы мост, а прямо перед нами — стена кирпичная. И все машины, как с моста съезжают, сразу налево уходят. А гад этот, в навигаторе который, сообщает нам: поверните направо. А куда направо? Направо — лес! А вдоль стены этой кирпичной, между ней и лесополосой — дорога железная. Заброшенная, видать, — вся травой поросла.

И что ты думаешь? Васька морду тяткой и прямиком на рельсы сворачивает. Я ему: «С ума, говорю, сошел? Ты куда едешь?» А он шары выпучил, в руль вцепился и прет, понимаешь, напропалую. Это ж такой товарищ, он же ни в жизнь не признается, что не прав. Хорошо — у него «Нива», а не пузотерка какая. И все равно, чую, по днищу нам бьет. Я ему: «Стой, идиот идиотский! Застрянем щас. Как машину вытаскивать будем?» А у того то ли шок, то ли он из вредности — молчит да газует. А я думаю: «Вот смеху-то будет, если не такая уж она и заброшенная, железка эта? Выкатится нам сейчас какая-нибудь дрезина навстречу — и чего делать будем?» И вдруг нам по днищу ка-а-ак долбануло! Ну, тут уж Васька остановился, наконец. Сидит молча. Сопит. Ну что делать? Вышел я из машины и давай команды подавать. Кое-как выбрались задним ходом. А если бы застряли? Это ж кого-то искать надо — машину вытаскивать. Вот бы объясняли потом, как мы на этих рельсах оказались. А ты говоришь...

Иван притоптал окурочку и снова полез в карман за куревом.

— У гуся, у того мозг с орех, а он за двадцать тыщ километров прет и не собьется. И днем и ночью. И в любую непогоду. Я слышал, они даже как-то по магнитному полю Земли ориентируются. Это как тебе?

Максим улынулся:

— Это у них в ходе эволюции такие способности развились.

— Какая там эволюция, — сплюнул Иван. — Что-то у Васьки вон в ходе эволюции ни хрена не развилось. Он белым днем в трех соснах заблудится. А ты говоришь... Нету у твоих ученых ответа, так и скажи. И вообще, ученые эти, они ж — день за «белых», день за «красных». На моей памяти еще дело было: не признавали, понимаешь, факт существования шаровых молний. Нет, мол, у них никаких научно обоснованных доказательств. А как нет, ежели я ее самолично, своими глазами, вот как тебя сейчас, видел? После грозы в окно раскрытое ко мне в комнату залетела. Покрутилась, покрутилась — и обратно. Будут они мне еще рассказывать! А сейчас? Шныряют у них эти молнии под самым носом. И ноль внимания! Помалкивают твои ученые в тряпочку. Так что лично у меня веры к ним — никакой!

— То есть ты науку в принципе отвергаешь? Правильно я понимаю? — уточнил Максим, усмехнувшись. — Всю как есть?

— Всю не всю, а брехунов и шарлатанов среди этой публики, я тебе скажу — будь здоров! Вон американцы раструбили на весь мир, что якобы на Луну летали. А тут вдруг выясняется — дурилка это все картонная. В павильоне они снимали полет свой липовый.

— Ну-у-у... Это еще тоже доказать надо.

— Да чего тут доказывать, если режиссер их, этот... как его? — наморщил лоб дядька, вспоминая. — Кубрик... Стэнли Кубрик! Признался в итоге, что он и снимал эту их «высадку». Ну и какие еще после этого доказательства нужны? А про Марс? Про Марс слышал, небось?

— А с Марсом-то что не так? — удивился Максим.

— Да все не так! — Дядька разошелся не на шутку. — Они же, америкосы эти, типа беспилотные зонды тут на Марс давай запускать. Ага!



Снимки размещать один за одним, вроде как это поверхность Марса. А независимые эксперты глянули на снимки эти, исследовали как следует, фрагменты отдельные увеличили, а там — опаньки! — скелет суслика. Нашего. Родненького! И кроме суслика, чего там только нет: и кирпичи, и шпалы, и прочие вполне себе земные предметы. Такие ушлые ребята оказались. Остров какой-то арктический арендовали — уж не помню, как называется, — и давай его под марсианский ландшафт маскировать. А тут на тебе — такая неувязочка. В лице суслика. И все!!! Притухли тут же с полетами своими. Одно слово — жулье! Бабки заколачивают, вот и все дела.

Так что, возвращаясь к нашей с тобой теме, — насчет гусей, та же история. Придумали, понимаешь, объяснение — инстинкт! Ну правильно, надо же что-то говорить. А на самом деле ни шиша твои ученые не знают. Даже такую малость объяснить не могут. А уж что касается человеческой жизни... — Иван махнул рукой.

Максим смотрел на тускнеющее предзакатное небо. На старый, потемневший от времени скворечник среди узловатых ветвей березы. На штaketник, увитый пахучим хмелем. И так ему стало хорошо, так покойно на душе, что продолжать дискуссию пропало всякое желание.

А Иван между тем продолжал:

— Вот ты, думаешь, почему мы так бестолково живем?

— Ну и почему?

— Да потому, что у каждого из нас в голове своя «пуля Гарибальди»! Зря смеешься, между прочим. Ты не смейся. Ты послушай лучше. Я в этой жизни много чего повидал... Помотало меня в свое время — будь здоров! Кем я только не был: и на Северах по молодости шабашил, и машинистом на буровой вкалывал, и на угольном разрезе водителем БелАЗа — сорок пять тонн. Махина, я тебе скажу!.. И матросом на сейнере случалось ходить. Да всего и не упомнишь. В какие только передраги не попадал! А уж сколько народа разного довелось повидать... И вот что я тебе скажу. Современный человек во что только ни поверит, лишь бы только не в Господа Бога. Ты думаешь, эта одна Танька у нас такая? Не... Я телевизор-то поглядываю иногда. Вон недавно в Москве арестовали одного деятеля — секту организовал. Денег ему тащили... Мешками! Вся комната завалена: до потолка. А самое смешное знаешь что?

— Что?

— Он себя богом Кузей называл! Нет, ты представляешь? Бог Кузя! И вот ему целые десять лет народ последние деньги тащил.

Понятно дело, среди сподвижников его в основном бабы были. Ну да им ладно, простительно. Какой с бабы спрос? Но ведь среди них и наш брат попадался. Отдельные, так сказать, экземпляры. Вот что удивительно! Я даже не стал дальше смотреть, чему он их там учил.

А гадалки, ведьмы, битвы экстрасенсов? То есть в Господа Бога они поверить не могут, а в колдунов — пожалуйста. А в девяностые? Ты-то не застал уже, конечно. Был такой деятель, не помню, как фамилия. Народу полные залы собирал — лечил, понимаешь. От всех болезней! Да... А лечил знаешь как? Это ж анекдот! Движением рук. Помашет,

понимаешь, руками, помашет — и все! Шрам, говорит, у тебя рассосался! А народ в зале сидит и тоже: кто башкой машет, кто руками... Страшное дело!

Так его ж по телевизору, на всю страну показывали. А еще слышь чего придумал? Воду заряжать! Поводит руками, поводит — и готово дело. Лечебная! Так полстраны у телевизора с банками и сидели, как идиоты. Воду заряжали. И моя туда же! Банками обставится, и слова ей не скажи! А я боюсь. Совсем, думаю, кукухой поедет. У меня сват в Новосибирске жил, так он рассказывал: сеанс закончился, а жена все сидит и башкой машет. Скорую пришлось вызывать.

Не-е-е... Похоже, и впрямь последние времена настают. Совсем у народа панамку снесло. Танька наша со своей «пулей Гарибальди» в башке еще не самый плохой вариант, я тебе скажу. У других таких пуль... Целая обойма.

— Ну и какая же, по-твоему, у меня пуля? — улыбнулся Максим.

— А чего тут думать? Самая обыкновенная. Гордыня называется.

— С чего бы это?

— А что? Скажешь, не так? Она самая. Ну а как-же? Тебе лет-то сколько? Тридцать один — тридцать два?

— Тридцать два.

— Ну вот. Щегол молодой, а уже при должности. Машина у тебя крутая. Квартиру, мать говорила, купил.

— И что ж в этом плохого? — удивился Максим. — Я, между прочим, и на машину, и на квартиру сам заработал. Никто не помогал. Думаешь, легко мне было из деревни пробиваться? Без связей, без денег? В общеаге, пока в институте учился, на одном «Дошираке» сидел.

— А я разве говорю, что плохо? Молодец, говорю! Да только ты шибко-то не заносись. Это ж тебе только кажется, что ты сам с усам. А на самом деле... Знаешь, как в Евангелии сказано? Ни один волос не упадет с головы человека, если на то не будет воли Божьей. Жизнь наша она же на волосочке — во-о-от таком, тонюсеньком — висит. И волосок этот в любой момент может того... Понимаешь меня? Так что... не гордись, Максимка! Не гордись. Дал тебе Господь ум, здоровье, удачу — вот и благодари его. Благодарю! Это ты пока молодой — не понимаешь, а время придет... Так прижмет — враз забудешь гордыню свою. Сразу Господа вспомнишь! Мать правильно говорит: Господь все одно приведет. Вопрос только — как? Вот в чем закавыка. Я ведь тоже таким, как ты, когда-то был. Думал, круче меня не найти. Да только это до поры до времени. Уж поверь!

Максим, слушая дядьку, тоже завелся.

— Так я же не отрицаю, что есть во вселенной некий, так сказать, высший разум. Который организует в какой-то степени жизнь на земле. Но только вот при чем тут храмы ваши, свечи, панихиды? Все это? Я лично считаю, что если даже и верит человек в Бога, то посредники ему в этом не нужны.

— А ты знаешь, как в народе говорят? Кому церковь не мать, тому Бог не отец.



— Да мало ли что народ говорит. Это же все слова.

— Слова, говоришь? — усмехнулся Иван. — Ну-ну... Расскажу я тебе одну историю, как товарищ мой помирал — Колька Солдатенко. Тяжко умирал. Рак у него был. Сам понимаешь, болезнь страшная. Поначалу в городе лечили, а потом все — выписали. Домой помирать отправили. Им там зачем статистику себе портить? А лекарства обезболивающие просто так не купишь. Пока рецепт выбьешь, пока в город съездишь, в аптеке выкупишь... Героин проще достать! Да что я тебе рассказываю — сам знаешь, как у нас с медициной тут. Скорая помощь за сто с лишним километров едет. Или такси бери — полпенсии туда-обратно.

В общем, закончились у Кольки лекарства, не успели выкупить. И вот ведь... Мужик, я тебе скажу, он геройский был. Про таких говорят: у него стальной стержень вместо позвоночника. Всю жизнь в армии прослужил. Офицер! Все горячие точки прошел. А тут в голос воеет.

Я жене его говорю: «Ты пистолет-то спрячь наградной. Не дай Бог...» Жена у него сильно верующая была — каждое воскресенье в храме. А Николай, тот не то чтобы богоборец какой, нет... Но вот навроде тебя: зачем, дескать, мне храм, если у меня Бог в душе. А жена извелась вся, что некрещеный муж. Ведь даже записочку в храме не подашь за здравие. А случись, помрет? Ни отпеть, ни сорокоуст заказать. Горе, да и только. А тут... Сам попросил. Чтобы, значит, мы батюшку привели, покрестили его. Душа-то взыскует...

Пришел отец Василий, притворили они двери в комнате, поговорили о чем-то. Пока разговаривали, Николай стонал без конца. А как батюшка его окрестил — затих. Исповедал тот его тут же, причастил... Чашу ему к губам поднес для целования, а сам говорит: ну вот, раб Божий Николай, и стало у Господа Бога нашего на одного воина Христового больше. Новое у тебя теперь место воинской приписки. А тот улыбнулся и прямо лицом посветлел. И ни тебе стона, ни крика. Так и умер с улыбкой в тот же день. Сам бы не видел — не поверил... А ты говоришь: свечки, панихиды...

Он помолчал.

— Ладно, айда. Попарю тебя по-нашенски.

* * *

Зашли в баню. Иван снял с себя металлический крест, надел, как положено, деревянный — и скрылся за дверью парной. Максим же замешкался в тесном предбаннике, то и дело цепляясь головой за подвешенные под потолком веники, сушеные пучки полыни, можжевельника и еще каких-то незнакомых ему трав.

Ему вспомнилось, как дед, бывало, запаривая веник в тазу, приговаривал: «Полынь, Максимка, она всякую черноту из человека изгоняет, а веник полынный, он еще и суставы лечит и усталость как рукой снимает. А можжевельник — тот и душу, и тело бодрит. Вот мята, та — нет. Мята, напротив, она успокаивает. Потому некоторые веточки

мяты в веник березовый и добавляют. Ну или в дубовый. Так что каждая травка свою хворь лечит».

— Ты долго еще там? — прервал его воспоминания выглянувший из парной дядька Иван. — Заходи!

Максим шагнул в дверной проем и в нерешительности остановился. Кожу обожгло сухим жаром. Дыхнув нестерпимо горячего воздуха, он зажмурился: «Ох ты ж...»

— Дверь притяни! — прикрикнул на него дядька. — Весь жар выпустишь. Давай на полок!

Максим огляделся в тусклом банном сумраке, задержав взгляд на внушительной фигуре дяди Ивана. Несмотря на годы, тот все еще был крепок собою, жилист, подтянут. Во всем его облике чувствовалась неистраченная за многие годы сила.

— А чего темень-то такая? — проворчал Максим, наощупь забираясь на полок.

— Потому как в бане должно быть темно, тепло и тихо! Так что ложись да знай помалкивай, крестничек.

Пока Максим умащивался на узком полке, Иван взял пучок какой-то травы и, держа над каменкой, плеснул на него кипятком из ковша. Парная наполнилась горьким полынным духом. Иван поддал еще парку.

— О-о-о... — взвыл Максим. — Дышать нечем!

— Ничего-ничего! Самый раз. Сейчас, погоди...

Иван выхватил из кадушки с холодной колодезной водой березовый веник и водрузил крестнику на голову. Дышать сразу стало полегче.

Слегка покачивая вениками, дядька принялся разгонять над ним пар. Максим лежал на животе, вытянув руки вдоль тела, и ему казалось, что над его телом завис шар — большой, теплый... А Иван, время от времени поддавая горячей воды на каменку, все продолжал и продолжал загребать пар.

— Чувствуешь теплую волну?

— Чувствую. Только у меня почему-то мурашки побежали.

— Это хорошо, это так и должно быть, — удовлетворенно сказал Иван, продолжая плавно, не касаясь тела, помахивать вениками, точно укрывая крестника горячим одеялом из пара.

Максим повернул голову набок и сквозь паровую завесу увидел, как из сучка в сосновой доске медленно течет густая, вязкая смола.

Дядька наконец выпустил веники из рук:

— Что, прогрелся? Ну айда, подышим.

В предбаннике Максим жадно припал к бидону с квасом.

— Как тебе квасок-то?

— Хорош... Вкус необычный.

— Ну так! На березовом соке. Сам делал. В погребке у меня с мая стоит. Само то после баньки. Ты как? Продышался? Ну пошли.

Вернувшись в парную, дядька с новой силой принялся за дело. Плеснув на каменку, он вновь нагнал пару и, легонько труся над Максимом веником, мягкими неспешными движениями принялся поводить им от ног к голове.





— Спина-то как? Не беспокоит?

— Да есть немного.

— А хочешь скажу, где больше всего болит?

— Где?

— А вот тут, под правой лопаткой. Угадал?

— Угадал, — удивился Максим. — А как это ты?

— А у банщиков поверье есть. Если по человеку провести веником, то там, где на нем листочек остался, там и болит. В этом месте его и надо как следует пропарить. У тебя зажим тут. — Дядька слегка помял ему спину. — Ничего-ничего... Сейчас мы его... Уврачуем!

Иван еще несколько раз огладил Максима веником от пят до головы: по одному боку, по другому... Приложил веник к лопаткам и, прижав рукой, подержал несколько секунд, потом — к пояснице... И опять подержал, приговаривая:

— Полежи-ка, веник, тут, откуда ноженьки растут!

После этого начал слегка стегать. С каждым разом все сильнее и сильнее. А потом пошел хлестать его вдоль и поперек уже двумя вениками сразу: по пояснице, по стопам, по икрам... Он выстукивал, выхлопывал и выбивал Максима, как старый пыльный ковер. А тот желал только одного: живым бы выползти на свет Божий.

— Что, крестничек, отвык от бани нашенской? В городе, в джакузях своих? А? То-то же! Это тебе не петушками сахарными на рынке торговать! Ты чего мизинцы-то на ногах поджимаешь? Неужто жарко так?

— Не то слово...

— Что, проняло? — хохотнул дядька. — Должно было пронять!

Иван, сжалившись, приоткрыл дверь, запуская в парилку свежий воздух. И тут же давай по новой охаживать крестника.

Максим несколько раз выскакивал на улицу. Передохнув и дождавшись, когда восстановится нормальное сердцебиение, делал очередной заход.

Наконец дядька вывел его под руки из бани и окатил из ведра холодной водой.

— А теперь — на догрев. Живо!

Максим лежал, в изнеможении распластавшись на банном полке. Он казался себе невесомым. Почти бесплотным!

В последнее время Максим напоминал собой сжатую до упора пружину. Жизнь в режиме хронического цейтнота, авралы на работе, горящие дедлайны... С одной стороны, все это заводило и подстегивало его. Вызывало азарт, драйв, желание победить, оказаться круче, чем другие. Но с другой... В этой бесконечной гонке за успехом Максим, похоже, упустил что-то самое главное. А ведь остановись, притормози он хоть на чуть-чуть... Кто знает? Возможно, и с женой все сложилось бы иначе.

И вот, лежа на влажном полке обветшалой, вросшей в землю баньки на краю огорода, он испытал почти забытые ощущения: необремененности и бестягостности. Да! Именно бестягостности. Как в детстве.

И вдруг:

— Черный ворон... — раздалось за его спиной, — что ж ты вье-о-ошься да над мое-ею голово-о-ой...

Максим, только что изнывающий от жары, вдруг почувствовал, как по загривку пробежал холодок.

— Ты добы-и-чи не добые-о-ошься, че-о-рный ворон, я не твой...

Дядька Иван пел, а Максиму казалось, что это дед... Дед его покойный за спиной у него стоит. Так же вот когда-то охаживал его веником — пацаненка. И песню эту самую пел.

Из бани Максим вышел каким-то... просветленным, что ли?

* * *

На следующее утро Максим первым делом собрался на пробежку. На этот раз сразу направился за околицу села — подальше от любопытных глаз.

Он бежал по пыльной извилистой грунтовке, по одну сторону от которой плотной стеной возвышался напоенный ночной влагой и пронизанный янтарным солнечным светом сосновый бор, по другую наперегонки с Максимом, ласково огибая обросшие мхом валуны, струила свои бирюзовые воды река Бия.

Здесь когда-то они рыбачили с дедом. Самое уловистое место! Ленок, хариус, таймень... В городе такую рыбу — пойдн найди.

Полной грудью вдыхая густой смолистый воздух, Максим любовался на тонущие в молочном тумане верхушки холмов, что раскинулись вдаль; на зеркальные, чуть дрожащие на воде отражения берез, укоренившихся на берегу; на то, как играет лучами солнце на красноватых стволах сосен. И все эти запахи, краски, звуки обволакивали, пронизывали, завораживали, тревожа и одновременно согревая душу.

Однако вскоре Максим почувствовал неожиданную слабость. Он замедлил бег. Затем и вовсе перешел на шаг. Слабость продолжала нарастать. Во рту пересохло. У него потемнело в глазах.

«Сахар упал», — обожгла мысль.

Тяжело и часто дыша, Максим остановился, привычно сунул в карман за леденцами. Пусто! Ну конечно! Мать же вчера штаны постирала. Вот черт... И до дома далеко. И вокруг ни души.

«Чего делать-то?» — мысленно заметался Максим. Вот тебе и лечебное голодание, вот тебе и физические нагрузки! А врач предупреждал... Предупреждал дурака. Да еще до бани вчера дорвался!

Хватая ртом воздух, он медленно опустился на колени прямо в дорожную пыль. По лицу градом катил пот. Сердце сбивчиво, из последних, казалось, сил колотилось о ребра. А воздух вдруг стал каким-то тягучим, липким. Почувствовав, как немеет язык и лицо, Максим совсем запаниковал. Неужели все? Конец?

Глупо, до чего же глупо...

Через какое-то время мать хватится его. Кинется к дяде Ивану. Начнут искать. И найдут. Лежащим на дороге.



Он представил себе растерянное лицо дядьки, как начнет голосить мать...

Да нет... Не может быть. Нет! Не хочу!

«Господи! Господи, помоги!» — взмолился Максим.

И тут боковым зрением сквозь деревья он увидел на обочине дороги металлическую оградку, окрашенную голубой краской, и сваренный из арматуры крест. Пригляделся. Дальше еще. И еще... Кладбище! Это же старое деревенское кладбище! То самое, где когда-то схоронили деда и где он ни разу с той поры не был. Сердце у Максима захолонуло.

Ну вот и все... Вот она, Максим, и настигла тебя твоя «пуля Гарibaldi». Правильно дядька Иван говорил. А ведь какого героя из себя вчера корчил! Что ты!.. Смерти он не боится. Господи... Господи...

«Постой, сегодня же Троица! — осенило его. — Накануне народ по-любому конфет на могилки принес. Родных помянуть».

Максим собрался с силами и пополз на коленях по росной траве, продираясь сквозь сухие ветки, расцарапывая руки, обжигая крапивой лицо.

— Господи, Господи... — стучало в висках, — прости меня, грешного! Прости меня, дурака проклятого! Господи, помоги... Только бы успеть...

Крайние могилки, как на грех, оказались заброшенными. И вот, наконец, сквозь заросли Максим с замирающим сердцем разглядел свет едва теплящейся лампадки. Сцепив зубы, уже на последнем дыхании он подполз к аккуратно прибранной могилке и судорожно сгреб с блюдца конфеты. Дрожащими руками развернул фантик и, засунув в рот карамельку, обессиленно откинулся спиной на могильный холмик. Успел!

Через какое-то время Максим почувствовал, что в голове прояснилось, а пульс начал выравниваться. Он лежал, запрокинув голову, и смотрел сквозь зеленую крону деревьев на зыбкое прозрачное облачко, невесомо парящее в бездонной синеве.

— Чек-чек, чек-чек... — послышалось где-то рядом.

Максим повернул голову на знакомый стрекот и увидел в кустах небольшую, чуть больше воробья, красновато-коричневую птичку с широкой черной полоской вдоль глаз. Жулан!

Жуланчик...

Однажды, возвращаясь из леса, нашли они с дедом попавшего в поставленный деревенскими мальчишками лучок такого же певуна. Птаху из плена они вызволили. Максим на всю жизнь запомнил трогательно-щемящее ощущение живого тепла в своей руке. А еще — жалость. Сострадание. И волнительное, осознанное понимание того, что только от тебя в данный момент зависит жизнь этого крохотного, трепещущего от страха существа.

И вот сейчас, лежа среди могил на старом деревенском кладбище, Максим — обессиленный и беспомощный — ощутил себя тем самым жуланом, чудом спасенным из приготовленной кем-то ловушки. Крохотной

птахой в чьей-то невидимой руке. Невидимой, но такой теплой... И такой бесконечно любящей руке.

«А ведь здесь где-то и дедова могила...» — он приподнялся и огляделся по сторонам. «Господь все одно приведет...» — вспомнились ему слова матери.

Вот и привел.

— Дед, ты прости меня. Прости, ради Бога.

Со стороны реки потянуло свежестью. От едва уловимого движения воздуха листва над головой нежно затрепетала. И Максим невольно стал вслушиваться в этот тихий, невнятный шепот, точно пытаясь разобрать незнакомую ему речь.

Незнакомую, но такую родную и близкую.

Просто забытую когда-то.



Алена РЫЧКОВА-ЗАКАБЛУКОВСКАЯ

ТЕНЬ ПРИСУТСТВИЯ

* * *

детство это чебуречная
чебуречная на рынке
где столы на длинных ножках
мне рукою не достать
мне отсюда очевидны
только папины ботинки
много ног разнообразных
несуразных тетя и дядя
а еще отлично виден
мне лохматый рыжий бобик
завсегдатай заведенья
мы с ним роста одного
бобик тычется в колени
бобик просит чебурека
он в одну и ту же реку
входит двадцать раз на дню
из нее мы скоро выйдем
и еще не раз вернемся
но однажды выйдем в двери
словно в омут головой
вынырну — все тот же город
только нету чебуречной
только папы больше нету
только легкое касанье
тень присутствия его

Андрюшенька

Маленькой мне казалось,
вот иду я по земле,
а моя прабабка идет под землей.
Я шаг — и она шаг.
Так и идем, слипшиеся ступнями,
непонятно, кто чье отражение.
А другая прабабка, Марфа,
та, что по отцу,
любила меня крепко.
А я ее боялась.
Носила она длинную юбку
и долгополый зипун.
Нос ее был такой длинный
и крючковатый, что о подбородок
стукался — страсть господня!
Любила она петь песню старинную
«Я сажала огурочки,
Кто же будет поливать...»
Пела и притопывала,
и юбкой землю мела.

Бывало, встанет посреди улицы
с кульком пряников,
а я бегу-убегаю от нее со всех ног.
«Ой, люди добрые!
Поймайте мне Андрюшеньку —
глазки кругленьки!»
Соседские ребяташки
схватят меня и волокут.
Я кричу, вырываюсь.
«Отпустите! Отпустите ее!
Передайте только прянички».

А когда помирать стала,
долго помереть не могла.
Всей деревней приходили
прощаться. Почитай
все родственники.
А она об одном только и просила:
«Приведите мне Андрюшеньку —
глазки кругленьки».
И опять схватили меня,
тащат через порог,
я криком кричу, надрываюсь.
«Отпустите! Отпустите ее.
Посмотрела я!»





С тем и отошла к Господу.
А почему «Андрюшенька —
глазки кругленьки»?
Говорят, похожа я
на другого сына ее,
в Гражданскую сгибшего.
Капля от капли.
Ее капля в море человеческом.

* * *

Эти старые мебели
По пришествии октября
Начинают скрипеть натужно.
Разевает честной комод
Бегемотий широкий рот:
Перегружен, я перегружен.
И по капельке, кап да кап,
К скрипам этим добавит шкаф
Дребезжащих своих копеек.
Да и что говорить о нем?
Олимпийским звенит рублем
Голубиный буфет, что днем
Отсыпает нам карамелек.
А под утро он всем нутром
Барагозит и на ребро
Ставит рубль в укромном месте.
А куда буфет звенит,
Не твоя ли душа болит?
Все не выболит, хоть ты тресни.
Принимаешься вдругорядь
Житие свое вспоминать,
По ночам шутковать на кухне,
Среди бела дня вынимать
Миновавших времен печать —
Изветшалую рухлядь.
И всего нажитого добра
Отступает вдруг кабала,
Словно морок.
Потому как в последний дождь
Ничего с собой не возьмешь,
Хоть и долог
Путь в нехоженые края.
Ни зонта тебе, ни рубля,
Ни котомок.

* * *

Что ждать тебе от новых февралей:
Небесной сини, белых простыней,
Ангарской проруби оплавленного чрева?
Песчаной отмелью, как поглядишь налево,
По краешку, где прибывает ток,
Оттаявшей воды взошел цветок
По трубочкам стеклянного напева.
Сквозняк прибрежный, вечный стеклодув,
Вневременное что-то выдувает,
Как прах с руки, как невесомый пух.
По капле неизменно прибывает
Дневной надел. Нет никакого дела
До тьмы людской,
До выверенных зол —
Природа лишь на время омертвела.
Размеренно плетет себе узор
То льдом, то карантинной повиликой.
Чтоб после встать над пустошью великой.

* * *

предчувствие дождя
его большого тела
держи держи меня
пока не улетела
пока не поднялась
над тьмой многоэтажной
и не коснулась дня
в котором сизый бражник
выискивает снесь
на доньшке бутона
и невозможна смерть
ни с кем из обреченных

* * *

приходит осень разделяй и властвуй
в твой город забываемо прекрасный
в твой город ожидаемо пустой
в казармах красных встанет на постой
окстись мой друг
казарм тех больше нету
а между тем случится бабье лето
и бабьей же умоется слезой
скажи каких тебе еще событий
открытий с человеческим лицом





где черный ворон рученьку спохитит
и над каким усядется крыльцом
сморгни виденье словно не бывало
то песня лишь которую певала
вставая в круг среди своих подруг
на голову накинешь покрывало
и осень отступает как недуг

* * *

чем дольше живешь в одиночестве
тем менее страшно оно
глядишь на отцовскую вотчину
в слепое под утро окно
в нехитрых домашних растениях
фиалка герань цикламен
какого тебе откровения
какой тебе жизни взамен
остыла другого не хочется
твоей незатейной звезде
ни званья иного ни отчества
луны голубое высочество
плывет по высокой воде
и ель твоя прямостоящая
и тополь с вороной во лбу
такая она настоящая
с дыханием спертым в зобу
когда приподнимется солнце
не песня пробьется не крик
но с дерева тонко прольется
восторженный птичий курлык

* * *

жить нужно на отшибе
да так чтоб ни души
на том речном изгибе
где ночь и камыши
где только всхлипнет кряква
да сплавится таймень
надумаешь заплакать
да время тратить лень
мутить такую воду
будить такую глушь
куда не зная броду
не забрести к тому ж

* * *

оскудение душ
омертвление тела
если взялся за гуж
то приканчивай дело
каторжанская кровь
будет ныне и присно
кто сказал что любовь
неизменная жизни
не читайте газет
и стихов не пишите
день в простое одет
как мудрец долгожитель
но однако и он
после знойной огранки
остывает в ночи
словно бабочка в банке
с незатейной резьбой
консервация лета
у него за душой
ни креста ни обета
а кому обещать
долгой жизни вовеки
если смерти печать
на любом человеке

* * *

О лето, ты меня не тронешь
Однообразною листвою.
Под утро вспыхнет на затоне
Внезапный призрак золотой.
Смотреть в него не насмотреться.
Но как мне поле перейти?
Споткнется шаг,
Собьется сердце,
И осень встанет на пути.

Сергей ВЛАДИМИРОВ

КОЛОДЕЦ

Р а с с к а з

Колодец во дворе был, считай, всегда — сколько дед Мирон себя помнил.

Вот он — несмышленный пятилетний мальчонка — смотрит, как отец и мужики-соседи лопатят жирную плодородную землю, рыжую липкую глину, сырой тяжелый песок. Загорелые лица и полотняные рубахи работают мокры от пота. Ласковое августовское солнце все выше, а яма все глубже. Быть воде.

Маленький Мирон не только наблюдает. Вот отец подмигивает ему и высыпает в небольшое, почти игрушечное ведро полную лопату глины. Мальчонка, гордясь доверием, торопится опрокинуть ведро на растущую земляную кучу и возвращается за новой порцией.

Время от времени раздается глухой звон: лопаты копателей натываются на твердый металл. Мужики небрежно отбрасывают в сторону разнокалиберные гильзы, осколки, проржавевшую каску, сломанный затвор от трехлинейки. Такими находками никого не удивишь. Чуть больше десяти лет назад жестокие бои шли под Киевом. Когда отец вернулся с фронта, дом пришлось, по сути, перестраивать заново — война на нем целого места не оставила. Перестроил. Женился. А там и Мирон появился на свет. В новом доме. Под мирным небом.

Вскоре свежевыкопанный колодец обзавелся деревянным срубом с покатой крышей, воротом, к которому крепилось солидной железной цепью ведро. Потом еще несколько дней отец упорно крутил ворот, сливал свежедобытую воду в бочки и кадushки и наконец, видимо, решив, что вода уже подходящая, в первый раз попробовал ее из большой алюминиевой кружки. Удовлетворенно крякнул и протянул кружку сыну.

Удивительно вкусной и свежей оказалась колодезная вода. Студеная — аж зубы ломит. И с годами вкус ее хуже не становился.

Менялась жизнь. Протянулись по пригородному поселку нити водопроводных труб. Но, хотя своя вода была теперь практически в каждом доме, нет-нет да и заходили соседи с ведрами попросить воды из колодца. И отец никому не отказывал.

— Запомни, — говорил Мирону отец. — Хозяин колодца — не кладовщик какой-нибудь и не сторож. Его дело — приспособление в порядке

содержать, чтобы у людей всегда вода была. Вода в этой жизни — самое главное и важное. Понимаешь?

Отец соблюдал свои принципы. Примерно каждые десять лет чистил подземный источник и обновлял сруб. А потом... Потом ответственность эта легла на плечи уже взрослого Мирона. И он с гордостью принял эстафету. Следил за колодцем и своего сына Петра к тому же приучал.

С годами разрослись, окрепли, вытянулись к небу посаженные еще отцом и матерью фруктовые деревья: вишни, яблони, груши, абрикосы. Уютная садовая тень укрывала колодец, словно одеялом, и, казалось, вода в нем стала еще вкуснее...

Оглушительно грохнуло. Старик вздрогнул и очнулся от воспоминаний. Воздух взрезало посвистом, и на землю посыпались скошенные осколками ветки и листочки и без того изрядно искалеченных фруктовых деревьев.

Близко мина легла.

Старик подхватил ведро с водой и торопливо заковылял к дому. Чуть не оступился на краю большой воронки. Смешно затоптался, но устоял на ногах. Потом обессиленно опустился на крыльцо, отдышаться.

Воронок во дворе было несколько, и старик хорошо знал, откуда стреляли. Ровнехонько три мины положили в его двор еще неделю назад, когда российская армия подошла к пригородам Киева. Нет, русских в его дворе и близко не было. Так что зачем понадобилось кочующей и вроде бы своей минометной батарее палить по дому деда Мирона — непонятно.

Непонятно — на первый взгляд. На фоне выросших вокруг в последние двадцать лет коттеджей-дворцов старый дом смотрелся гадким утенком. Много раз старику предлагали неплохие деньги за его «развалуху» и участок, но он, не желая уходить с родной, предками и им выпестованной земли, отказывал всем. А теперь — война все спишет. Нет дома и хозяина — нет проблем. Может, и шепнули чего минометчикам ушлые люди. Может, посулили щедро. Коттеджи вокруг целехонькие, а у деда Мирона и сад искалечен, и дом без единого стекла — окна фанерой закрывать пришлось. Но самое плохое — то, что случилось со старухой, с женой Галиной. Когда третья мина прилетела, она была во дворе. И надо же — ни один осколок не задел, но оглушило до крови из ушей, до беспомысленности. Насилу в дом затащил. Теперь лежит на кровати и бездумно в потолок смотрит. Хорошо хоть ест да пьет понемногу. Ее бы к врачу, да куда там?!

Старик посмотрел в сторону перекрестка, где пролегал трасса на Борисполь. Очень хорошо пристрелянная со стороны Киева трасса. Сейчас там, на перекрестке, застыли обгоревшие остовы легковушек. Когда власти столицы объявили эвакуацию, некоторые киевляне пытались покинуть город в «неправильном направлении». На таких ни патронов, ни снарядов не жалели. Мало кому удалось вырваться. Теперь дорога уже много дней пустынна, но стоит промелькнуть одинокому автомобилю или пешеходу, с киевской стороны открывают огонь. Так



что до врача не добраться. Да и не на чем. Пусто в поселке. Все «свои» сбежали, а «чужие» где-то там, на другом берегу речки, за мостом.

«Свои». «Чужие». Как все в жизни так перевернулось? Почти тридцать лет колесил Мирон за рулем грузовика по цветущей советской Украине. Возил фрукты, зерно, стройматериалы. Все уголки объездил, от Львова до Донбасса, и везде видел счастливых, веселых людей, довольных жизнью и живущих дружно. Русские, украинцы, венгры, молдаване, татары, поляки. Все они были друг для друга своими. Гражданами великой державы. Страны, которой в одночасье не стало и которая, казалось, забрала с собой все хорошее.

Как-то вдруг оказалось, что все, чем жил и во что верил старик, стало неправильным. Не на том языке разговаривал, не тех героев уважал и почитал, не те праздники праздновал. «Запретить! Отменить! Живем бедно, так это “клятые москали” все соки высосали! Избавиться от прошлого! Построить новое будущее! Стать великой свободной страной в ряду других европейских держав! А тех, кто не хочет, — заставим». И заставляли. «Дозаставлялись» до того, что вернулся в Россию Крым; до того, что запольхал русскоязычный Восток, а теперь уже и вся Украина.

Не принимал дед Мирон происходящее. Отказывался в него верить. Единственным и незыблемым оставался отцовский дом с колодцем во дворе да жена, с которой маялись они посреди бушующей чужой жизни, как два никому не нужных осколка прошлого. Давно уехал жить и работать в Германию, как и многие другие молодые хлопцы, сын Петр. Вот уже несколько лет от него нет ни ответа, ни привета. Забыл своих стариков. Дочь Олеська живет с мужем на Львовщине. Эта хоть изредка звонит по праздникам. А сын... Как же так?!

Громко скрипнула калитка.

— Эй, хозяйева, есть кто живой?

Старик поднялся на ноги. Во двор зашли четверо. Вооруженные. «Чужие». По сторонам поглядывают внимательно и автоматы из рук не выпускают. Шедший впереди крепкий военный с пышными усами, в котором по повадкам и выправке угадывался офицер, увидел хозяина, чуть улыбнулся, скользнул цепким взглядом по двору.

— Здорово, отец! Это кто же тебе так двор разделал? Яма на яме.

Дед Мирон слегка кивнул в ответ на приветствие и смолчал.

— Ты, отец, не немой, часом? — участливо спросил военный. — Или, может, на нас злишься? Так это не мы по твоему хозяйству жахали. У тебя же в сарае танк не спрятан. Или спрятан?

— Самолет у меня там, — неожиданно даже для самого себя ответил старик и подумал, что это он, наверное, зря сморозил. Нашел время и компанию — шутки шутить.

— Серьезно?! «Боинг», наверное? — рассмеялся военный. — Ладно, отец, ты не бойся, не обидим.

— Чего мне бояться? Не звери же какие.

— Это верно. Это ты, отец, правильно. Мы тут сейчас неподалеку расположились, — военный неопределенно махнул рукой. — Решили глянуть, что тут у вас да как. И договориться, в том смысле, что если

местные нам пакостить не будут, то и от нас проблем не ждите. Ну а если начнется всякая ерунда, тогда не обессудьте.

— Какая такая ерунда? — не понял хозяин.

— Всякая. Близо к нам не лезьте да языком с кем попало о нас не болтайте — и все дела. Понятно?

— Понятно, — кивнул старик.

Военный шагнул ближе, протянул руку.

— Будем знакомы. Гера.

Старик, помедлив, пожал протянутую руку и удивился.

— Это что же за имя такое? Игорь, что ли?

— Какая разница?! Гера, да и все. Кстати, позволишь, отец, за водой к тебе иногда приходиться? Гляжу, колодец у тебя.

— Чего же. Берите. Воды всем хватит.

— Вот спасибо! А это тебе. Возьми.

Гера, словно фокусник, выудил откуда-то из своей амуниции две консервные банки и протянул старику.

— Это зачем? — не понял дед Мирон.

— Как зачем? Погреб, что ли, от еды ломится? Или магазины у вас работают до сих пор?

— Какое там! Закрыто все. Электричество отключили. Воду. Разбежались люди кто куда. Струхнули.

— Не тех боитесь, отец. Ох, не тех.

Старик подумал и консервы все-таки взял. Упрятал в карманы дождевика. И тут же вновь закричала калитка. Под прицелами трех моментально вскинутых автоматов во двор вошла-вкатилась низенькая рыхлая женщина, лет сорока, в спортивном костюме, который обтягивал ее пышную фигуру так плотно, что казалось, вот-вот разлезется по швам. Одежда выглядела удивительно новой. Мирону показалось, что ярлычки с нее срезали чуть ли не минуту назад. В руках женщина держала большое пластиковое ведро. Стволы автоматов чуть опустились.

— Здравствуй, соседка! Здравствуйте, люди добрые! — затараторила женщина, щуря маленькие глазки и бросая быстрые взгляды на военных. — А у меня вот водичка закончилась совсем. И из крана ни струйки, ни капельки! Ничего не работает! Уж не гони, соседка. Позволь воды набрать!

Старик, который видел «соседку» впервые в жизни, кивнул.

— Ай спасибо! — Непрошенная гостя бодрой рысью побежала к колодцу.

Военные посторонились. Женщина отодвинула тяжелую колодезную крышку и принялась неумело крутить ворот. Цепь тревожно лязгала.

— А у меня мужа хотели в территориальную оборону забрать, — продолжала тараторка. — Совсем ополоумели. У него же колено не гнетса совсем. Еле как отпустили. Сердце у мужика прихватило. Вот лежит пока дома, а я за ним ухаживаю! Хорошо хоть дизелёк работает! Может вам, солдатики, борщечка сварить? Много вас? У меня большой котел есть!

— Спасибо. Не голодные, — ответил Гера, не спуская глаз с женщины.



— Да вы не стесняйтесь! Мне не трудно! У меня брат кадровым служил, пока на пенсию не вышел. Так что я понимаю. Или солений могу вам принести. Еще много с осени осталось. Вы где расположились?

— Пойдем мы. — Гера смерил подозрительную бабу недружелюбным взглядом, махнул в знак прощания, кивнул своим молчаливым бойцам. Через калитку гости почему-то не пошли. Шустро перебрались через забор возле бани и растворились в наступающих сумерках.

Лже-соседка моментально потеряла интерес к воде, метнулась к забору и попыталась высмотреть, в какую сторону направились бойцы. Досадливо всплеснула руками, подхватила так и не наполненное ведро.

— Ты уж не глупи, сосед, — заявила она, фальшиво улыбаясь. — Нам еще жить тут вместе.

Старик хотел презрительно сплюнуть, но не решился. Ссутулился и пошел прилаживать на место колодезную крышку. На скрип калитки за спиной даже не обернулся. Таких соседей и друзей за известное место да в музей. Пусть катится.

Мартовский вечер выдался удивительно спокойным. На поселок опускалась ночь и тишина, странная для войны. Ни канонады, ни взрывов, лишь где-то далеко, в стороне Борисполя, почти на пределе слышимости стрекотали автоматные и пулеметные очереди.

Дед зажег свечи, запалил газовую плиту, гадая, насколько хватит последнего баллона, и принялся готовить похлебку. Одну из полученных днем банок он убрал в буфет, вторую открыл. Оказалось — консервированная ветчина. Вывалил содержимое в закипевшую воду, добавил рисовой крупы, принялся крошить картошку и лук. Продуктов оставалось мало, и где их брать потом — было совершенно непонятно. Жена все так же безучастно лежала на кровати, глядя в потолок широко открытыми глазами.

— Ничего, Галю, — пришептывал Мирон. — Отойдешь. Поправишься. Вот сейчас покушаем...

Во дворе забухтели мужские голоса. Хозяин зачем-то сжал в руке кухонный нож и прислушался. В дверь замолотили крепким кулаком. Старик вздохнул, отложил нож и поплелся открывать. Откинул дверной крючок. Толкнул дверь. Та отворилась, и в дом вошел человек в форме. «Свой». Это было понятно по непривычной расцветке камуфляжа и зеленой повязке на рукаве. Был человек тощ и высок. Смуглая кожа так туго обтягивала кости черепа, что дед Мирон про себя моментально окрестил пришельца Кашеем. Голоса во дворе что-то негромко бубнили, но в дом больше никто не сунулся.

— Здоровеньки булы, — поздоровался Кашей.

— Вечер добрый.

Кашей неизвестно почему поморщился и стал осматриваться.

— Ну что, старый, скрипишь? — наконец спросил он на чистом русском.

— Как умеем.

— Ты, старый, странный какой-то. На земле живешь — даже собаки нет. Приходи кто хочешь. Бери что хочешь.

— Все, что от собаки и будки осталось, — аккуратно в дальней воронке во дворе перемешано, — пояснил старик. — А так, кому тут ходить? Разбежались все. Вы вот заглянули.

— Так уж и некому? — Кащей глянул зло и цепко. — Москалей сегодня привечал же.

— Заходили.

— Зачем?

— А за воду интересовались. Колодец же вон во дворе.

— И что?

— А ничего. Как я отказать могу?

— Ну да, ну да. — Кащей поиграл желваками и бросил взгляд на жену. — А со старухой что стряслось?

— Так то же самое, что с собакой. Только повезло старухе больше. Не до смерти убили.

— Видишь, старый, что москали творят! А ты с ними ручкаешься!

«Все видела “соседка”», — догадался дед Мирон, но ему почему-то было не страшно, словно внутри распрямлялась какая-то пружина, опуская страх и смятение на самое дно души.

— Так я и с вами бы ручкался, да не предлагаете.

Кащей недобро ухмыльнулся.

— Поговори мне!

Тут незваный гость заметил пустую консервную банку на столе, взял ее и подсветил фонариком, разглядывая.

— Что же ты, старый, еще и подачки от москалей принимаешь? Нехорошо.

Старик молчал, опустив голову.

— Или ты думаешь, что родная страна о тебе не позаботится? — продолжал Кащей.

Подошел к двери. Позвал.

— Мыкола, харч!

Со двора в дом заглянул здоровенный детина, вооруженный ручным пулеметом. Протянул небольшую картонную коробку и исчез. Кащей небрежно швырнул коробку на стол. Опять щелкнул кнопкой ручного фонаря.

— Цени, старый! Защитники твои сами недоедают, а с тобой делятся!

Старик подошел. Глянул на коробку, пестревшую надписями на иностранном языке. Отвернулся.

— Вот так! — сказал Кащей. — А у москалей больше ничего не бери. Узнаю — руки шаловливые отстрелю. Все понял?

— Как не понять...

— Хорошо. Теперь — дальше. Придут москали — лишнего не болтай. Сам слушай внимательно. Потом все расскажешь. И смотри мне!

Кащей погрозил немалым кулаком в армированной перчатке, паршиво осклабился и вышел на улицу. В доме пронзительно запахло подгоревшим супом и бедой.

Следующие несколько дней были похожи друг на друга, как близнецы-братья. Канонада разразилась с новой силой. Гремело и грохотало



повсюду, но близко, к счастью, ничего не прилетало, новые мины на двор не падали. Несколько раз в день над поселком, чуть не задевая брюхом крыши, столбы и деревья, проносились самолеты. Своим ревом они перекрывали даже канонаду.

Старик топил печь, ухаживал за старухой, которой лучше не становилось, готовил еду из скудных остатков продуктов. В нем поселилось какое-то странное чувство равнодушия к окружающему. Он понимал: все, что происходит, — это реальность, но относился к ней, как к нелепому сну, который вот-вот закончится. Он проснется, и все станет как прежде. Вот только проснуться почему-то не получалось.

Регулярно, как по расписанию, ближе к полудню, наведывались за водой русские. Молчаливые бойцы быстро наполняли прозрачные пятилитровые бутылки и так же быстро уходили. С хозяином они вежливо здоровались, и он им отвечал. В разговоры не лез, потому что стоило загреметь колодезной цепи, как тут же во дворе появлялась вездесущая «соседка», якобы тоже за водой. Она без умолку трещала, как сорока, пытаясь вывести бойцов на общение, но те отвечали односложно и на контакт не шли. То ли сами все понимали, то ли Гера, который, кстати, сам больше не появлялся, болтать запретил. Баба злилась и царапала старика колючим взглядом. Ему было все равно.

Один раз заглянули «свои». Набрали воды, бесцеремонно обыскали сараюшку, прихватили из бани оцинкованный таз и едва початый флакон с жидким мылом. Спросили водки или самогона. Старик развел руками, и «свои» ушли. Правда, ненадолго.

Через пять дней задремавший дед Мирон как-то внезапно проснулся и сразу не понял, что именно его разбудило. Он сел на кровати, опустил ноги на пол и прислушался. Где-то, не столь уж далеко, погромыхивали нечастые взрывы, но это было уже вполне привычно. По крыше барабанил весенний дождь, и это скорее даже убаюкивало. Негромко и отчетливо лязгнула колодезная цепь, и причина пробуждения стала ясна. Во дворе кто-то хозяйничал.

Старик посмотрел на жену. Та, казалось, была в сонном беспамятстве. Даже веки прикрыты, хоть и не плотно. Он ласково погладил ее по бессильной руке, поднялся и поковылял к выходу.

Ночь катилась к закату. Уже начинало зориться. В неверном предрассветном сумраке хозяин разглядел возле колодца несколько силуэтов. Там шла какая-то непонятная возня. Дед Мирон предупреждающе покашлял — не пальнули бы при его внезапном появлении, подошел ближе, пригляделся.

Несколько «своих» и Кащей с ними. Двое бойцов держат небольшие канистры, похожие на те, в которые наливают машинное масло. Зачем? Воду набирать, что ли?

— Ты чего выперся, старый? — прошипел Кащей. — Звали тебя?! Вали спать, и чтобы я тебя не видел.

Мирон всем сердцем почуял неладное.

— А вы что тут?! У меня, во дворе? — спросил он довольно громко, сделав акцент на слове «меня».

— Тихо! Не ори! — Кащей злобно ощерился. — Дерьмо — твоя вода! Хлопцы попили и животами теперь маются. Есть приказ провести дезинфекцию. Понял?

— Какую такую дезинфекцию? — почти крикнул старик, с нарастающей тревогой чувствуя, как начинают трястись руки. — Уходите! Уходите отсюда!

Кашей вскинул автомат.

— Еще раз пасть откроешь, — твердо обозначил он, — словишь пулю. Будешь с собакой в одной яме гнить. И халупу твою спалим вместе с бабкой. Ну, вякни что-нибудь! Доставь удовольствие! Молчишь? Молодец.

Кашей обернулся к своим бойцам.

— Чего встали? Лейте!

Двое практически синхронно отвернули колпачки у канистр. Забулькало. Содержимое емкостей полилось в колодец. Хозяин наблюдал за происходящим молча, только сердце ухало кузнечным молотом и где-то там, в груди, заворочалась тупая боль. Тем временем канистры опустели, и бойцы сноровисто задвинули колодезную крышку на место.

Кашей внимательно посмотрел на старика, словно суровый хозяин на пакостливого кота. Уголки его губ брезгливо дернулись.

— Пошел в свою конуру!

И указал стволом автомата в сторону дома.

Когда старик пришел в себя, то осознал, что сидит в комнате за столом и бездумно комкает в кулаках концы липкой старой клеенки, свисающие со столешницы. Во дворе тихо. На кровати все в той же позе лежит жена. На стене тикают старые «ходики». Сквозь узкие щели по краям закрывающей окна фанеры щедро сочится солнечный свет. Утро.

Боль в груди чуть утихла, а вот боль в душе была невыносимой. Настолько невыносимой, что как-то сами собой из глаз потекли слезы. Мирон перевел затуманенный влагой взгляд на стену, где висели в рамочках фотографии отца и матери, сына и дочери. Отец глядел на него строго и укоризненно, мать как-то растерянно, дети отводили глаза.

Так, неподвижно, окаченев душой и телом, дед Мирон сидел долго. Так долго, что слезы высохли и боль в груди унялась. Он обвел взглядом свое, такое родное, жилище, словно видел его впервые. Потом медленно поднялся, взял пустое ведро, небольшой ручной ковш и вышел во двор.

У колодца он бережно, словно баюкая ребенка, убрал в сторону крышку. Поскрипел воротом. Вытащил полное ведро воды и перелил в другое, принесенное с собой. Потом сел на землю, прислонился спиной к колодезному срубам и замер в ожидании.

Ждать почти не пришлось.

— Здорово, отец!

Сегодня Гера сам пришел вместе с водоносами. Он стоял и дружелюбно скалился, пока его бойцы расставляли пустые пластиковые бутылки.

— Здорово, — ответил хозяин тусклым голосом.

Гера перестал улыбаться.



— Случилось чего? — спросил он серьезно. — Может, помочь чем? Старик через силу помотал головой.

— Точно? — переспросил Гера. — Ну, как знаешь. А мы тебе поесть принесли.

— Не надо, — ответил дед Мирон, отворачиваясь.

Гера пристально посмотрел на старика, но больше ничего не сказал. Тем временем водоносы сноровисто управлялись с воротом, наполнив колодезной водой уже четыре бутылки.

— Здравствуйте, люди добрые! — «Соседка» появилась словно из ниоткуда, шустро семеня толстыми ногами.

Увидела старика и остановилась — словно в стену ткнулась. Приклеенная улыбочка сползла с лица. Глазки зло прищурились. Но быстро взяла себя в руки, опять заулыбалась:

— Здравствуй, соседка. Мне бы водички ведра три-четыре набрать. Сполоснуться хоть. Тазик, так сказать, принять. Ха-ха-ха.

Она бросила взгляд на пластиковые бутылки с водой. Бойцам оставалось набрать всего две. Засуетилась. Раздумянулась. Бухнула свои пустые ведра на землю. Зачем-то поменяла их местами. Гера отстраненно глядел на суетящуюся бабу.

— Давайте скорее, — бросил своим. — Видите, тетушке помыться невтерпех.

— Хе-хе-хе, — подхихикнула тетушка. — Да не спешите! Куда спешить-то? Я, если хотите знать, хоть и потом зайду. Мне сосед завсегда рад. Да, сосед? Уж такой у нас золотой! Никому не отказывает! А вода у него — вкуснее нигде вокруг не сыщешь. Из крана — что? Тьфу, а не вода. Одно название. Да сами, поди, распробовали? Набирайте, сколько надо, спокойно!

Старик сжал губы и решительно, хотя и с трудом, поднялся на ноги. Зачерпнул из своего ведра ковшиком и шагнул к госте.

— Ты, соседка, что-то выглядишь неважно, — сказал он, протягивая ей ковшик. — Раскраснелась вся — давление, не иначе. Вон и в пот уже бросило. Охолонься. Выпей-ка водички. В теньке присядь.

— Ничего я не раскраснелась, — возразила «соседка», делая шаг назад. — Придумает же тоже! Хе-хе.

— Точно говорю, — продолжал наступать на женщину старик, — плохо выглядишь, соседка. Как бы удар не хватил! Попей водички. Она у меня, сама говоришь, — вкусна. Нигде такой нет. Особенной.

— И вовсе я пить не хочу! — растерянно бормотала баба, продолжая пятиться. — Чего прицепился?!

— А я говорю, пей! — повысил голос старик, все приближаясь к женщине. — Пей, пока дают!

— Да, отвяжись, старый черт! — взвизгнула тетка, отталкивая рукой ковш. — Сам пей, раз приспичило, пока не лопнешь! Пристал, как банный лист! Провались со своей водой!

Дед Мирон презрительно скривил губы и решительно выплеснул воду из ковшика прямо в пунцовое бабье лицо. «Соседка» еще более громко взвизгнула, принялась тереть глаза ладонями, отплеиваться.

Задрала кофту, отчаянно елозя ей по своей физиономии. Потом истошно вскрикнула и бросилась бежать. Хлопнула калитка — и надоедливой бабы и след простыл.

Тяжелая рука легла старику на плечо. Он медленно обернулся и встретился со взглядом «чужого» командира. Взгляд был чуть удивленным, сожалеющим и грустным. Так постояли с полминуты, глядя друг другу в глаза.

— С нами пойдешь? — Гера не уточнил, спросил.

Мирон молча покачал головой. Гера помедлил в коротком раздумье. Явно хотел сказать что-то одно, но в итоге почему-то не стал и сказал другое:

— Спасибо. И зла не держи. Воду мы все-таки заберем. Вдруг тебе это хоть как-то поможет.

Гера махнул рукой бойцам. Те похватили бутылки с водой и потянулись к выходу со двора.

— Постой! — Старик ухватил собирающегося последовать за бойцами Геру за рукав.

Тот остановился. Глянул вопросительно. Мирон трясущейся рукой нашарил в кармане старый ключ с длинной бородкой, достал и протянул командиру.

— Вот. Возьми. От дома. Ключу этому обязательно хозяин нужен. Иначе обидится и все наперекосяк пойдет. Мне его отдать некому. Пусть у тебя будет.

Гера протянул руку, без спора взял ключ. Еще раз встретился взглядом со стариком. Медленно кивнул, словно поклонился. И ушел, на ходу засунув ключ в нагрудный карман. Старик перекрестил его удаляющуюся спину, подхватил ведро с водой и поспешил в дом. Времени было очень мало.

В доме он недолго постоял над лежащей женой. Взял старую алюминиевую кружку и зачерпнул воды из ведра. Внезапно передумал и выплеснул воду в запечный угол. Подошел к буфету, взял оттуда старинный, хорошо сохранившийся изящный бокал из хрусталя — жена всегда любила пить из него по «особым случаям». Зачерпнул воды и подошел к жене. Приподнял ее голову и поднес бокал к рас- трескавшимся губам.

— Ну Галю, ну что, как маленькая?! Надо пить. Как же не пить? Надо, родненькая, — приговаривал старик дрожащим голосом. — Ну вот, умница какая. Полежи теперь, полежи! Скоро все наладится.

Потом дед Мирон, плотно зажмурившись, сидел на табурете у кровати, слушая странные, страшные, невозможные звуки...

Наконец все стихло. Старик осторожно открыл глаза. Посидел еще немного, словно не веря увиденному. Мысленно собрался. Встал. Бережно обтер полотенцем посиневшее от удушья лицо жены. Наклонился и осторожно, словно святыню, поцеловал начинающий холодеть лоб. Резко выпрямился и вышел из дома.

Во дворе он подошел к колодцу и погладил загрубевшей от работы и времени рукой теплые бревна сруба, словно прося прощения.



Потом метался по подворью. Сыпал в колодец землю и перегной, бросал старые банки из-под краски. Туда же отправилось содержимое компостной ямы и две мертвые вороны, найденные стариком у забора.

— Чтоб никто... Только чтоб никто, — бормотал старик, бросая в колодец все новую и новую дрянь.

Колодец отвечал обиженным бульканьем. Наконец дед Мирон решил, что достаточно, и остановился.

Когда во дворе появился Кашей, хозяин как раз заканчивал приколачивать колодезную крышку к срубку костыльными гвоздями. Он услышал приближающиеся шаги за спиной, но не обернулся, а продолжал делать свое дело.

— Ну, старый, что скажешь? — спросили сзади.

— Скажу, что дезинфекция твоя — дерьмо! — ответил дед Мирон, увлеченно стуча молотком. — Старуха моя из-за нее померла, выходит. За спиной помолчали.

— Я тебя предупреждал, гнида? — наконец проскрипел Кашей.

Старик сильным ударом утопил в дерево шляпку последнего гвоздя и бросил молоток на крышку убитого им колодца.

— Предупреждал, — ответил дед Мирон не оборачиваясь. — Да только мне что? И ты и твои хлопцы — меньше, чем пустое место. Ни жить вы по чести не умели, ни воевать по чести у вас не получается. Продажные. Пустые. Бесы вас изнутри выжрали. Одни оболочки остались. И Бог с ним, догнали бы потихоньку да рассыпались, как все никчемное. Ан нет. Вам за собой как можно больше народу утянуть надо, весь мир желательно. Умом понимаете, что нет за вами ни правды, ни веры, ни справедливости. Что «свобода» для всех — лишь для вашей корысти нужна. И что быть свободным от вашей «свободы» вы никому позволить не можете. Так-то — умом понимаете. А бес, который у каждого из вас вместо души теперь числится, он грызет, скребет, тиранит. Злобит и скотинит. Потому что голодный он. Тебя, например, сожрал, и теперь вроде как тарелку вылизывает. Ну, это недолго продлится...

Старик замолчал и подумал, что, может, все-таки когда-нибудь одумается сын. Вернется в разоренное родовое гнездо, возьмет хозяйство в свои руки, колодец воскресит. Война закончится. И поменяется все. И люди совсем другие будут. Хотя вряд ли Петька вернется. Скорее — дочь Олеська про родителей и дом родной вспомнит. Сама баба, конечно, не управится, но мужик у нее вроде рукастый и домовитый. Может, он на себя ношу взвалит? Не так уж и сложно. Всего и делов-то...

Две короткие автоматные очереди никого в поселке не взволновали и не встревожили. Взрывы, выстрелы, рев моторов — симфония войны, которая сперва вызывает ужас и отвращение, но постепенно становится обыденной и привычной.

Удивительно, что такая музыка всегда находит слушателей.

Анатолий КОБЕРНИЧЕНКО

ЗЕРКАЛО

Р а с с к а з

В то утро после планерки в прорабской оставалось душно. Начальник участка Семен Гай тяжелой глыбой восседал за еще советским столом — таким же моренным временем, как и он сам. Семен Иванович что-то читал, хмурился и косился: то на сотовый, который наконец-то устал, то на чашку кофе с корицей, то на радио, откуда тихо звучало «Болеро» Равеля.

Две флейты, кларнет, фагот, другие деревянные духовые друг за другом исполнили свои партии и уступили место медным инструментам. Прозвучала труба с сурдиной. Теперь под прежний, тревожный бой малого барабана поочередно солировали саксофоны: тенор, сопранино, сопрано. Еще вчера предчувствие чего-то тяжелого постучало, поскреблось в закрытое сердце бывшего трассовика, но отступило. И вот возникло снова. Вместе с мелодией оно протиснулось в душу руководителя и подобралось к аорте. Гай шумно вздохнул.

Перед ним у входной двери перетаптывался на вытертом коврике машинист трубоукладчика — приземистый и грузный Михалыч. Его бушлат лоснился, пахивал горелым моторным маслом и чем-то кислым. Виновато опустив лысую голову и нервно теребя пухлыми пальцами сильно поношенную шапку, он подбирал слова.

— Ну? — не поднимая глаз, твердо спросил Гай и подумал, что неспроста эта тревога, точно рванет где-то, знать бы где.

Михалыч всю жизнь робел перед начальством, но тут рубанул:

— Да я сорок лет на газопроводе! С Ямбурга! — Его нижняя губа вздрогнула, он заморгал, отвел взгляд. — Седьмой десяток разменял. Нет, Иваныч, кирдык! Ищи молодежь!

— Нашел уже! Нашел! Лучшего представителя современной молодежи — Ваньку Найденова! — Начальник участка ухмыльнулся. — Три года как с армии — ни рыба ни мясо.

Вздрогнул телефон. Гай сбросил.

— Я ему, как человеку, десятку к зарплате за чистку швов. Ну, ты понимаешь. Не берет! А мне или ставку лишнюю в табель, или сварных отвлекать. Ну? А им за смену двенадцать стыков выдай. Как? И не женится ведь. Поумнел бы.

— Поумнеет, ага! Это еще как с женой повезет. А то и на трассу обратно не пустит.

«Болеро» зрело и звучало чуть громче. Но темп и ритм мелодии не менялись. Это мешало Михалычу найти весомый аргумент. Он видел график производства работ на стене и думал, что стройка этого тяжелого участка «Северного потока» скоро придет к финишу, а с ней и его трудовой марафон.

Гай выдержал паузу, прислушиваясь к музыке, и продолжил хрипловатым баритоном, но уже мягче:

— Пойди навстречу, Михалыч! Доработай год. Найдешь себе замену из молодых, поднатаскаешь, тогда и проводим. С почетом!

— С почетом? Угу. Как бы не в последний путь.

— Сплюнь! — Гай схватил карандаш, попробовал его сломать, опомнился, бросил на стол. — Вон Ясакину за семьдесят — работает. Лучший бульдозерист! А Трофимову? Под восемьдесят! А какой экскаваторщик!

Михалыч переложил шапку из левой руки в правую, почесал затылок.

— Хм. Так это же старая гвардия, те еще спецы! Кто же таких увольняет?

— О! А я про что, Михалыч? И ты гвардия! Ты же понимаешь!

— Устал я. Вся жизнь получилась для работы, а жить-то когда, Иваныч? Когда?

Гай молчал. Теперь звучала валторна. Она стонала в желании вырваться из общего музыкального строя, но неизменный ритм, задаваемый малым барабаном, обуздывал ее. Михалыч, невольно увлекаемый мелодией, тоже простонал:

— Ладно дети. Трое без отца выросли. Надеюсь, все мои. Но и внуков не вижу по полгода. А ноги! Боля-а-ат. Артрит. Ага. Да и этот, как его? Стенокардит!

— Не молодеем. Может, стенокардия? — В голос и глаза Гая просочилось сочувствие.

— Ну, типа того. Ага-ага! Врачи говорят, не мерзнуть, в перчатках ходить. Во! А я их сроду не носил. Холод, говорят, сосуд перекроет — и кирдык мотору! Ну?

Про геморрой Михалыч постеснялся сказать. А он донимал его сильнее других болячек именно за рычагами, особенно при укладке в глубокую траншею многотонной трубы непрерывной ниткой. Тогда эту махину держали шесть, а то и восемь трубоукладчиков. Поэтому от машинистов требовались не только филигранная точность в индивидуальных действиях, но и отличная слаженность.

Гай тяжело встал из-за стола, торжественно подошел к старику, приобнял за плечи и тепло посмотрел в глаза. Он давно видел, что Михалыч сдает, видел, но понимал, что без него в производстве много чего придется менять.

— Мы же с тобой, поди, лет тридцать вместе строим, а, старина?

— Какой тридцать? Тридцать три! — смешался машинист.

Старик уже изнемогал от повторений неизменной темы «Болеро». Он вспомнил далекую солдатскую юность в ТуркВО: такой же бесконечный,

как эта мелодия, пеший переход в полной боевой выкладке под назойливо злым солнцем. Марево зноя, как от мартена; песок на зубах, в носу, волосах; язык, присохший к небу; белые от соли разводы на хэбэ; ступни ног, разваренные в горячем рассоле свинцовых сапог; унылое бряцание амуниции; боль в плечах, пояснице и бедрах. Ему захотелось поскорее на воздух.

— Если только до осени, как Бог даст, — прошептал он и вытер шапкой пот с лысины.

Гай выдохнул, дружески похлопал старика по плечу и заскрипел полами обратно к столу.

— Так, давай с Липатовым на крановый узел тридцать восьмого пикета. Сварные начнут, а ты перевези водоотливную и откачай воду из котлована. И смотри, не свались.

— Обижает, Иваныч. Я по этой лежневке с осени...

— Слышь, что говорю? — рявкнул Гай. — Лежневка уже не та! И под водой ее не видно — ухнешь, не достанут.

— Усек, усек, — засопел машинист и поспешно, широко шагнул за дверь.

Гай довольно сощурился, но тотчас насутился от тягучего ощущения неловкости перед Михалычем. «Как будто дите на войну отправил. Ладно. Ерунда, день такой», — подумал он, хлебнул холодный, кислый кофе, встряхнулся от натужных звуков тромбона и резко крутнул ручку постылого радио.

А старик, радостно кряхтя, поднялся в холодный салон вахтовки, где уже скучала бригада сварщиков. Слегка пахло соляжкой и духами.

«Скажет тоже, гвардия!» — вспомнил Михалыч и улыбнулся.

— Ну что, — выдохнул он и уселся на свое обычное место, — едем?

— Ваньки нет. Раздолбай. Вечный тормоз, — важно бросил Николай Липатов, уже седой, но еще крепкий бригадир — для всех дядя Коля.

— Зато как назад в вахтовку, так первый, — пискнула Иринка, единственная на участке женщина-сварщик.

— Ну хоть в чем-то он должен быть первым? — попробовал пошутить Шишков.

На шестом десятке, при росте сто шестьдесят и четырех пудах веса, если считать бушлат с сапогами и пенал с электродами, Шишков мог проникнуть в самые недоступные места и качественно сварить. Даже очень глубоко, внутри трубы-семисотки. За это и веселый нрав его с молодости прозвали Шишком.

— Где его носит? — Липатов заерзал, зыркнул на Шишка. — Наберите ему!

Звонить не пришлось. Ванька Найденов, машинист передвижной сварочной установки, скрипнул стальной лестницей, впорхнул в салон, грохнул дверью и плюхнулся на сиденье напротив Иринки. Черную щетину, заспанные карие глаза лохматого, рослого, худого парня дополняли замусоленный бушлат и засохшая грязь сапог. Он вытянул ноги в проход, протяжно зевнул, обнажив ровные зубы. Не спеша достал из кармана





трикотажную шапочку, надел, отвернул края на глаза, скрестил руки на груди, снова громко зевнул и замер.

— Ну и котяра! — затянул Шишок. — Небось, всю ночь на хуторе байки травил? Теперь точно Танюха борщ пересолит!

Все засмеялись. Липатов лишь глазами. Уголки губ Ваньки многозначительно зазмеились.

Стройная, еще не полная, но уже аппетитная фигура и ямочки на щеках Татьяны — второго повара столовой — не давали покоя многим мужчинам. Несколько холостячек проживали, как и все, в вагончиках. Но их жилище стояло особняком — в конце строительного городка, поэтому и называлось хутором.

Летом хуторок утопал в цветах. Зимой к нему расчищали двухсотметровую дорожку. Иван «хуторил» с Татьяной с прошлой весны. Но месяц назад она по глупости купила ему две байковые рубашки и пять маек. Найденов все взял. Поблагодарил, краснея. А через неделю явился, смущенный, с золотым кулоном в синем бархатном футляре. Вручил — и пропал. Даже на обед перестал ходить. Без объяснений.

— Че сразу на хуторе? Может, я... — он задумался, — японский всю ночь учил!

— Опа! Да ты и русского-то толком не знаешь, — веселился Шишок. — Ну, скажи че по-японски, ну?

— Все равно не поймете.

— Так вона че? Вона че Татьяна по утрам такая довольная! Теперь ясно. Ну, конечно, от твоих хокку-кокку! От чего же еще? Поэзия!

Иринка прыснула смешком.

— Да, Ваня, поэзия затягивает. Тем паче японская. Вона че! А я смотрю, не пойму, че ты в последнее время какой-то не такой. Японец вылитый, особенно с утра!

— Иван, когда перестанешь опаздывать? В бригаде один ты такой рас... — Липатов зыркнул на Иринку. — ...разгильдяй, расхлябанный весь. Не собран, не брит, помят. Ты же дизелист! Посмотри на всех. Ладно мужики. Вон, Иринка! Вечером уроки с Валюшкой выучила, утром в школу собрала и не опоздала. Макияж!

— Понятно, — равнодушно ответил Ванька, пытаясь зацепить зубами заусенец на мизинце. — Ей же замуж надо.

— Вот дурак! — закусила губу Ирина, согнулась, как от удара в живот, и отвернулась к окну, с трудом сдерживая слезы.

Ирина пришла на участок три год назад, когда строили еще в Пермском крае, да не одна, а с дочуркой четырех лет — Валюшкой. Мужа за год до этого доконали наркотики. От желчной свекрови она сразу ушла. Зажила спокойно, но бедно. Очень.

...В тот день Ирина, смущенно улыбаясь, бережно положила на стол начальника участка кровные корочки сварщика. Она робко просила любую работу и с мольбой искала сочувствия на суровом лице Гая. Маленькая, невзрачная, глазом не за что зацепиться. Короткостриженная, в своих старых джинсах и свитере, в любой проекции — пацан пацаном. Над бровью шрамы от пирсинга. Улыбка не голливудская — один резец

залез на другой. «На такую не позарятся», — подумал Гай, не терпевший блуда, и принял ее уборщицей.

Молодой вдове с ребенком сопереживали, а потому первому в ее взрослой жизни личному жилью, вагончику-люкс с душем, не завидовали. Звали все ее Иринкой. Для Ирины у нее не хватало ни тела, ни характера. Когда в Сочи утонул сварщик, варивший корень шва, бригада Липатова едва не развалилась. Иринка упростила бригадира дать ей шанс. Он согласился, хотя и не сразу. Под свою ответственность, тайком от Гая, брал ее на трассу и там терпеливо учил тонкостям сварки трубы. И у нее получилось. Шишкова, как более опытного универсала, поставили варить корень шва, а Ирину вместо него — на заполнение. Скоро и аттестовали.

Валюшку в веснушках полюбил весь коллектив. В ней трассовики обрели ту маленькую частичку большого, теплого солнышка, которое оставили дома, — детей, внуков, а кто и правнуков. Ведь строители без вахты жили на участке с Рождества до апрельской распутицы и с июня до Нового года. Поэтому девочку с удовольствием возили в школу и проворные узики, и вальжные «Уралы» — на радость ей, на зависть детворе.

В салоне все притихли. Иван понял, что ляпнул. Он хотел спрятать глаза, вздремнуть. Но дрема исчезла, а чувство вины осталось. И вдруг снова, как в детстве, на сердце не спеша зашевелились стылые, шершавые щупальца кошмарной тоски. Тогда первые признаки тревоги вызывали сперва легкий, царапающий спазм в солнечном сплетении ребенка. Если Ваня отдавался этому и не мог отвлечься на что-то другое — тревожное состояние росло. Оно медленно, по миллиметру, вытесняло радость из детского сердечка, заполняло леденящим страхом все нутро несчастного мальчика и, наконец, с беспощадной силой обрушивало на него лавину осознания покинутости, безысходности и ужаса. Спазм рос, замораживая все в детской груди, как холодная бородавчатая жаба, и раздражая мочевой пузырь.

Иван родителей не помнил, сколько ни напрягал память. Какие они? Зачем он оказался в детдоме? За что? Первое воспоминание детства — светлая комната, в которой на белых горшках сидят рядом с ним такие же, как он, горошины. Потом жизнь в интернате. Его постоянные ссоры с ребятами, дерзости воспитателям. Часто стоял в углу. Он всегда считал себя чужим в детдоме, попавшим сюда по ошибке и временно. Почему временно? Да потому, что чувствовал — папа и мама живы. Их не лишали родительских прав, они не погибли, как у других. Значит, родители есть! Просто о них временно ничего не известно. Да! Да! Только временно! И поэтому он здесь случайно, и за ним скоро придут.

Этим Ванька гордился, осознавал себя над всеми и бунтовал. Но торчащий гвоздь забивают первым: дети мстили. От мелких пакостей, щипков, до темной, как в третьем классе, когда больно мутузили, накрыв одеялом. Он уже и не помнил за что. После этого случая Иван замкнулся и фрондировал молча. В доверие к себе никого не впускал. Друзей находил в книгах. Семейным парам Ваню представляли как умного, много читающего мальчика. Но и с потенциальными приемными



родителями он вел себя холодно, даже враждебно. И понятно почему. Если папа с мамой и так есть, то зачем ему другие? Иван спрашивал о них и перед выпуском. Ответ был, как и всегда: данные отсутствуют, а его, двухлетнего, нашли на автобусной станции в Таганроге. Иван не ведал ни дома, ни семьи, ни родной души. И колючий иней на сердце избитого юноши не таял даже в июне.

После девяти классов интерната — автотранспортный колледж с комнатой в старой общаге, потом армия в красивой сибирской глуши. Лучший водитель роты, Найденов, замкнувшись в себе, мог не разговаривать со старшим машины в течение многих часов опасного рейса в тайге. Но если парня задевали, то поток лишних слов бурлил долго. Ротный, провожая Ивана в запас, подарил ему гарантию трудоустройства — номер телефона своего брата, прораба на стройке газопровода в Пермском крае.

Иван всегда пытался вспомнить родителей или хоть что-нибудь из доинтернатовского детства. Нудными ночами он метался в колючей постели, не смыкая дрожащих ресниц, тягучими часами напрягал все свои психические силы до адских головных болей, до пресного пота. И вот однажды в холодной темноте его сознания вспыхнул огонек, но тотчас погас. Ваня содрогнулся, с трудом собрал в один узел все механизмы своей воли, напряжился — и светлячок появился снова: яркий, теплый!

Эту удивительную ночь Иван не забыл. Он сильнее и сильнее, на пределе человеческих возможностей напрягал сознание. И вот из мрака неизвестности стали медленно расти свет и тепло, постепенно заполняя его сердце. Ваня почувствовал, что еще чуть-чуть, еще немного, и он увидит что-то грандиозное, ошеломляющее, может, такое, что снимет с его затуманенного рассудка тяжелое покрывало тоски и откроет портал в новую, счастливую жизнь.

Но вдруг он струсил: а что, если родители окажутся наркоманами или уголовниками, как у других? Тогда этого лучше и не знать!

Позже, все-таки превозмогая страх неизвестности, Иван опять возвращался к воспоминаниям. И вот как-то раз маленький, блеклый моргасик¹ снова возник. С каждым вздохом юноши огонек светил ярче и теплее. В сознании, где-то пока еще очень глубоко-глубоко, зародилось и росло приятное тепло. Еще одно усилие, еще! От чудовищного напряжения распирало глаза, в немеющих висках тарабанил пульс. Боль разламывала голову, сердце летело в разнос, мокрые от пота пальцы судорожно сгребали простыню. Иван все натужней и натужней будоражил память. И что это? Яркий источник тепла начал, наконец, обретать формы. Сначала расплывчатые, потом, с каждым новым сильным ударом молодого одинокого сердца, более четкие, яркие. Еще чуть-чуть, еще усилие, и все станет, наконец-то, понятным! И он прозреет!

И вот — он увидел! Да, наконец-то все прояснилось!

Но что это? Как? Неужели вот это стоило таких титанических, на грани сумасшествия, усилий? Разве он ожидал этого? Такого? Это

¹ *Моргасик (моргалик, мигалка) — слабый источник света, коптилка. — Здесь и далее примеч. авт.*



оказалось не то, совсем, совершенно не то! К своему отчаянию, Иван так и не увидел родителей, как ни надеялся. По какой-то причине на него из глубины сознания смотрели лишь... два блинчика на белой тарелке с розовой каймой. Два налистника² с начинкой, подрумяненных и маслянистых. Почему-то Ваня знал точно — внутри теплых блинчиков сладкий творог с легким запахом ванили. А если их скушать — на дне тарелки он увидит озорного зайчика! С барабаном! И вдруг неожиданно, откуда-то издалека, Иван услышал голос, похожий на мажорный звон весеннего ручейка, весело журчащего по камушкам, — женский, нежный и живой: «Кушай, Ваня, сам, сам!»

В детдоме блины подавали свернутыми вчетверо и без начинки. Чаше их посыпали сахаром, реже мазали повидлом. Блинов с творогом Иван не знал. Но откуда тогда он помнил зайчика и вкус начинки? Конечно, из детства! Это были мамины блинчики! Мамины!

После этого видения он как заново родился. У него появилась тайна, которую он никогда никому не открывал. Ваня обрел драгоценность и очень боялся ее утратить. Позже он часто заходил в разные кафе. Заказывал блинчики с творогом в ожидании испытать то же детское призрачное чувство тепла, нежности и счастья, но уже наяву. В его глазах загорался огонь надежды. Ему приносили. Но с первого взгляда Иван понимал, что это не они. Не те! Не из детства! Не мамины! Холодные, бледные, мертвые. Ему заранее становилось невкусно. Он съедал половину, вставал и быстро уходил. На сердце было пусто, огонь в глазах гас...

— Я, дядя Коля, не в бригаде, я сам по себе, — очнулся Иван.

Ему, разумеется, хотелось в бригаду, очень. Сплоченный трассой и слаженный производством коллектив манил его. Иван завидовал их многолетней дружбе, взаимовыручке и восхищался теплом, с которым они приняли Иринку. Пленяла парня и эмблема бригады Липатова — сварочная дуга на фоне земного шара. Он тоже мог ее заработать. Но гордость мешала Ивану смириться.

— Хотя без моей сварочной установки вы все ничего не сварите, — вслух сам перед собой оправдывался дизелист, — один раз я прозевай, поплывут частоты, и начнется у вас брак. Так, дядь Коля?

Иван вызывающе посмотрел на бригадира.

— Так, — спокойно ответил Липатов, глядя парню прямо в переносицу.

— А брака не было давно. Я за станцией смотрю. И фильтры вовремя меняю, и масло. Форсунки, вон, выпросил. Новые! Так?

— Молодец. Но это вообще-то твоя работа. Ты за нее деньги получаешь!

— Ну да, только какие у вас зарплаты — и у меня? — Иван отвел глаза. — А что, неправда? Так в какой же я бригаде? Нашли себе лоха.

— Найденов, тебе Гай давно говорит, бери молоток, болгарку, зачищай швы, — влез Шишок.

— Брал, чистил. И все равно меньше всех получал.

² *Налистники* — тонкие блинчики, приготовленные из жидкого пресного яичного теста. Подаются чаще с творожной, мясной или другой начинкой.

— Меньше всех! Ты себя со сварщиками не равняй. Мы на трассе по двадцать лет.

— Ну, не все, — намекнул Иван.

— Совесть имей, отвечай за себя, — повысил голос Липатов, — сначала дело покажи. С твоей помощью мы бы варили за смену больше. Зарплата бы выросла. У всех. Только ведь ты же сядешь в трактор, дебилники в уши и на массу. Дрыхнуть! А мы — на мороз, в железную палатку сваркой дышать. Нам, замороженным, ладно. А Ирине мерзнуть? Ей же детей еще рожать. Да и...

— Ну и нехай рожают, сколько хочется, я тут причем? — перебил бригадира Иван.

Вахтовый КамАЗ, подпрыгивая на бревнах лежневки, медленно подъезжал к тридцать восьмому пикету, который позже нарекут роковым. Вездеход остановился. Дверь в салон открылась.

— Выходи, ребята, дальше не поеду, — скомандовал водитель.

— А че так? — крикнул Шишок.

— Не вижу лежневку. Залило и коркой льда покрыло. Боюсь. Болото-то бездонное. Да вам тут по воде-то метров двадцать! А там посуху еще минуты три до места.

Все вышли из машины. Дальше предстояло идти по воде, крытой кое-где тонкой коркой льда. Иван взглянул на Иринку. Маленькая, в мешковатом зимнем костюме, со сварочной маской в руке, украшенной ромашкой и божьими коровками. Она не решалась шагнуть и стояла у воды в совершенном замешательстве, широко, по-детски распахнув удивленные глаза. Уровень воды всего на четверть метра покрывал бревна, но этого хватало, чтобы залить голенища ее фетровых сапожек.

Вдруг Иван шагнул к Иринке, не глядя ей в глаза, присел, обнял левой рукой пониже поясницы, правой — придержал ее спину, словно у ребенка, поднялся и первым ступил на ледок. Ему нравилось крушить хрупкий молодой хрусталь. Парню казалось, что, шагая, он хрустит тонкими вафельными коржами огромного торта. Иван не чувствовал худенького женского тела под толстым комбинезоном. Он боялся, что Иринка как-то незаметно выскользнет из него в воду и поэтому сильнее прижимал ее к себе. А она, располагаясь наверху, как дочка у папы, боялась выронить в воду маску и совершенно не знала, куда деть смущенные глаза и свободную руку, которая упрямо норовила упасть Ивану на шею. Липатов, Шишков и Михалыч от этого улыбались и перемигивались.

Через тридцать Ивановых шагов ее мучения закончились. Иринка так же внезапно оказалась на земле. Не сказав ни слова, смущенно склонив голову, неуклюжая в своей одежде, она побежала к передвижной сварочной установке, но скоро запыхалась, пошла.

Мужики, пользуясь тем, что Ирины нет, задержались перекурить, а кто и «коня привязать». Помогли водителю вахтовки развернуться на узкой дороге для движения назад.

— Подожди, Ваня, вместе пойдем, — кликнул Михалыч, догоняя его и тяжело дыша. — Красота-то какая! Во где жизнь!

Иван не ответил, но дождался старика.

— Я вот Новый год у сына встречал. Ага, в Новой Москве. Знаешь, хорошая квартира, аптек полно, магазинов! Но все вокруг какое-то мертвое. Промзона. А здесь...

Лежневку проложили вдоль строящейся нитки газопровода, по приболотицам, а где и через болото. Михалыч блаженно улыбался, наслаждаясь чистым таежным воздухом с тонким ароматом коры и набухших почек.

Где-то вдали невидимая большая птица разбудила эхо. Совсем рядом, в зеленой еловой бахrome, в птичьем хоре весело, совсем по-весеннему солировала синичка. В ярко-желтом сюртучке, в черной шапочке, с воротничком и длинным галстучком такого же цвета, она суетливо потряхивала серыми крылышками, подпрыгивала, подставляя под лучи солнца то левый, то правый бочок.

Перед строителями от края до края горизонта раскинулось болотное море с полчищем кочек сухой осоки, посеребренной инеем. Кое-где, словно изможденные каторжане,гнулись, кривились сосны на редких небольших боринах³. Когда облака заслоняли солнце, небо серело, и суровая топь становилась словно мертвой — матовой и мрачной. Птицы затихали. Но стоило солнышку выглянуть, как все оживало! Дружные птичьи голоса звучали еще громче, еще веселей. Болотная гладь наполнялась синевой неба. Иней на деревьях, траве вспыхивал, искрился радужными блестками, словно салютуя весне. Чуть дальше виднелся лес, еще в тонком белом кружеве утренней седины, но уже нежно тронутый зеленовато-шафрановой дымкой.

Впереди, вдали, на небольшой возвышенности отдыхал тяжелый исполин-трубоукладчик. К нему, как слоненок к слону, прижалась сварочная установка Ивана — маленький двенадцатитонный трактор с краном-манипулятором спереди и дизельной станцией сзади.

Где-то посреди воды пролежала лежневая дорога. Справа от нее под толщей трясины лежала новая труба. Тяжелые бетонные пригрузки не давали ей всплыть. Еще осенью с первыми ночными морозами легкие бульдозеры на широких болотных гусеницах осторожно начинали движение по бревнам, насланным на топь поперек хода техники в несколько накатов. Вода болота выступала на поверхность, замерзала, намораживая и упрочняя таким образом лежневку. Ежедневное намораживание давало прочный монолитный настил на болоте. Такой мог выдержать колонну из нескольких пятидесятитонных трубоукладчиков с тяжелой трубой на крюке. Но в марте дневные положительные температуры по-весеннему стремительно увеличивали опасность разрушения лежневой дороги. Вода могла отрезать незавершенный объект, сорвать сдачу всей стройки. Оттого Гай и спешил сделать ремонт крановому узлу, поскорей опрессовать его и убрать технику с пикета на базу.

— Не спеши, не торопись, сперва Богу помолись.

Иван недовольно оглянулся.

³ Борина — песчаный холм-остров посреди болота, покрытый сосновым лесом.



— Послушай меня, Ваня, — вкрадчиво продолжил Михалыч. — Чего ты такой колючий? Ерш какой-то — ни проглотить, ни погладить!

Парень шел молча, не вынимая рук из карманов бушлата, глядя себе под ноги.

— И в армии служил, а вечно поперек коллектива.

Старик засунул руку в карман, но не нашел пузырек с нитроглицерином. Не дождавшись ответа, заговорил резче:

— Вот ты мне, старику, скажи — может, я не понимаю чего? Вот чего вам, молодым, здоровым, не хватает? Сыты, одеты, зарплата. Телефоны — вон какие. А душою нищие.

— Михалыч, чего тебе надо? Скажи прямо, только не заводи свой патефон. И без тебя, — он взглянул старику в глаза, — настроения нет.

— Прямо? Ладно, давай прямо. Гай понять не может, стоит на тебя полагаться, надежный ты человек для нашего дела или нет?

— Какого дела?

— Ну, можно с тобой в разведку или нет?

— То есть? — Иван непонимающе посмотрел Михалычу в лицо.

— Понимаешь, Гай давно сколотил команду спецов, профессионалов. Надежные ребята, проверенные. С ними и кочует по всей стране. А сколько с ними построено! А скольких он в люди вывел! Молодые, помню, были баламутные, не знали ничего. А теперь? Вон бригадиры какие толковые, прорабы! У-у-у, матерые, да. А механики? Его ученики! Он людей насквозь видит, как рентген. А вот тебя он — никак.

— Я че, рыжий? Или рябой? — ухмыльнулся парень.

— Как тебе сказать... После армии? Да. Технику любишь? Да. Но, не обижайся, какой-то ты мутный. Не знаешь, чего от тебя ждать.

— Хорош, Якубович, мы не в «Поле чудес»!

— Ага! Давай тогда не так. Вот скажи, бывает парень молодой, а с признаками солидного, надежного человека. Так?

— Ну так.

— Так. А бывает и наоборот. Ему за пятьдесят, а он все козликом скачет: по конторам, по тракторам, по бабам. Все чего-то ищет. Ага! Думает, лучше найдет. Вот, не хвалюсь — пятнадцать лет на одном трубаче, как с новья получил. И тридцать три года с Гаем в одной упряжке. Трое детей у меня. От одной жены, на всякий случай. Все мои!

— И что?

— Что-что. А то! — Михалыч прокашлялся в кулак, в его груди что-то забулькало, запело и перестало, — тебе солидность надо принимать. Остепеняться. И куда-то уже притулиться. Двадцать три года — это уже ого! Мужик!

— Михалыч, да я себя пока не нашел.

— Во! И я про то. Правильно! Нет у тебя мужского стержня. Нету!

— Да хватит! — Иван махнул рукой, как будто комара отгонял.

— Если есть, то скажи, скажи, — старик снова прокашлялся, — вот ты для кого живешь?

Иван перешагнул лужу. Михалыч не заметил ее, вымазал сапоги грязью.

— Кому ты добро сделал? Люди — что, просто так живут? Люди ведь друг для друга созданы, Ваня! Ага! А ты? А ты для кого живешь?

Найденов хотел ускориться, чтобы отвязаться от назойливого старика, пока тот скользил сапогами по сухой траве, пытаясь очистить их от грязи, но пожалел его, подождал. Михалыч прокашлялся, крикнул и продолжил:

— Вот скажи, какого ты сироту накормил? Кого в больнице проведаль? А? Какую ты девушку из бедности вытащил? Молчишь? То-то! Не для кого тебе жить! Один ты!

— Я же детдомовский, — обиженно возразил Иван.

— А при чем тут детдом? После войны, по статистике, парень, знаешь, сколько детдомовских было — ух! И не ныли, и в люди вышли. Ага! Тебе, Ваня, семью надо строить! А то и будешь так всю жизнь хуторить, пока совсем не изхуторишься.

— Да ну. Рано мне еще. Жилья нету, — ухмыльнулся Иван.

— Родной, ты уже три года на трубе трешься. Денег палата, да ума маловато? Мог бы уже и ипотеку взять. Да и главное-то не жилье, Ваня. Главное — любовь. Тока не такая собачья, как в ваших фильмах, а такая, которая бы душу согревала, всю жизнь, даже в старости.

Терпение Ивана трещало. Михалыч входил в раж.

— Хорошо. Давай по-другому. Вот ты мне скажи, в каких трех состояниях может находиться человек по жизни?

Иван посмотрел на Михалыча, словно тот заговорил с ним португальски:

— В трех агрегатных, что ли?

— При чем здесь агрегаты? Не знаешь? А я тебе отвечу! В состоянии брака — раз, монашества — два, блуда — три. О! — Старик поднял указательный палец перед своим лицом. — Человек должен себя кому-то посвятить! Обязательно! Или семье, воспитанию детей, внуков или служению Богу.

Иван внимательно смотрел в добрые глаза Михалыча, с папилломами на красных веках. Он чувствовал от старика какое-то совершенно непонятное, но приятное тепло.

— А то сам понимаешь, кому служить придется. Не так?

— Да я что, против? Только хочется же раз и на всю жизнь. Найди ее, жену! Они все вон курят и выражаются так, что уши вянут... Им сразу квартиру, машину, шубу, то, се. А! — Парень снова отмахнулся.

— Ну как же! Вам же подавай жену какую? — дожимал старик. — Модель пластмассовую, как с телевизора, чтоб все при ней. А главное-то не тело, состарилось и надоело, а душа, пока не отлетела. Душа, Ваня, не стареет! Я вот тоже был тонким да звонким.

Иван иронически посмотрел на тучного Михалыча.

— Да, стройным. А душу поменять? В худшую сторону враз, порой одним поступком, словом. А в лучшую — долго. Иногда для этого целая жизнь нужна. Поэтому жену, Ваня, по душе выбирают. Найдешь девушку с чистой душой и добрым сердцем, это как фундамент! Все! Строй семью, рожай детей!



— Ну, не знаю. Бывают же и бездушные. Нарвешься еще.

— Бездушные? — Михалыч задумался. — Душа есть у всех. Человек и без добрых дел, без жизненного стержня тоже с душой. Но она у него пустая! Порожня. Поэтому у людей тоска, уныние, отчаяние. Думаешь, почему пьют? Блудят?

— От скуки?

— От тоски! Только водкой тоску не зальешь, пустоту души не заполнишь, а жизнь себе исковеркаешь. Да и на всякий блуд Господь всегда найдет хороший кнут. А вот когда живешь для семьи — все на своих местах. И цель, и стимул в работе есть. — Михалыч выдыхался, но после паузы робко добавил: — Ведь бригадир-то, Ваня, прав, ну что тебе мешает швы болгарить?

— Ах, вон ты к чему все эти премудрости! Что мне мешает? Принцип!

— Какой такой принцип, Ваня?

— Михалыч, не грузи, я уже все всем сказал! Давно! И Липатову, и Гаю.

— Да ты смирись, Иван. Только начни, помоги бригаде. А там бугор за тебя замолвит. Накинут тебе деньжат.

— Не в деньгах дело.

— Это да. Деньги как навоз: сегодня нет, а завтра воз. А в чем же тогда?

— Не знаю.

— Может, в гордости твоей?

— Может! — с вызовом бросил Иван и посмотрел в глаза старику.

— А гордым, Ваня, Бог противится.

— Михалыч, вот как вы меня все за... заучили-замучили! Сам разберусь как-нибудь, без вас! — засопел Иван, махнул в сердцах рукой и, едва не задев плечом Ирину, полез в кабину своего трактора, подальше от правдивых слов.

Старик запыхался, вспотел. Он все же нашел в кармане пузырек с нитроглицерином, достал, вытряхнул на дрожащую ладонь таблетку и сунул под язык. Огляделся вокруг, нагнулся, сорвал несколько кровавых ягод перезимовавшей клюквы, пожевал, скривился, крикнул и пустил слезу, словно от рюмки забористого первача с ядреной луковицей.

Через четверть часа прогретые моторы трубоукладчика и сварочника фырчали. Михалыч возился недолго и скоро начал движение к лежневке.

Иван без суеты проверил уровень масла в двигателе станции, охлаждающую жидкость, пустил мотор. То же он проделал с ходовым дизелем трактора. Чуть постоял, проверяя подтеки масла и тосола, затем размотал сварочные кабели и вернулся к инструментальному ящику трактора. Вытащил болгарку, внимательно ее ощупал, осмотрел, взял молоток, но, ощутив на себе взгляд Липатова, сердито бросил все обратно. Потом дождался первой дуги, проверил герцы и полез к себе в кабину. Он пожалел, что надел сегодня, кроме бушлата, еще и теплые зимние штаны с ляжками, но отопитель салона выключать не стал. После детдома ему всегда не хватало тепла. Ползунки, как их все называли, выдерживали якутские морозы. Но пока их наденешь — сто раз

окажешься в жарком Сочи. А чтобы снять, все проклянешь, расстегивая бесконечные мелкие пуговицы.

Парень достал из ползунков и аккуратно вынул из чехла телефон. Он купил его недавно, поэтому берег и очень боялся разбить. Сеть периодически пропадала, отчего радио в наушниках похрипывало. Иван не стал мучить смартфон, зачехлил его и бережно положил обратно в карман. Настроение совсем испортилось, подступала тоска.

«Красота-то какая. Жизнь!» — вспомнил Иван слова Михалыча и огляделся.

«Да, ему красота, — думал он, — а по мне — болото и есть болото. А почему так? Одно и то же мы видим по-разному. Тот же лес, та же водная гладь. Михалычу нравится, а мне все равно. А Иринка? Ведь тоже кому-то нравилась, если замуж взяли. А может, у каждого человека есть внутри какое-то зеркало, которое одно и то же отражает по-разному? У одного — в правильном свете и чертах, а у другого — как в комнате смеха?

А у меня тогда какое зеркало? Кто мои друзья? Мобильник? А кого я люблю? Даже нет, не так, кого я в мыслях не осмеял, не осудил? Нет таких. Ведь мудрый Гай, вредный Шишок, нудный Михалыч, холодный Липатов — всегда в настроении. А им, наверное, тоже непросто тут без семьи. А я к ним вот так. Может, правда, жениться на Таньке? Авось и тоска оставит? Подумаешь, разведенная! Зато готовит как! В ее вагончике всегда уютно, а в постели жарко, и каждый раз что-то новое. Жениться? Но отчего тогда утром уходишь от нее каким-то выпотрошенным, с дырявой душой? И разговоры у нее все какие-то завистливые — о тряпках, побрякушках да о том, кто где отдыхал, с кем спит и, самое гадкое, почему».

От этих мыслей у Ивана заныла голова. Он открыл дверь кабины, спрыгнул на землю и залюбовался двумя серебристыми самолетиками, которые один за другим чертили на чистом полотне синего неба белые, прямые дорожки. Невдалеке рокотал трубоукладчик. Башмаки его гусениц шумно шлепали по воде. Это Михалыч, гордо восседая за рычагами трактора-исполина, осторожно двигался по лежневке. Старик походил на погонщика африканского слона. Сидел так же высоко, почти четыре метра над землей. И трубоукладчик так же вальяжно, как слон, нес на крюке девятиметровой стрелы водоотливную установку.

Все случилось очень быстро. Оглушительный, сокрушающий треск ошеломил Ивана. Тяжелый комок ужаса жахнул ему в грудь. Он тут же подумал, что это конец. Не веря в происходящее, парень смотрел, как огромный, тяжеленный трубоукладчик, круша остатки лежневки, с ревущим мотором двигался вперед и быстро уходил под воду. Толстые бревна вздымались почти вертикально. Они с шумом и плеском падали в топь, с грохотом на кабину трактора, в которую живо процеживалась бурая жижица, вытесняя оттуда жизнь. Двигатель исчез под водой, захлебнулся, оторвался большие, радужные пузыри, дернулся так, что содрогнулся весь трактор, и умер.

Тонны воды мгновенно заблокировали дверь тесной кабины, намертво заперев Михалыча. Старик с трудом шевелился в ней, уже



по грудь в ледяной гнилой жидкости. Вдруг трубоукладчик во что-то уперся, издал железный, гулкий скрежет, замедлил движение в нутро великого болота и замер. Он стал почти вертикально на нос. Грузовая стрела скрылась в трясине. Над водой осталась лишь задняя часть кабины, в стекло которой, разбивая кулаки в кровь, из последних сил бился еще живой старик.

У Ивана от ужаса перехватило дыхание, задрожали руки. В ногах появилась слабость, подступила тошнота. В заполняемой водой кабине трубоукладчика удары Михалыча становились все реже, тише и вскоре затихли.

— Михалыч! Михалыч! А-а-а-а! — во все горло заорал Ваня.

Шум двигателя станции заглушал крики Найденова, поэтому сварщики не слышали его и не видели катастрофы. Иван хватал смерзшиеся комья земли, бросал на кабину, надеясь разбить стекло. Но одни разваливались еще в воздухе, а другие, падая на стекло, не причиняли ему вреда. Парень завертелся волчком в поисках чего-нибудь потяжелее и наконец увидел под ногами камень размером в кулак, вмерзший в землю. Срывая в кровь ногти и кожу пальцев, он сумел его добыть. Бросил. Камень бахнул по стеклу, но, отлетев от него, не разбил, бултыхнулся в воду.

Иван отчетливо видел, что Михалыч еще жив и, находясь по уши в воде, медленно шевелит головой в попытке вдохнуть последний воздух. До полного затопления кабины оставалось пятнадцать-двадцать сантиметров.

— Миха-а-алыч! Боже, Боже, помоги! — от беспомощности и безнадёжности по-звериному завыл Ваня, падая на колени.

И вдруг, поймав какую-то мысль, он сначала на четвереньках, потом полуприсядью, спотыкаясь, рванул к своему трактору. Распахнул дверь станции, заглушил двигатель. Дернул дверцу ящика с инструментом, схватил увесистый молоток и кинулся к трясине. Плавать Найденов не умел. Совсем! Поэтому сначала хотел кинуть молоток в стекло, но рисковать не решился. Товарищу, еще живому, можно было помочь. Иван рванул на груди бушлат, оторвав часть пуговиц, отшвырнул его, сгоряча бросился в воду: не разуваясь и в безнадежно тяжелых штанах.

Тем временем у всех трех сварщиков потухла сварочная дуга.

— Найденов! — крикнул Липатов. — Станция заглохла!

Ответа не последовало. Липатов возмущенно взглянул на Шишкова.

— Иван, твою мать! Опять дебилы в ушах? Иринка, слетай, шугани его! — крикнул Шишок.

Ирина сняла маску, спустилась с лестницы и споро засемила к трактору. Она с трудом дотянулась до ручки двери. В лицо ударило тепло горячего мотора, но Ивана внутри не оказалось. В трех метрах в стороне, в грязи, валялся его бушлат. То, что увидела Ирина дальше, сбilo ее дыхание.

— И-и-и-и! Дядя Коля! Тонут, тонут! Мамоchка родная, все! Все! — Ирину трясло.

Сварщики бежали к ней. Они не раз видели, как тонет техника в болотах, но чаще машинисты успевали покинуть кабину и оставались живы. Липатов едва разглядел среди грязных обломков лежневки часть желтой кабины над водой и трикотажную шапочку Ивана. Бригадир сразу понял, что еще чуть-чуть, и топь заберет две жизни.

Иван, цепляясь правой рукой за бревна, по горло в ледяной зловонной воде, пробирался к Михалычу. В левой руке он судорожно сжимал молоток, который мешал ему. Вокруг парня всплывали большие обломки, угрожая убить. Поверхность топи украсилась радужно-грязными разводами масла и дизтоплива. Парень почти добрался до трубоукладчика. Но мокрая одежда смертельно спеленала его. Он почувствовал, что выбился из сил, и понял, что последние три метра до кабины ему не преодолеть.

Внезапно что-то больно ударило его под водой по голени, ногу словно зажевало в жерновах. Ваньку обдало жаром, тут же крутануло в воде и толкнуло к трактору. Он окунулся с головой, хлебнул жижи, поперхнулся, закашлялся, едва не выпустил молоток, но окончательно в воду не канул. Нога приобрела легкость, но разламывалась тупой болью, слегка заглушаемой анестезией ледяной топи.

В запотевшем, окровавленном заднем стекле кабины Иван увидел все еще живого машиниста трубоукладчика! Живого! Тот уже не кричал. Руки, как и все его тело, коченели под водой. Над границей между жизнью и смертью оставалось только лицо: страшное, с выпученными от ужаса предсмертной агонии кровавыми глазами, готовыми лопнуть.

Ивану оставалось совсем чуть-чуть. Ему требовалось подтянуться, лечь грудью на кабину, чтобы хорошо размахнуться и ударить молотком по стеклу. Одной рукой он уже уцепился за кабину трубоукладчика, в другой по-прежнему держал молоток. Тяжеленные, нагруженные водой штаны и единственный сапог тянули Ивана вниз, в мертвую трубу болота.

Хотелось отдышаться. Но каждая секунда могла стоить Михалычу жизни. Парень порывался опереться о что-нибудь под водой, пусть и одной ногой, но лишь беспомощно бил сапогом по бездне. Тогда он положил молоток на стекло, неимоверным усилием, на выдохе, с криком, из последних сил подтянулся двумя руками, оперся грудью на кабину и снова схватил инструмент. Теперь осталось ударить. Но куда бить? Куда, если перед ним вплотную к стеклу прилипло лицо старика.

— Глаза! Закрой глаза, Михалыч! — крикнул Иван. — Закрой!

Но тот уже не слышал, находясь в полубоморочном состоянии, с залитыми жижей ушами. Тогда Иван решил бить в угол стекла. Он ударил не очень сильно, боясь поранить погибающего. Стекло оказалось двойным, с пленкой посередине, поэтому покрылось сетью мелких трещин. Иван саданул сильнее. Он бил и бил без устали по периметру триплекса.

— Сейчас, сейчас, Михалыч! Держись, дыши! Слышишь? — сквозь слезы беспомощности выл Иван.

В это время Шишок, скинув на ходу сапоги, бушлат и ползунки, бросился на помощь.



— Кабеля, кабеля тащи! — кричал он. — Кидай, кидай сюда!

Уже образовалось отверстие в стекле. Иван просунул руку, потянул — тщетно! Он видел, что лицо машиниста вот-вот скроется под водой, и неистово заколотил куда попало. Скоро стекло выпало из рамки прямо на погибающего. Ваня бросил молоток и, обрезая пальцы, брызгая кровью, не с первого раза, но все же вытащил помятое стеклянное полотно. Старик что-то тихо мычал. Иван мгновенно схватил его под водой за лацканы бушлата и попытался вытянуть из кабины. Но не смог! Недвижимое тело даже в воде оказалось неподъемным. Он лишь освободил его голову от жижи. Михалыч несколько раз жадно хватанул холодного воздуха, захрипел и сразу заревел страшным голосом человека, узревшего ужас неожиданной смерти.

— Подожди, Ваня, вместе! — крикнул подоспевший Шишок. — Становись на бак, не бойся!

Иван, не выпуская старика, лишь беспомощно посмотрел на субтильного сварщика. Шишок сам с проворностью выдры влез на бак за кабиной, схватил утопающего под мышки и потянул. Парень не мог даже предположить, что сухонький Шишков обладает такой исполинской силой! Сварщик сам вытащил из кабины пострадавшего, который едва шевелил ногами.

— Тащим его, Ваня, от трубача. Живее! Как бы нас самих не утянуло!

Михалыча смогли утащить лишь на четыре метра от трубоукладчика и положить грудью на плавающее бревно.

— Так нам его не взять! Держитесь! — бросил Шишок и, барахтаясь в воде, опираясь на плавающие обрубки бревен, устремился к брошенному в воду кабелю.

Скоро Шишков обвязал пострадавшего под мышками и крикнул на берег бригадиру, чтобы потихоньку тянули. Сам придерживал старика спереди, не давая его голове биться о бревна и тонуть.

— Смотри, Иван, за его ногами! Чтобы не цеплялись!

Липатов с водителем вахтовки, прибежавшим на крики, медленно тянули старика к берегу. Рядом с ними суетилась Иринка, испуганно глазела на потуги человеческих тел в грязи, грызла кулачок. Она видела, что до сухого оставалось не больше пяти метров, но вдруг вскрикнула! Трубоукладчик, подчиняясь тайным подводным законам стихии, резко осел, и кабина, из которой только что извлекли машиниста, скрылась под водой.

— Живей, живей, пока нас не покромсало, — испуганно торопил Шишок.

Уже через три минуты с вконец окоченевшего Михалыча срывали и срезали мокрую одежду. Его положили на два сухих бушлата. Три пары грубых рук растерли его. Мужики, как смогли, укрыли старика и, хлюпая по воде, спешно, шумно дыша, понесли в КамАЗ. Спасенный задыхался, с трудом терпел раздражающую боль в груди, стрелявшую в левую, немеющую руку и лопатку.

А про Ивана все забыли, кроме Ирины. Она радостно, совсем по-детски размазывала слезы по чумазому от поплывшей косметики лицу

и смотрела, как он почему-то не шел от воды, а полз, отталкиваясь сапогом, неловко волооча босую ногу.

Лежа лицом вниз, Найденов чуть отдышался, перевернулся на спину. Опираясь на локти, сел. Ирина удивленно смотрела на его бледнеющее лицо, впавшие глаза и синеющие губы, надеясь, что это от холода. Парень с трудом стянул с себя мокрый свитер, футболку и окровавленными, корявыми пальцами ощупал карманы ползунков.

— Где м-м-мой телефон, не ви-видала? — жалобно, по-детски посмотрел на Ирину Иван. — В кармане вроде б-б-был.

— Лягушка лягушатам теперь звонить будет, когда те в школу пойдут! — звонко расхохоталась счастливая девушка.

От торса Ивана валил пар. Он освободился от лямок штанов, попробовал расстегнуть и снять — не смог. Ирина опустила перед ним на колени, с трудом стащила с его ноги единственный сапог. Стесняясь, она долго расстегивала все пуговицы. Наконец крепко вцепилась в мокрую штанину другой, босой ноги, и живо потянула. Иван громко вскрикнул от пронзившей его кинжальной боли, «поплыл» сознанием и упал на спину. На холодную, белую ступню медленно выползла горячая темно-вишневая кровь.

— Иван, ты что? Ваня! — испуганно вскрикнула Ирина.

Сперва робко, потом со всей мочи она затормошила его, затрясла, но тщетно.

— Ваня! Ванечка! — срываясь на хрип, рыдала Иринка и наотмашь хлестала его по колючим, бледным щекам, от чего голова парня беспомощно дергалась.

Но Иван этого уже не слышал и не чуял. Он еще в воде потерял много крови. Теперь ему было хорошо. В его сознании вспыхнул огонек лампадки. Разгораясь, моргасик превратился в источник тепла, который приближался к нему, нес что-то желанное, доброе и родное. Еще чуть-чуть, и он увидит то, что даст ответы на все его вопросы. Теперь Ваня уже ничего не боялся. Он не напрягал память, голова не болела, а тепло, радость, блаженство и покой постепенно охватывали его. Каким-то уже неземным чувством он знал, что это будут блинчики и обязательно с творогом. И Ваня увидел! Тарелочку с розовой каемочкой, на которой румянились два маслянистых налистника.

— Кушай, Ваня, сам, сам, — послышался нежный, знакомый голос.

Он обернулся. Недалеко стояла и ласково улыбалась ему белокурая молодая женщина, красивая и родная, похожая на него. Его мама!

В этом году весна пришла раньше обычного. Семен Иванович Гай успел устранить все замечания заказчика до полной распутицы. Участок сворачивался. Многие уже отдыхали: кто в отпуске, кто в отгулах. Технику обслуживали и готовили к переброске на другой объект. Осиротевшую сварочную станцию Ивана увезли на центральную базу для капитального ремонта. Трубоукладчик Михалыча вытащили только через неделю. Унылый, без кабины, без стрелы, с демонтированным двигателем и выпотрошенной трансмиссией, он виновато



ждал хозяина, застыв на выложенных под ним бревнах. Ремонтники возвращали калеке жизнь.

В больничную палату впорхнула юная медсестра с пакетом в руках.

— Все грустите? А к вам посетители! Но мы не пускаем, ковид! А передачи можно — вот! — Она положила пакет на тумбочку у кровати, тронула ручку настенного радио у двери, что-то чирикнула о настроении и вышла, оставив легкий шлейф дешевых духов.

Тотчас тихо запели флейта и гобой. Медленно и нежно, словно рожок пастуха и свирель, они по очереди вручали друг другу прозрачную мелодию, увеличивая звучность. Больной, не вставая с кровати, достал из пакета картонную красивую коробку. Открыл. В ней лежал новый смартфон последней модной модели. На корпусе гаджета сверкали серебром эмблема — сварочная дуга на фоне земного шара и надпись: «Ивану Найденову от бригады».

Всё новые и новые музыкальные инструменты постепенно пробуждались, насыщая и окрашивая «Утро» Эдварда Грига.

Вторая коробка оказалась пластмассовой и теплой. Молодой человек подержал ее, задумался, но все же открыл. Мгновенно свет безразмерной радости проник в него, разбудил и заполнил каждую клеточку одинокого сердца. Волна нежности и счастья накрыла Ивана. Первый раз в жизни он был по-настоящему, очень-очень счастлив! Там лежали... два маленьких блинчика, и всего-то. Но то были те, те блинчики! Налистники с творогом! Теперь он знал это точно!

Иван бережно спустил с кровати ногу в гипсе, взял костыли и добрался до большого окна. Сквозь слезы счастья, застилающие глаза, он увидел внизу молодую элегантную женщину в пальто канареечного цвета и кокетливой шляпке. Она держала за руку веселую, вертлявую девочку, радостно махала ему и что-то кричала. Но Иван слышал лишь мощную и яркую кульминацию симфонической пьесы.



Василий РЫСЕНКОВ

ОЧЕРЕДЬ ЗА НЕБОМ

* * *

Порою покажется: в сумерках где-то
Засветится вымершее село...
Из дальнего лета с приветом от Фета
Веселую ласточку занесло.

Порою накатит забытое, лишнее,
В беспамятстве память пошутит со мной:
Ленивые осы над спелыми вишнями,
Ленивое небо над тишиной.

Потом из абсурда, тоски и холода —
Собакой из будки — посмотрит душа.
И вот мы смешливы, красивы, молоды,
И жизнь, как июльский рассвет, хороша.

И жизнь, и судьба, и свобода — дешево...
Но ласточки в небо зовут, звеня
Из летнего дня золотого, хорошего,
А все, что потом, — это не про меня.

* * *

Тысячи верст зимы!
Лоси — по снегу — вплавь.
Смотрят из белой тьмы
Белые явь и навь.



Там, где была река, —
Ива с одной клешней...
Не распороть лыжной
Мерзлые дни сурка.

Ночью под Новый год
Двинемся мы в поход.
Тянется лыжный след
Через порталы лет.

Льжи бегут домой
Наперерез луне.
Восемьдесят восьмой
Год наступил в стране.

Светел от печки дом,
Встали отец и мать.
Все, что нас ждет потом,
Лучше бы им не знать...

Печка гудит вовсю,
Снежная даль хрустит...
Горечь коры лосю
Солнышко подсластит...

* * *

Ждем просвета, отпуска, погоды,
А леса редуют и родня...
И мелькают, словно окна, годы,
Прошлым остывающим дразня, —

С банями, заборами, столбами,
С меднорожей заспанной луной...
Говорим, что ходим за грибами:
Не поверят, что — за тишиной.

Вечными заботами ведомы,
Мы плывем, не видя берегов.
Только от роддома до дурдома
В этом мире — несколько шагов...

Где-то в душах зацветает небыль.
Сбросит печь Емелю-дурака.
Кто последний в очередь за небом?
Хлеб не дефицит у нас пока...

* * *

Призрачен был и вечен
майский заречный лес.
Пятидесятые. Вечер.
Велосипед «Прогресс»
катится прямо, прямо...
Не повернуть. Держись!
В море сирени — мама,
дальше — весна и жизнь.
Но и того, что будет,
не остановишь ты:
молча толпятся люди.
Холмик. Венки. Цветы...
Там, где закат погашен,
встретятся наконец...
«Как там дела у наших?» —
спросит ее отец.
Космос велик и страшен.
Вечность не побороть.
Как там дела у ваших,
знает один Господь...

* * *

В растревоженный фарой мрак
шепчет двигатель горячо...
Я и сам не заметил, как
осень села мне на плечо.

Все слышнее цикад тоска,
комариный все тише зуд...
По проселкам и большакам
я сентябрь за плечом несущу.

А созвездиям краю нет!
И неважно, где норд, где ост,
не к Медведице — на обед,
значит, Гончему Псу — под хвост!

Пусть в созвездьях сгорят дотла,
вспыхнув радостно и светло,
все бессмысленные дела,
все тяжелое наше зло.



* * *

День неуловим и летуч...
Это в сердце — юность. Замри.
Это майский тающий луч
Освещает жизнь изнутри,
Самую кривую версту,
Самый отдаленный погост...
И в советском сером быту
Место есть для зреющих звезд.
Есть ветра — над пляской костра,
И туман текучий, большой.
А потом... проснешься с утра
С трезвой и колючей душой.
Радоваться, жить и дышать
Будешь осторожно с тех пор.
Все, чем юность так хороша,
В зрелости — позор да укор.
Вот и замыкается круг,
Вот и не сбывается сон.
Даже и безвременье, друг, —
Это мертвый год без времен.
Это только мед по усам,
Это только искры в золе.
Лучшие места на земле —
Те, что ты придумывал сам.



Сергей СМИРНОВ

ХОРОШИЕ ПРОФЕССИИ

Р а с с к а з ы

Путевой обходчик

После службы в железнодорожных войсках Владимир Ершов вернулся в родную деревню, затерявшуюся среди тверских болот. Володя был сиротой, и его никто не ждал, кроме бывших одноклассников, закативших по случаю его возвращения грандиозную пьянку.

А он, можно сказать, пил не от радости, а с горя. Перед армией попросил приглядывать за домом соседку Лукерью Макарову. Она обещала смотреть днем и ночью, потому что страдала бессонницей еще с той поры, когда во время полевых работ сутками не вылезала из кабины гусеничного трактора ДТ-75. Но теперь он увидел, что его небольшой огород зарос репейником, а сколоченная из горбыля уборная покосилась, почернела от дождей и ветров. О бане и говорить нечего. От бани остался заваленный на бок сруб. Печку растаскали на кирпичи. Заодно прихватили оконные рамы, двери и котел. Недосмотрела старая Макариха...

Ходить по домам, искать пропажу, писать заявление участковому — дело пустое. Проще раскидать гнилые остатки на дрова, а для помывки соорудить на веранде душ.

Володя нашел за сараем ржавые уголки сорок на сорок. Под лейку ошкурил бензобак, покрасил его остатками железного сурика. Повесил клеенку на кольца. Под верандой приспособил кусок трубы для слива и отвел ее от дома в канаву...

В деревне о своей службе на БАМе особо рассказывать нечего. Ну что особенного? Окончил учебку и вместе с сержантскими погонами получил права на вождение тепловоза. Потом его желдорбатальон привезли и выгрузили в тайгу, где расчистили площадку и прямо на снег поставили палатки, для тепла набросав еловых веток, а в печки накидав сырых чурбаков, малость сбрызнув их солярой.

И начали вкалывать. Трудно было в первую зиму, все как-то наспех. На открытых грузовиках под конвоем привозили заключенных пилить лес под трассу. На двадцать комсомольцев — пятьсот осужденных... Иногда сидельцы, замученные и еле живые, просились погреться у костра.

Военные железнодорожники полностью строили восточный участок магистрали. Студенты и добровольцы появились позже на западном участке. Гнали план. Все достижения стройки приурочивали к каким-нибудь государственным праздникам. Каптенармус Прошкин, редактор стенной газеты, наклеивал фотокарточки с передовиками. Те даже значки ударников получали. А по весне, когда рельсы «гуляли» и ездить было невозможно, подтаявший проложенный за зиму путь переделывали с отсыпкой откосов гравием, утрамбовкой. Но все это уже без газет и фотографий.

Потом Володя пересел в кабину шпалоукладчика. Комбат мечтал, что Ершов женится на его дочке:

— Вот ты за два года тысяч пятнадцать получил? Можешь выбросить эти деньги... Через нас идут поезда с разным ширпотребом: дубленки и радиоаппаратура. А я здесь начальник на многие сотни километров. Полк наш аж в Свердловске! Короче, товар есть, и покупатели найдутся. Оставайся на сверхсрочку, будем вместе дела делать.

Володя отказался. А комбат отомстил. Володю последним уволили в запас, а перед этим он еще и на губе посидел за невыполнение приказа. Командир грозился трибуналом. К счастью, из военной прокуратуры приехали с проверкой. На каждую хитрую гайку отыщется свой болт.

Но чтобы дальше жить на родине и поднимать хозяйство, нужна работа, которой здесь нет. Не зря же Володя служил в желдорвойсках!..

За станцией в небольшом кирпичном доме в одной комнате разместились ее начальник, дежурный и начальник дистанции пути. Последний — Федор Дмитриевич Ермаков, только отобедав, ругал себя за то, что в столовой на второе вместо голубцов взял подозрительные котлеты.

«Теперь но-шпу придется пить», — думал он, глядя на молодого парня в джинсах, который пришел к ним устраиваться.

Из кармана ветровки парень достал корочку на право вождения грузовых и пассажирских магистральных тепловозов.

— Это все замечательно, — вздохнул Федор Дмитриевич, — только здесь тепловозов нет, как и самого депо. Это надо на Узловую, но добираться далече... А вот у нас на седьмом участке обходчик требуется. Участок не электрифицированный, поэтому вагон-дефектоскоп гонять нельзя. Этот участок среди лесов и клюквенных болот. Когда идут дожди — грунт ползет. На участке еще переезд имеется. Без шлагбаума, только разметка и знаки. Движение через него небольшое. Но в этом месте поезд идет в гору и перед переездом гасит скорость. Поэтому надо поглядывать. Если сам окашиваешь — оплачиваем, а нет — полноценную бригаду высылаем, что для дороги накладно. Если согласен, сейчас туда как раз грузовая дрезина с ремонтниками отправляется. После ливней габарит пути уменьшился, надо срочно восстанавливать...

Володю не радовали такие перспективы. Но пришлось согласиться. Больше же ничего нет.

— Тогда напишу записку на склад, — продолжил Федор Дмитриевич, — чтоб тебе выдали спецодежду, сапоги, ботинки, дождевик... Еще



и продукты сухим пайком. Тушенка с крупой и маслом на первое время не помешают. Рядом с домом обходчика есть деревенька. В сельмаге отовариваться по талонам будешь. Ты парень молодой — рано или поздно к людям все равно потянет. Так что я на будущее узнаю, на каких участках требуются тепловозники...

В мотодрезине хватило места всем. Володя свалил у борта свое «приданое», как путейцы шутя называли его новые вещи, полученные на складе под расписку.

— Часа через два будем на месте, — сквозь работу дизеля прокричал машинист в оранжевом жилете.

И ДГКУ (дрезина грузовая крановая универсальная) помчалась, рассекая на равные части темно-зеленый, а вдали почти черный лес. Местами за невысокими деревьями с кривыми стволами тянулись болота. Иногда бездонные линзы болотной воды вспыхивали под одиноким лучом холодного солнца...

Общались мало. Суровая природа этих краев не располагала к общению.

— Эй, парень, — снова повернулся к нему машинист, — вон из-за елок твой «дворец» выглядывает. — Он перевел рукоятку крана от себя, и дрезина тут же замедлила ход.

Володю высадили на путевом посту седьмого участка. Ремонтная бригада остановилась недалеко. Выгрузили рядом с насыпью инструменты, ремкомплект для возможной замены части пути. Стрела крана дрезины опустила на мокрую траву рельсы...

Болотные комары целой эскадрилей набросились на прибывших. Больше всех доставалось почему-то машинисту Авдеенко.

— Изголодались, — отмахивался он от них.

Как и предполагали, после затяжных дождей ширина и уровень колеи изменились. Труба водостока под насыпью, как пробкой, закупорилась лесным мусором, принесенным с потоком воды. Пока запускали генератор, откачивали через откос воду и разгребали плотно набившийся мусор, стемнело.

Наступила короткая северная ночь. На дрезине включили мощный прожектор-искатель, и обрадованные комары атаковали источник яркого света.

На рассвете насквозь облепленные грязью и травой железнодорожники погрузили свой шанцевый инструмент и отправились назад, по дороге увидев, как новый путевой обходчик седьмого участка Володя Ершов совершает свой первый обход.

Срочная стирка

В самый разгар лета, рано утром, с гор неожиданно спустился желтоватый туман и накрыл крымский поселок пеленой, под которой тот исчез, будто его и не было вовсе. Из уличных громкоговорителей предупреждали о нецелесообразности выезжать куда-либо без крайней необходимости.

А ехать все же надо, дорогой товарищ! Так и пропела сестра-хозяйка санатория Вера Ивановна Кулеш шоферу Володе Рогову, пнув шлепанцем грязные бельевые узлы, сваленные в углу комнаты. Отвезти в прачечную и отдать в срочную стирку, взамен забрать чистое белье. Скоро же отдыхающие приедут!

Прачечная в семидесяти километрах от поселка. Асфальт до этих мест так и не добрался. Просто грунтовка.

С Верой Ивановной спорить бесполезно. Где сядешь, там и слезешь. Тетка бокастая и крепкая, решительная и скорая на расправу, особенно с нерадивыми горничными.

— Не видно же ничего дальше радиатора, — пытался отвертеться Володя. — Может, лучше подождать, когда рассеется? У меня фары обычные стоят. Никак противотуманки не поставлю. И машина старая — ГАЗ-51. Сколько она пашет на народное хозяйство!

— Ой, да ладно тебе! — легкомысленно отмахнулась кастелянша. Все ей нипочем. — Дорогу знаешь, не впервой, как-нибудь доедешь. Другой машины все равно нет. До тебя на ней Данилыч спокойно гонял без всякой профилактики, без всякого ТО.

— Оно и видно, — ворчал Володя, попивая горячий чай. — Сколько я с ней возился, чтобы в божеский вид привести! Отмыл, отчистил, простучал, подкрутил... Теперь на себя не похожа — летает! Надо еще тормозные шланги поменять. Колодки вроде хорошо схватывают. Но по этим дорогам — то в горку, то под горку... Нагрузка на тормоза большая. Перегревается тормозная жидкость. Беречь надо технику, а не добивать ее без толку.

— Володька, много чая пьешь и много разговариваешь, — потеряла терпение Кулеш. — Пошли, узлы дотащим до машины. Я снизу в кузов подавать буду.

Вдвоем быстро набросали бельевых узлов до самого верха кузова. Пришлось даже откинуть скамейки к бортам.

Утро было такое сырое, что капли тумана, будто слезы, набегали и скатывались по выпученным фарам. Володя привычно надавил правой ногой педаль стартера, левой несколько раз подкачал педаль газа для насыщения горючей смесью. Снял машину с ручного тормоза, положил руки на руль и повторил знаменитую фразу Гагарина: «Поехали!» Выбрал вторую передачу и выехал на дорогу. Включил дворники, и они стали ровно перемещаться, слегка причмокивая новенькой резиновой манжеткой.

Володя — не новичок в своей профессии. Когда-то крутил баранку по тяжелым таежным дорогам. Потом соблазнился теплым морем и доступными фруктами. Попалось объявление: в санаторий под Ялтой срочно требуется шофер. Зарплата небольшая, но питание, отдельная комната, санаторно-курортное лечение... Все бесплатно. Вот только дороги!..

К крымской земле, особенно после дождей, когда известняк киснет и превращается в гипсовую, мелко перемолотую «манную кашу», трудно привыкаешь. Автомобиль тяжело ползет, скатываясь то одним, то другим бортом, всякий раз рискуя застрять в кювете. Мотор надрывно

стонет на высокой ноте. Всем своим честным нутром машина противится дальнейшему движению по липучему известняку. А если вверх по горной дороге, когда с одной стороны глубокое ущелье, с другой — приплюснутая к самому полотну черная скала...

Дорога за поворотом пошла на подъем, и двигатель надсадно завыл. Зато туман редел. Ветер уносил его остатки куда-то вниз и сбрасывал в море. Волны слизывали их, превращая в водную стихию. Вечный рокот моря отсюда не слышно, но после вчерашнего шторма оно еще не успокоилось, накатывало высокой дерзкой волной на безлюдное побережье. Вот это мощь! Если захочет, снесет любые препятствия на пути. И никто не в силах помешать могучей природе.

По этому участку Володя никогда не ездил. Прямая трасса до Ялты из-за непогоды местами была перекрыта. Пришлось ехать по второстепенной, в объезд.

Машина, забравшись на вершину, пошла по ровной скользкой дороге. А за следующим поворотом снова пологий спуск. Володя сбросил немного скорость, чуть отпустил газ, поставил правую ногу на педаль тормоза, но она провалилась в пол... Снова попробовал — то же самое... Тормозная гидравлика перестала работать.

ГАЗ-51, ускоряясь, неся под уклон. На лбу шофера выступил холодный пот.

— Так, рычаг на первую, — бормотал он, — дальше выключаю двигатель. Попробую затормозить стояночным, вроде слушается... Хорошо хоть, спуск не такой крутой, как тогда, на Азовском...

Тогда на Азовском сотрудники санатория собрались на рыбалку. Прежние отдыхающие разъехались, а новые еще не прибыли. По дороге нудно моросил дождь, мелкий и почти незаметный, но перестал, когда стали подбираться к рыбацкой деревушке. И Володя, не ожидая худого, направил машину на крутой спуск.

В нормальную погоду можно было спокойно съехать на первой скорости прямо на берег, к самой кромке воды. Но из-за дождя автомобиль стало заносить, будто под колесами мылом намазали. Володя что есть мочи крикнул своим струхнувшим пассажирам в фургоне: «Прыгайте!» Те открыли заднюю дверь и посыпались на мокрую дорогу, как горох из стручка. При заглушенном движке машина последние метры сползла к спасительному серому песку, шершавому, как наждачная бумага...

Потом целый день с рыбацкой лайбы ловили головастых бычков, варили уху. На обратном пути тоже было непросто, хоть и подсохло. Под тонкой и вроде бы твердой коркой была все та же сырая известковая каша.

...Впереди дорога закручивалась в петли. Машина окончательно разогналась, Володя с трудом ее удерживал. Что за поворотом? очередной подъем? Тогда спасение. Или спуск продолжится? Хорошо, движение небольшое. Одна только машина на встрече еле проползла мимо...

Наконец поворот. Дальше дорога ровная и сухая. Володя сильнее надавил на рычаг стояночного тормоза. Грузовик замедлился и остановился.





Шофер на полусогнутых, почти ватных ногах выполз из кабины и, привалившись к колесу, долго сидел так с прикрытыми глазами... В горле пересохло. Во всем теле ломило.

Придя в себя, запрокинул голову и увидел в чистом небе парящего орла. Будто над ним кружил, пусть и далеко...

Володя, хоть и устал, решительно поднялся. Вытащил из кабины старую промасленную телогрейку, лег на нее под автомобиль и принялся внимательно осматривать каждый сантиметр тормозной магистрали.

Продвинувшись глубже, обнаружил, что резиновый шланг, идущий от главного цилиндра, лопнул, отвалился и просто висел в воздухе. На ощупь твердый, с глубокими трещинами по всей длине. Тормозная жидкость почти вытекла. Лишь мелкие капли, будто дурная черная кровь, нехотя и редко падали на землю.

— Срочная стирка, срочная стирка! — передразнивал он Веру Ивановну. — Чуть не загремел с ее прачечной. Сейчас бы валялся вперемешку с кровавым бельем где-нибудь на дороге...

Музейная тайна

Вера Никитина долгое время была завучем в школе. Но в последнее время перестала любить свою работу. Все было как-то нервно и бессмысленно. Когда окончательно надоело, написала заявление об уходе. Друзья и родственники отговаривали: с работой сейчас туго, другую не найдешь.

Так и вышло: долго искала, не могла подобрать ничего подходящего. Требовались маркетологи, аналитики, программисты. Рабочие профессии тоже были в чести. Вера же из интеллигентной творческой семьи. Папа всю жизнь нес культуру в массы, трудился заведующим клубами в разных городах от Тихого океана до комариной Карелии. Даже пьесы ставил. Мама, художник по костюмам, обшивала капризных театральных актрис. И Вера выросла гуманитарием, к точным наукам интереса не проявляла.

Старая соседка Анна Сергеевна подсказала выход. Она до пенсии работала на заводе «Красный треугольник», но тоже тянулась к искусству, любила посещать различные выставки. А в музеях часто требуются зрители.

На собеседовании соискательницу долго пытали, почему ушла из школы. Вера честно отвечала, что на предыдущей работе скучно, зато музей — ее призвание. Образованная и спокойная, Вера успешно прошла собеседование. На следующее утро ее новая начальница Марья Ивановна, полноватая, в строгих очках, со смешной фамилией Кашеева, провела необходимый инструктаж.

Теперь, после приемки и осмотра, Вера отвечала за сохранность всех экспонатов в вверенном ей зале.

Сейчас ее место было уже не за учительским столом. Вера, облаченная в униформу, скромно сидела в углу большого зала и наблюдала



за нескончаемым потоком посетителей. На лацкане пиджака бейдж с фотографией. Она по-прежнему собирала светлые волосы в пучок на затылке. Приобрела такие же очки, как у начальницы, но в модной оправе, слегка тонированные. Одной рукой элегантно поправляла их, другой — мягко отстраняла самых любопытных посетителей от экспонатов.

Однажды даже спасла гостя, когда со стены сорвалась большая картина в тяжелой золоченой раме. Посетители, такие же бестолковые, как и ее ученики, только взрослые, обижались на простые замечания: не заходите за веревочные ограждения, не фотографируйте со вспышкой, не дышите на экспонаты и уж тем более не трогайте их... Кстати, за спасение человека от сорвавшейся картины ей выдали небольшую премию. Но зарплата, увы, оказалась меньше той, что обещали на собеседовании.

Осенью в городе тускло и сыро, деревья голые и усталые, все пустеет. В музее же светло и торжественно. Начищенный до блеска наборный паркет, сверкающий хрусталь люстр и жирандолей, позолота диванов и кресел с атласной обивкой невероятной сложности.

А потом в музейном комплексе в Царицыно случилась плановая перестановка смотрителей. Вера угодила в галерейную оранжерею с редкими тропическим растениями. Поначалу ее, как новенькую, не решались туда ставить. Боялись, что тут же уволится.

Утром сонный вахтер, звеня тяжелой связкой ключей, открыл ей дверь в оранжерею, и на Веру навалился упругий, мокрый, пахнущий джунглями воздух. Она даже закашлялась, прежде чем шагнуть в этот удушливый тропический лес. Толстенные лианы, словно старые корабельные канаты, переплетаясь, свисали до самого пола. Резные листья гигантского папоротника, финиковые пальмы, огромные кувшинки амазонских викторий с загнутыми краями в небольшом водоеме... Перед лицом бестолково пролетела яркая птица и уселась на какие-то игольчатые листья, медленно раскрывая и захлопывая нарядные крылья. Оказалось, что это вовсе не птица, а огромная бабочка.

«Наверно, здесь и бабуины обитают. И змеи водятся», — передернула плечами Вера. Она терпеть не могла гадов.

Но никаких обезьян и змей здесь, слава богу, не водилось.

Вера смиренно заняла свое место в небольшом тамбуре, отделенном от теплицы стеклянной стеной. В десять часов в оранжерею ввалилась группа шумных школьников. Их восторгу не было предела, когда под стеклянным потолком пролетели бабочки. Девочки визжали, мальчики махали руками.

У Веры разболелась голова. Она шутивно пригрозила, что ребята криками разбудят австралийских попугаев.

После обеда пришли пенсионерки с пластиковыми пакетами. Они демонстративно доставали оттуда воду, жадно пили, бесконечно жалуясь на жару тропиков. На то она и оранжерея. Пожилые женщины мало обращали внимание на бабочек. Они окружали цветники с крупными фиолетовыми, словно майская ночь, цветами. Налюбоваться на них

не могли. И счастливые уходили домой. Вера их понимала. Эта красота завораживала.

Вечером оранжерея опустела. Вера устало подошла к цветнику. На месте некоторых растений зияли пустые лунки! Тетки незаметно выкопали редкие цветы...

Вера побежала к начальству. Кашеева даже не удивилась. Не первый раз такое случается. А за руку не поймаешь. Охрану не поставишь. Даже камеры не могут отследить. Очень хитрые эти старушки. Ладно, если для себя, чтобы дома любоваться, хвастать перед подружками. А некоторые несут на продажу в цветочные магазины. Варварство, одним словом!

И тут Вера вспомнила, как однажды в универсаме возле дома посетила небольшой цветочный магазин за стеклянной стеной. Там в пластиковых горшках продавалась всякая тропическая и субтропическая невидаль. Вера еще тогда удивилась, откуда у хозяев магазина такие возможности доставать редкие растения.

В свой выходной она пришла туда и опознала украденные цветы.

Потом было заявление от музея в полицию, допрос хозяина магазина... Оказалось, что воровка работала у него уборщицей.

Какое они понесли наказание, Вера уже не выясняла. Работала себе спокойно. Подобных краж больше не наблюдалось.

Так, иногда кто-нибудь отщипнет листочек на добрую память.



Кубанские казаки

— Вадим, родной, чего стоим? Я тебя когда на ячмень отправлял? — выкрикнул из окна машины Пивоваров, остановившись возле комбайна Вадима Деркача. — Утром же докладывал, что все в порядке, зажигание выставил. Что опять не так?

— Да вот, Сергей Николаевич, лопнул... — Худой черноволосый Вадим вертел в длинных жилистых руках резинокордовый ремень с ускорителя.

— Опять перетянул, наверно, — поморщился Пивоваров.

— Да китайцы так делают. Даже на страду не хватает.

— Короче, китаец, ставь давай и вперед! Чтоб через полчаса комбайн работал без всякой китайской философии.

— Будет сделано, шеф.

Сергей Николаевич Пивоваров — бывший председатель колхоза. Теперь успешный фермер. Вовремя сориентировался и принял на себя бесхозные поля, на которых за годы разрухи успели вырасти березняки.

У него не забалуешь. В советское время хотел, да не мог уволить нерадивого работника. Теперь же — запросто. А еще не любил пьяниц и лентяев. Говорил:

— Власть какой бы ни была, а обязана кормить свой народ. И мы, хлеборобы, тоже в ответе. Мы одни знаем, что хлеб на деревьях не растет. Его надо вырастить, собрать, обмолотить, сохранить на элеваторах и вывести на мукомольные комбинаты.



Вот и решил Вадим засветло выехать на ячмень. Прежде сжатым воздухом тщательно продул движок и кабину от мелкого сора. Поднял жатку, осмотрел подкорытье, нет ли задиров, не трет ли где. Выставил все допуски. Еще раз со шприцем облазил все масленки. И на тебе, ремень подвел! Получил «фитиль» от Николаича. Надо наверстывать.

Вадим хлопнул слегка ладонью по кожуху комбайна, будто перед дальней дорогой потрепал за холку доброго скакуна. До полей километров десять.

Приехал и оглядел поля. Ближнее еще не совсем оправилось от недавнего ненастья. Почва у основания стеблей уже теплая, но ком земли еще не спешил рассыпаться в руках.

Вадим рычагом опустил жатку, и к ровному звуку дизеля прибавился стрекот шестиметрового барабана. Снизил до нужной высоты барабан.

Комбайн начал свою работу. После первого прохода Вадим спустился по трапу, присел и раздвинул руками только что остриженные и торчащие ежиком стебельки. Вроде берет. Размял в пальцах колос, сдул шелуху, пару зерен бросил в рот. Зерно захрустело на крепких зубах. Доброе зерно, спелое, можно убирать.

Работа кажется монотонной: ходи себе по полю да срезай колосья. Кабина «Нивы» нагрелась вкрай. В ней всегда шумно и жарко. Но сегодня особенно припекает. Вадим приложил ладонь к небольшому вентилятору, установленному сверху. Толку никакого, жар гоняет по кругу. Вроде мелочь, но насколько легче с кондиционером работать!

На зарубежных машинах электроника: только руку протяни — нужные датчики срабатывают. Заснешь на ходу — сигнал подаст и комбайн остановится, до аварии не доведет. Но если хоть один датчик выйдет из строя, то и сам комбайн работать не будет. Встанет в поле бараном, и все тут. Иностранную технику, в отличие от нашей, не обманешь. Ремонтировать приходится по инструкции, как положено.

И все равно хороший наш комбайн «Нива»! Сколько лет, а работает. Еще долго будет пользу приносить. Кто придумал «моральный износ техники»? Всегда можно машину починить, если «котелок» варит и запчасти имеются. К следующей уборочной надо деку ставить, чтоб производительность повысить и качество обмолачивания, и сам комбайн быстрее побежит. В советское время завод выпускал до десяти тысяч комбайнов в год. Получить сельхозтехнику было проще простого. Сейчас еще легче, только гроши давай. Новый комбайн «Акрос» стоит около двадцати лямов...

Под зерновой выброс подъехал новый бортовой ГАЗ. Вадим открыл дверь кабины. Снова ворвался звук работающего дизеля, сильнее запахло топливом, перегретым маслом. Вадим зачерпнул ладонью из бункера горсть теплого зерна и засыпал во влагомер, придавив крышкой. До этого несколько недель шли дожди. Подпортили уборочную. На табло отобразилось: влажность ячменя 11,5 %. Значит, хорошее, готовое для уборки зерно. Реально смолотить за три дня. Сорок процентов можно взять.

Правда, в этом году урожая меньше. Весной еще заморозки слегка придавили ячменек. С гербицидами агрономы припозднились. В поле

вперемешку с ячменем целые заросли полыни и лебеды. Николаич, наверное, под фураж эти участки пустит. Потом их продискуют, дадут отдохнуть и на будущий год, может, овсом засеют. Но это пусть агрономы думают, у них для этого образование. А у нас — опыт хлеборобов. Что Боженька ни даст, за все спасибо.

К самому краю поля подъехал колесный трактор «Беларусь» с запряженной пожарной бочкой, полной речной воды. Это Гриня причапал. Значит, время к обеду. Григорий по ночам с девками гуляет, по утрам вокруг своего трактора телепается. На сон времени нет. А сейчас уборочная, день год кормит... Ну ничего, пусть пока гуляет — осенью в армию пойдет. В военкомате уже предупредили, что отправят в танковые войска. В танке под приказы командира не поспишь. Странно, ведь половина станицы на флоте служила. Там тоже здоровье нужно. И в технике желательно разбираться. А океанские волны напоминают волны пшеницы на полях...

— Гриня, давай отвинчивай задрайки. Я в твоей цистерне купаюсь. — Вадим сбросил с себя поношенные джинсы, выгоревшую футболку в масляных пятнах и окунулся пару раз с головой.

В такую жару за милую душу...

Потом вдвоем уселись в тенечке развесистого орешника. Тетка Лукерья приготовила им супец с пампушками, на подварке, куриного мяса добавила.

Обедали молча, время от времени отламывая куски от свежего ноздрястого душистого каравая. Потом Гриня снова сбегал к трактору. На второе в алюминиевом бидоне тушеная картошка с говядиной, морковью и зеленью...

— Дядя Вадим, я там, за леском, в балочке трактор нашел. ДТ-54 вроде, — вдруг вспомнил Гриня между делом. — Видать, давно бросили, весь в лопухах и крапиве. Наверно, с поля съехал. Вот бы поднять и восстановить! Жалко машину, пропадет совсем.

— Молодец, что жалеешь технику, — помрачнел Вадим. — Знаю я про тот аппарат. Он там уже лет десять отдыхает по вине одного пьяницы. Тот вечно хвалился, что был испытателем на танковом полигоне. «Мастер широкого профиля и первого класса во всех категориях». Вот и загнал технику в овраг. Только мы твоей «Беларусью» не вытащим. Здесь лишь «Кировец» из соседней станицы сможет. Попробуем одолжить...

Под рукав зернового шнека транспортировки встал КамАЗ. Генка из кабины самосвала помахал им рукой.

Справа от рулевой колонки «Нивы» рычаг. Одно его движение — и непрерывный поток ячменя с легким шелестом хлынул в кузов...

До большой росы успели высыпать последний бункер. За полный рабочий день прошли одиннадцать гектаров.

Вадим отогнал «Ниву». В голове одна мысль: помыться и спать.

Гриня продолжал копаться в своем тракторе, что-то подкручивал гаечным ключом.

— Ну что, будущий танкист, возишься? — подошел к нему Вадим, обтирая руки ветошью.

— Вентилятор цепляло, крепление подтягиваю.

— Как закончим уборку, приходи в воскресенье, отметим окончание. Парочку арбузов прикупим, шашлык приготовим. Поучу тебя фланкировке. Лозу порубаем шашками. У меня дома на ковре красуется настоящая терская шашечка. С Первой мировой прадед привез. Еще старинный кинжал «Кама» имеется...

Григорий кивнул. Он знал, что Вадим — хорунжий Кубанского войска. Фланкировкой занимался не просто так, чтобы перед молодыми казачками покрасоваться. Вадим Деркач соблюдал старинные обычаи Кубанского казачьего войска.

Вернисаж

Молодой весенний дождь опустошил тучи, нависшие над старинными прудами родовой вотчины бояр Романовых. Еще не стаявшие грязные льдины вместе с прошлогодним мусором плавают у заросших камышом и осокой берегов. Над высокими столетними деревьями высятся приметная башня въездных ворот древнего Измайловского кремля.

По воскресеньям здесь проходят исторические реконструкции, костюмированные праздники для туристов.

В одно их воскресений из въездных ворот выкатилась карета с юным царевичем Петром Алексеевичем в теплом расшитом кафтане и мягких высоких сафьяновых сапожках, который весело подбадривал стрельцов царской охраны. Произвели первый спуск на воду его ботика, построенного по английским чертежам. В те времена будущий адмирал российского флота, наверное, мечтал, как поплывет на этой лодке по Яузе. И когда-нибудь его большие корабли, построенные на настоящих верфях, отправятся в дальние плавания по морям и океанам...

С тех пор, это реально случилось, здесь многое исчезло, изменилось... За стенами Измайловского кремля на другом берегу пруда появился Вернисаж или, как его называют старожилы, Верник.

Рабочий день на Вернике начинается на рассвете. На выходных из разных районов Москвы и Московской области, других регионов стекаются антиквары, перекупщики, художники, коллекционеры и просто любопытствующие. Частыми гостями в прежние времена здесь были художник Илья Глазунов, режиссер Сергей Соловьев, телеведущий Валдис Пельш... Сейчас в основном приходят те любители старины, кто мечтает столкнуться с уцелевшими осколками своего детства, например, с фарфоровыми фигурками слоников или юного пограничника с собакой...

Народ приходит, чтобы вспомнить, поглазеть, прицениться, встретить знакомых, похвастать, выпить возле палатки горячий кофе или махнуть сто граммов коньяка на розлив. Между лавками с русскими сувенирами натянута широкая полоса старого полиэтилена для защиты от проливных дождей. Кажется, что здесь всегда прохладнее. Надо одеваться теплее. Доносится песня «Я не знаю, зачем и кому это нужно...» в исполнении Александра Вертинского. В целом обстановка





непринужденная, доброжелательная, но это для своих. Антиквары — народ закрытый и профессиональными секретами с чужаками не делится.

Среди художников — пейзажисты, портретисты, графики и просто хорошие копиисты. На заказ они повторяют любую картину, умело ее состарят путем нанесения кракелюра, как на старинных холстах. Попутно бесплатно прочитают лекцию о всех направлениях западноевропейской живописи.

Вот один пожилой художник, тоже выставив картины и опираясь на массивную, затейливо инкрустированную латунным орнаментом трость, с высоты своего немалого роста равнодушно взирает на проходящую толпу. В силу возраста или каких-то других причин он не выставляется на других, более значимых площадках и вынужден приезжать сюда с другого конца города на старой «копейке».

— Видишь, — показывает он концом трости на свои работы, — решил перейти на акрил. Раньше акварелью и маслом работал. Даже гравюры делал. Акрил — интересная техника, дает прозрачность и в то же время яркость, сочность, какую-то значимость...

На одном из его холстов влюбленная пара в сумерках укрывается от дождя под большим разноцветным куполом зонта. Они не замечают дрожащую кошку возле уличного фонаря. Слегка небрежны и будто не разбавлены мазки красного, желтого, густо-синего и черного цвета, но как же здорово автору удалось передать состояние счастливых людей и несчастной кошки, вечернего города и мокрой погоды! От картины веет запахом и сыростью дождя. Вроде простенький сюжет, но цепляет!

В самом конце длинного извивающегося коридора живописцев возле старой беседки под голой березой сиротливо приютился на каком-то ящике еще один примечательный художник. Свою единственную работу без рамы он прислонил к той же березе, на черных ветках которой капли ночного дождя, как бусинки из чистого стекла, переливаются, играют на свету.

Солнце выглянуло, но сам воздух еще не успел нагреться. Зеваки проходят мимо и не понимают, что изображено на картине: какие-то беспорядочные цветные пятна. Где верх и где низ? Может, перевернуть?

— Это «Композиция № 7», Кандинский. Авангард понимать надо, — устало объясняет копиист обывателям. — Не нравится — не смотрите. А хотите — берите. У меня больше нет.

Художник живет в деревне под Тверью. Давно перестал писать. Летом и вовсе не появлялся на Вернике. Никто у него не брал эту «Композицию». Непонятная какая-то, так еще и дорого за нее просил.

А поздней осенью задули настоящие ветра, и с Измайловского острова, закручиваясь в воздухе, неслись и падали в почерневшую воду сухие листья. Рыжие утки-огари совсем погрузнели, почти не плавали, отсиживались на берегу. В эту пору поехать на Вернисаж — как закрыть сезон или перевернуть страницу.

Старая береза перед воротами все так же скрипит своим закрученным телом, словно преодолагает хронические хвори. Все как-то

притихло и насторожилось. Меньше любителей побеседовать под чаёк или коньячок возле палатки. Однако в конце коридора живописцев появился тот самый «авангардный» копиист. И опять с тем же самым Кандинским. А что его композиция все же означает?

— Не надо искать сюжета. Меня эта картина, можно сказать, спасла. Однажды спину прихватило, когда решил для печки полешек наколоть. Так прострелило, что от боли повернуться не мог. Долго не отпускало. Из нашей амбулатории медсестра уколы делала. Ну все, думаю, кингстоны пора открывать и на грунт. Амба! А картина на стене возле кровати висела. Лежал и от нечего делать разглядывал ее. И вдруг понял! Это вечное перемещение предметов в разных направлениях и плоскостях. Наша жизнь, как Вселенная, как космос, как океан, тоже вечное движение, энергия. И стоит остановиться, перестать двигаться и отвечать на вопросы мироздания, как все закончится. И мне захотелось скорее встать и жить дальше, иначе все... Картина для меня много стоит, но теперь сбавил до цены обычного торта...

Мы сговорились и пожали друг другу руки. Я теперь заметил: у него на правой руке между большим и указательным пальцами вытатуирован темно-синий якорь.

— Да, я моряк. — В подтверждение художник расстегнул куртку и показал морской знак на закрутке на свитере — за дальний поход на надводном корабле. — Я не всегда в художниках ходил. Первое Балтийское высшее военно-морское училище окончил. Это в Ленинграде, в Морском переулке. Я на два курса по выпуску младше капитан-лейтенанта Ивана Ивановича Краско. Это известный артист. По военной специальности я гидрограф. Создавал навигационные карты, в интересах ВМФ проводил гидрографические, океанологические исследования. В запас вышел капитаном третьего ранга. Потом не знал, куда себя деть, и от скуки поступил в Строгановку. Вот теперь бросил швартовы на мертвые якоря и морковку с репкой дергаю в деревне. Больше уже, наверно, не приеду сюда...

Последний трамвай

Напротив остановки — ажурные чугунные ворота Введенского католического кладбища, за ним высится крест готической часовни. Ночью близ такого места хочется перекреститься. Только пальцами пошевелить не могу. Под ногами крутится поземка. Даже теплые армейские берцы на меху не спасают, если долго ждать трамвай на зимнем ветру.

На городской общественный транспорт вообще надеяться нельзя. Особенно поздним вечером. Тем более когда торопишься на поезд. Предыдущий трамвай час назад ссадил меня на Госпитальном валу. Водитель вдруг вспомнил, что идет только до круга и назад к Семеновской площади.

Московская зима, конечно, не Диксон и не Баренцево море. Там, в северных условиях, работаешь у борта на скользкой палубе траулера,



цепляешься за что попало и мечтаешь о конце смены, чтобы наконец в жаркой каюте рухнуть на койку и тут же провалиться в глубокий сон.

Я окончательно продрог, когда неожиданно, гулко постукивая на стыках и освещая путь мощным прожектором, приполз красно-желтый трамвай. Его вращающаяся капроновая щетка шуршала и шаркала о рельсы. Это был снегоуборочный агрегат.

Поравнявшись с остановкой, он, как ни странно, остановился. В проеме открытой узкой дверцы показался вагоновожатый в короткой куртке, меховой шапке и рукавицах. Он спустился на одну ступеньку и помахал мне. Я на окоченевших ногах доковылял до освещенной кабины. Водитель молча протянул руку и втащил меня за воротник. Дверь за нами захлопнулась.

В его кабине тепло. В нос ударил запах металла и разогретого масла. Я от усталости тут же упал в водительское кресло.

— Во народ пошел! Всю ночь собирался там простоять? Первый трамвай только в шестом часу пойдет.

Мужик чуть погодя протянул мне термосную кружку с горячим крепким чаем и бутерброды с сыром:

— Чего тебе приспичило ехать на ночь глядя?

— Мне до Ленинградского вокзала. На ночной поезд до Питера.

— Повезло тебе, я в том направлении еду. Маршрут до Каланчевки.

Пути очищаю.

Я от усталости только кивнул. Уступил ему место за пультом управления и пристроился на откидном сиденье. Вагоновожатый щелкнул ключом, от аккумуляторной батареи поднял на крыше пантограф, повернул ручку контроллера с нуля в положение «ход», и мы поехали. По дороге коротко познакомились. Моего спасителя звали Максим.

Путеочиститель, шурша щеткой, покачиваясь на стыках и скрежеща на поворотах, двигался довольно быстро. Жужжал электродвигатель, клацала контакторная группа.

— А тебе зачем в Питер? — от скуки поинтересовался Максим.

— Да я раньше рыбачил на Охотском море. На минтай ходили, — делился я, надо же человека развлекать в знак благодарности. — После подался на Диксон, думал подзаработать. Но большая рыбалка там под запретом. Устроился кочегаром в котельную. Ветра там те еще! Народу мало живет. Все стараются уехать на материк. Но школа есть. Еще метеостанция... Шары-зонды с приборами запускают. Направление ветра, температуру в верхних слоях определяют. А я вообще по специальности моторист. Могу и палубным матросом, сертификат имеется. В Питере хочу на буксир или катер какой-нибудь устроиться. По Неве или Финскому заливу ходить.

— Ну что ж, дело хорошее, — поддержал вагоновожатый. — Питер — красивый город, только ветрено и мокро.

— Я вообще в любой механике разбираюсь. В железнодорожном училище спецтехнологию преподавали старые паровозники. Они еще в войну паровозы на фронт водили. После пересели за краны машинистов электровозов.

— Может, и мою машину можешь вести? — не поверил Максим.

— Ну давай попробуем! — тоже раззадорился я.

Ради смеха Максим уступил место.

Я быстро разобрался:

— Моторный вагон с двумя кабинами, построен в Воронеже. Ничего сложного нет. Вот главный пульт, приборы, вольтметр, скоростемер похож на спидометр. Еще амперметр, главный выключатель, кнопки управления навесным оборудованием. Тормоза, надо полагать, магнитно-электрические. С двигателями через редукторы и муфты сцепления валы идут на оборудование за бортом. Зимой щетки. Летом полив через форсунки. Вода сзади в прицепном тендере...

— Вот это да! — удивился Максим. — Слушай, а давай к нам в трамвайное депо? Нам специалисты нужны. Хочешь мастером в цех по ремонту подвижного состава? Или ко мне сменщиком на эту машину? Зачем тебе Питер? Там погода плохая. А здесь и работа в тепле, и зарплата стабильная. Начальство далеко, один в кабине рассвет встречаешь...

— Не, я все-таки моряк. К водной стихии тянет. Земля слишком твердая для меня. А на палубе все по-другому. Вахта для моряка — святое, не то что смена на берегу...

За разговорами доехали до Комсомольской площади. Впереди маячило здание Ленинградского вокзала с башенными часами. Максим снова пересел в свое кресло за пультом и отключил щетку путеочистителя. Вагон не доехал до остановки несколько метров.

— Если в Питере не заладится, приходи в наше депо. Оно за Матросским мостом, на берегу Яузы, — напоследок сказал Максим из кабины последнего трамвая.

— А, чем черт не шутит, когда Бог спит! В жизни всякое бывает. — Я не стал заранее отказываться и помахал ему на прощанье.



Евгений ПРОКОПОВ

НА «СОРТИРОВКЕ»

Р а с с к а з

Коротко и тревожно кричали маневровые тепловозы. У сортировочной горки слышался лязг сцепок и тяжелый, медленный кат распускаемых составов, переговаривались с диспетчерами машинисты. Станция и ночью жила своей неостановимой жизнью.

Минут двадцать Семка Порсаков, притаившись в дощатом сортире-развалюхе, переждал, пока разойдется по домам вечерняя смена, в которой он работал помощником составителя поездов.

День был удачным во всех отношениях. Давали получку, и Семка в первый раз получил взрослую, а не ученическую. К тому же на дальних путях он заметил несколько платформ с контейнерами, и погода словно была в сговоре с ним — к вечеру запуржило вовсю. Грех было упускать возможность «подломить сундук» — пожить в чужим барахлишком. Ведь все одно к одному: ночь, буран, платформы с контейнерами на дальних путях.

Семка осторожно откинул проржавевший крючок и выглянул из сортира. Порыв ветра рванул истошно скрипнувшую дверь и оглушительно хлопнул ею. Порсаков аж присел от испуга, потом ругнулся вполголоса. Шмыгнул носом и оглянулся. Было темно и пустынно на сортировочной станции. Рои снежинок вихрились в свете фонарей. Лампочка одного из них сиротливо раскачивалась у Семки над головой, пронзительно взвизгивал жестяной плафон.

Порсаков поспешил к дальним путям. Он увязал в сугробах и снежных наметах; кряхтя, подлезал под вагонами. Густой снег залеплял лицо. Слизывая холодные хлопья, Семка довольно бормотал:

— Хороший буранчик...

У дальних путей снегу было еще больше, еще гуще и непроходимей казалась вечерняя синь.

Платформы с контейнерами, которые Порсаков заметил днем, стояли там же, в самом дальнем углу станции. С трудом отыскав в сумерках лом, припрятанный заранее, Семка забрался на одну из них.

Контейнеры были сплошь облеплены снегом. Орудя ломом, как рычагом, воришка попытался раздвинуть стоящие попарно, плотно друг к другу, дверцы к дверцам, контейнеры-пятитонники. Получилось

не сразу — только на второй паре удалось. Семка приставил лом к наружной стенке, бочком протиснулся в образовавшуюся щель, сорвал пломбу и проволоку-скрутку, открыл засов, дернул дверцу. Забравшись внутрь контейнера, он зажег фонарик и стал оглядываться.

По составу, от головы в хвост, а потом обратно, волной пробежал лягг автосцепок. Поезд тронулся и стал понемногу набирать скорость.

Семен не испугался. Наоборот, подумал он, теперь можно без опаски действовать и не торопиться: как минимум четверть часа у него есть, пока у разъезда на тринадцатом километре поезд не замедлит ход и можно будет с добычей десантироваться с платформы.

Он стал прикидывать, с каких коробок и узлов начать «раскулачивание». А выбрав, отер горевшее лицо от таявшего снега и, приладив фонарик между тюками, достал нож. Полоснул по брезентухе самого объемистого баула — и ахнул обрадованно, увидев его содержимое: сплошь новые дорогие вещи, о которых он, сирота пригородная, мог только мечтать.

Семен присел на корточки и стал перебирать дубленки, шубы, свитера, джинсы...

Состав вдруг резко тормознул, дернулся, опять тормознул. Снова загрохотало, залязгало из конца в конец поезда.

Воришка, не удержавшись, отлетел вглубь контейнера, больно ушибся обо что-то. Встал, потирая правое плечо, на ощупь нашел упавший, но, к счастью, уцелевший фонарик, включил его, обвел лучом внутренность пятитонника... И понял, что влип: от резких рывков и торможений контейнеры сдвинулись, и та щель, в которую он протиснулся, исчезла.

Отчаянные попытки раздвинуть ее оказались безуспешными. Нужен был какой-нибудь рычаг, но лом, которым Порсаков поначалу орудовал, остался снаружи, а кроме того, похоже, упал и откатился куда-то, так что до него в любом случае не дотянуться. Погромохивал, гад, где-то под полом контейнера. Зловещие, резкие звуки его перекачиваний словно издевались над Семкой.

Уже понимая безнадежность своих действий, воришка некоторое время еще бился и толкал дверь. Наконец, умаявшись, он обессиленно рухнул на какой-то тюк.

Локомотив разогнался во всю мощь, и теперь состав несло, мотало, било. Сквозь щели сквозило и выюжило. Семку начало знобить.

Делать было нечего, пришлось временно как-то обустраиваться в этой мышеловке. Порсаков выбрал из чужого гардероба полушубок попросторнее, накинул на свою куртешку и, согрившись, уныло и обреченно задумался. Он понимал: ничего не остается, кроме как ждать и надеяться, что рано или поздно, на каком-нибудь разъезде или сортировочной горке, при толчке или при торможении контейнеры хоть немного разойдутся и он, невольный узник своей глупости, как-нибудь протиснется бочком на свободу. С чистой совестью. Или почти чистой. Уж в контейнеры он больше лазать не будет, это точно!

Но думами, даже самыми праведными и благостными, сыт не будет. А есть уже хотелось.



При свете фонарика Семка стал потрошить тюки. Чужое барахло завалило его чуть ли не по пояс. Он сунул ноги в огромные унты, перетащил несколько одеял в угол, где меньше дуло, и свернулся там клубком. Дурманной волной навалилась усталость. Порсакова сморил сон, бездонный и тягостный...

Он проснулся, когда рассвело. Вспомнил все, поглядел на двери, по-прежнему плотно притиснутые снаружи, и тяжело вздохнул.

Еще сильнее захотелось есть. Семка перерыл чужие коробки. Из припасов нашлось только восемь закутанных в газеты бутылок водки, завернутый в два одеяла картонный ящик с шестью бутылками шампанского, по два десятка пачек печенья и вафель, ящик стущенки и наволочка с сухофруктами.

«Тоже мне дефицит! — подумал с издевкой воришка. — В любом магазине есть. Надо же было этим еще контейнер забивать...»

Он скovyрнул жестяную крышку с горлышка бутылки, глотнул несколько раз. Зажевал черносливинкой. Нагреб у двери контейнера горсть снега, сунул в рот. Язык и небо стянуло гадким привкусом ржавчины и опилок. Порсаков долго отплеывался, потом уселся на ящик с книгами и тоскливо задумался.

Эшелон стал притормаживать. Остановился.

Невольный пленник судорожно размышлял: «Влип так влип! И ведь людей-то не позовешь на помощь. Впяют по самое не могу: кража со взломом. Еще и с применением технических средств — лом-то вон катается-грохочет под контейнером. А мне сесть — это значит все, хана. К нормальной человеческой жизни потом не вернуться. Рецидивистом представят, ведь по малолетке уже имел пару приводов в милицию. И все нераскрытые случаи воровства на нашей сортировочной станции на меня повесят... Нет! Только не в тюрьму! Лучше сдохну здесь, в этом гробу».

Он снова отхлебнул из бутылки.

Поезд через пять минут тронулся, понемногу стал набирать ход.

Семка ощупал ящик, на котором сидел, встал, вывалил из него содержимое, разломал каркас. Бруски были хлипковатые и для рычагов явно не годились, но он все-таки попытался с их помощью раздвинуть контейнеры. Одно за другим орудия надежды с треском ломались, не давая пленнику даже как следует напрячься.

Снаружи темнело, стало заметно холоднее. Чтобы отвлечься, Семка начал рыться в книгах, валявшихся под ногами. Внимание его привлек большой фотоальбом.

Батарейки в фонарике понемногу садились. При тусклом, умирающем свете Порсаков стал перелистывать листы и рассматривать фотографии, читать шуточные дружеские подписи. Полистав, отбросил альбом, выключил фонарик и, прикрыв глаза, повалился на спину. Перед его мысленным взором стояли молодые улыбающиеся лица со свадебных снимков.

«Такие же, как я... Ну, может быть, на три-четыре года постарше. Мне тоже надо за ум братья, семью заводить».

Он от нечего делать стал размышлять о людях, чьи вещи теснились вокруг него. Мебель в полиэтилене, телевизор в огромной плоской коробке, посуда. У дальней стенки контейнера вертикально стоял двуспальный матрац.

«Переселенцы, наверное, какие-то. Соблазнились дальневосточными зарплатами да льготами. Вон у нас тоже нескольких путейцев уговорили. Меня и не уговаривали: опыту маловато...»

Эшелон мчался, казалось, все быстрее, словно под какой-то нескончаемый уклон. Проносились встречные составы: пассажирские пролетали легко и скоро, мелькали яркими отсветами окон; товарняки грохотали долго и так оглушительно, что Порсаков зажимал уши ладонями. Потом опять оставался только ровный и нестрашный шум его поезда.

«Вот и тряпки чужие греют плохо, — уныло размышлял неудачливый грабитель и зябко ежился. — Не свое, понятное дело, не согреет. Дурак я, дурак! Сейчас бы домой, картошечки бы поджарить, телевизор посмотреть... Жить бы, как люди добрые живут. Так нет, сундук подломить захотел влегкую.»

Только бы как-нибудь вылезти из этого гроба. И домой бы, домой! Хоть далеко меня, дурака, увезли, а добрался бы. Деньги есть — получка цела. Вот она, во внутреннем кармане куртки. Здесь-то не потратишь, что уж там говорить. Сохранней, чем в сберкассе. И паспорт при мне.

Интересно, в общежитии хватились, где я? Наверное, подумали, что поехал к своим в деревню. На работе оформили бы задним числом отгулы или еще как. Отпуск, например, за свой счет. Начальству прогулы мне ставить ни к чему — только показатели портить.

И завязал бы я с этим делом...»

Вдруг он взвился, перечисляя своим же благим намерениям.

«Черта с два ты завяжешь! В прошлом году, когда судили троих саляжат за контейнерные кражи, ты там, в зале, сидел и зарекался, клялся про себя, что не сунешься больше. И что?.. Вот и загибайся теперь здесь, дурень!» — выговаривал он себе.

— Ух, водка! Все ты, падла! — Семка рванул одеяло, бутылки разлетелись с жалобным звоном.

По одной ухватывая их за скользкие холодные горлышки, Порсаков просовывал руку в дверную щель и со злорадным уханьем разбивал очередную злодейку. Осколки стекла дребезжали в такт вагонным колесам. Запах спирта заполнил нутро контейнера.

Пленник устало опустил на не потрошенный еще тюк. Невыносимая, смертная тоска охватила его. Он вдруг грохнулся на четвереньки и стал отчаянно биться головой о стылый металл контейнерной стенки. Но энергичный ритм колес несущегося в ночи поезда перебивал безнадегу, тоску и отчаяние.

«Все! К чертям собачьим! На первом же полустанке заору во весь голос, буду звать людей. Пусть вяжут. Пусть садят! На зоне хуже не будет».

Но эшелон мчался и мчался по Сибири, не останавливаясь, даже не притормаживая. И Семка снова и снова в отчаянии падал на кучу



чужого имущества, и мотал головой из стороны в сторону, как пьяный, хотя выпитая водка давно выветрилась, и колотил кулаками по стенкам, пока совсем не обессилел.

Он щелкнул кнопкой фонарика. Батарейка, похоже, села окончательно. Во мраке Семка закутался в несколько одеял, свернулся клубком и забылся тяжелым сном. Ночью сильно трясло, болтало, качало и дергало; насквозь продирали мороз, и Порсаков, скрючившись, все пытался сохранить тепло.

На рассвете он проснулся, заоченев от холода и неудобства. С трудом пробрался к двери. Справил малую нужду и без особой надежды толкнул дверцу. Она послушно поддалась.

Она поддалась!

Семка выглянул. Щель между контейнерами стала шире! Боясь спугнуть свое счастье, он расстегнул куртку и стал протискиваться наружу из своей западни.

Поезд летел в рассветном сумраке.

«Вот сейчас тряханет вагон, да и раздавит меня, — вдруг мелькнула жуткая мысль. — А, ну и пусть давит! Все одно подохну здесь, пока до остановки, где меня найдут, доеду».

Он выбрался из своего заточения. И вовремя! Эшелон притормаживал. Контейнеры стали вновь со зловещей медлительностью сдвигаться.

«Хорошо, что куртка на мне, а то бы остался голым на морозе, и без паспорта, и без полочки», — подумал Семен.

Порывы ветра были неистовы. Порсаков кое-как сумел наглухо застегнуть куртку, набросил капюшон на голову и повернулся к ветру спиной. Пришлось присесть на корточки и вцепиться в борт платформы, чтобы не выкинуло с нее стремительным ходом поезда. Но вскоре Семка почувствовал, что коченеет и долго так не продержится. Со страхом глянул вниз, где яростно рвалась назад земля...

В это время эшелон стал изгибаться на повороте, и стало видно, что впереди долгий подъем. Поезд понемногу сбрасывал скорость.

Семен приготовился, подгадал так, чтобы не вмазаться в какой-нибудь столб, и, сиганув с платформы, кувырком полетел в снег.

Он полежал немного, пытаясь определить, не сломал ли себе чего, потом встал и, прихрамывая, побрел к видневшемуся невдалеке шоссе.

Там должны ходить машины. Там должны быть люди.

Константин КОМАРОВ

ПЛАНОВЫЙ СПЛИН

* * *

Собирает пожитки
батальон летних дней.
Осень. Листьев прожилки
все видней и больней.

Вот один из них, наг, лег
и сомлел, как в смоле,
в отражении наглom,
в смерти тонком стекле.

И мерцают растенья,
и стоят без идей
под статьями расстрельных
ненадежных дождей.

Вся размыта разметка,
и стучится в дома
ветровая разведка,
как слепая вдова.

Свет лежит, недолечен,
позабыв дрожь живых,
и уже недалече
до снегов дрожжевых.



* * *

дыр бул щыл
убеш щур
я стащил
твой прищур
на сетчатку свою
я тебя узнаю

сна анонс
подсмотрел
там до слез
постмодерн
пирсинг в персике губ
позолочен и груб

скарабеем скорбей
слов рассосан сосуд
зябко в сердце зыбей
спортом спорится гуд
как к тебе припадать
курс могу преподавать

в тамбуре — тамбурын
тембр шпал свет бурит
набирай напирай
в блеклый блейковский рай
ветераны-ветра
будут дуть до утра

собирайся
пора

* * *

Сквозь ленивые ливни все зримей зима,
и тяжел, как паслен, воздух дымчатых спален.
Средний хлама объем достигает холма,
что в потемках пометой присутствия свален.

И болеет в прихожей болоньевый плащ,
и садится на рамы осенняя плесень,
и зрачок, сквозь окно волоконное зрящ,
проплывал, проплывая, ткань облачных кресел.

И не спáлит никто этот плановый сплин
снегом кожи укрытого летнего тела.
И над шубою моль виснет как цеппелин,
и на шубу срывается оцепенело.

* * *

саше петрушкину

возникает сажа
заново огнем
шансов много саша
стать стене окном

выпьем где же кружка
водки на крови
это все петрушка
байки не травы

ангельского стажа
нынче твой сосед
шансов мало саша
умереть совсем

прогорает дважды
и огонь и дым
но войдет не каждый
в тайный твой тыдым

просто время шастать
в синей небеси
остаются шансы
задвигай шасси

* * *

Обложен облаками взяток
сырой октябрь и взят, как Зимний,
и листьев рыжие лисята
летят в президиум предзимья.



Легко на местности лесистой,
не зла подзолистость нагая,
и ржавая вода лисицей
мхи меховые обегает.

Со скоростью плевка — полвека
уснули тут в пространстве ясном,
беременеет время неким
безвременьем, но не опасным.

И не встречает воспрещенья
закат с оттенками кагора,
накладывая всепрощенье,
как пластырь пустыря — на город.



Руслан ВОРОБЬЕВ

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ В ТУРКМЕНЕ

В июле 1954 года Варлам Тихонович Шаламов обосновался в поселке Туркмен Конаковского района Калининской области (сейчас поселок относится к городскому округу Клин Московской области) — в более чем восьми километрах от железнодорожной станции Решетниково. До этого, вернувшись с Колымы и не имея права больше суток находиться ни в Москве, ни в Московской области (таков был запрет для бывших ссыльных), он пытался устроиться фельдшером. Согласен был и на мизерную зарплату в двести с лишним рублей, однако для получения работы требовалась прописка, которую получить он не мог («Я и не знал, что существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона»). С 29 ноября 1953 года по 12 июля 1954 года Шаламов работал мастером и товароведом в Озерецко-Неплюевском стройуправлении треста Центрторфстрой Калининской области. В Туркмене же 23 июля он получил должность агента по техническому снабжению на Решетниковском торфопредприятии Калининского торфотреста: работал «там, где и положено было работать человеку, имеющему паспорт по 39-й статье — в поселках с населением менее десяти тысяч человек». Платили четыреста пятьдесят рублей в месяц — чисто символическую сумму, которой с трудом хватало даже на голодную жизнь: «...сто рублей налоги и квартирная плата за койку в общежитии, обязательный “заём”... Но у меня был огромный опыт в экономном расходовании денег — на такой зарплате я проголодал более двух лет».

В Туркмене Шаламов снимал одну из трех комнат коммунальной квартиры, располагавшейся в двухэтажном доме № 90 на улице Центральной (этот дом был снесен в 1985 году). Другие комнаты занимали Лебедевы и Овчинниковы. Нина Васильевна Лебедева, доброжелательная и хозяйственная женщина, угощала Варлама Тихоновича картошкой и козьим молоком, иногда прибиралась в его комнате. Не только соседи по квартире, но и жители поселка в целом, которые так или иначе были знакомы с Шаламовым, вспоминали его как человека пусть и малообщительного, меланхоличного, замкнутого, сдержанного, временами откровенно мрачного с виду, но при этом непьющего, аккуратного, образованного, интеллигентного, деликатного в общении и манерах, готового всегда прийти на помощь... Более того, по словам одной



из жительниц Туркмена — Лидии Федоровны Старковой, в поселке никто не знал и даже подумать не мог, что Шаламов до приезда в их края полтора десятка лет находился в лагерях на Колыме. Сам Варлам Тихонович с благодарностью писал о здешних жителях: «Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием — такой, какого никогда не встречал на Колыме или в Москве».

Вот что говорила о нем Александра Федоровна Дроздова, тогда заведовавшая материальным складом Решетниковского торфопредприятия, где работал Шаламов:

Варлам Тихонович был высоким, широкоплечим, жилистым человеком с глубокими морщинами на обветренном лице. Носил кожаный черный пиджак, кирзовые сапоги и шапку-ушанку. Общался мало, слыл молчуном. Каждый день приходил к восьми утра в контору, его посылали по разнарядке за грузом. Привозил запчасти, спецодежду, инвентарь. Рабочий день был до пяти вечера. Варлам Тихонович груз сдавал на склад, я его принимала. Его семья [жена Галина Игнатьевна Гудзь и дочь Елена], кажется, в то время в Москве находилась. Он по выходным в столицу уезжал, хотя ему и запрещено было. Сама я тогда жила в Туркмене, а через дорогу находилось общежитие, где квартировался Шаламов. Его соседкой по коммунальной квартире была Надежда Филипповна Овчинникова. <...> У меня корова была. Варлам Тихонович часто молоко у меня брал, а сам из Москвы по моей просьбе сахара привозил. Водку не пил...

После работы Шаламов обыкновенно ходил в библиотеку, которая была собрана еще в 1940-х годах при поддержке главного инженера торфопредприятия Николая Васильевича Караева (в некоторых источниках — Кураев): тот «сам паковал и отправлял [из Москвы] драгоценные свои находки в тверскую глушь». Варлам Тихонович нередко читал до самого закрытия — до 22:00. По словам заведующей, Валентины Георгиевны Агеевой, которая была очень признательна ему за участливое отношение к ее образованию (по совету Варлама Тихоновича и благодаря его моральной поддержке она в середине шестидесятых решила поступить в Московский библиотечный техникум, который окончила в 1968-м), в такие вечера они вместе запирали учреждение, ключ же она отдавала Шаламову «для передачи уборщице клуба, которая топила библиотеку, чтобы <...> не ходить к ней утром. Это он исполнял с большим желанием».

Спустя годы Шаламов вспоминал:

...Встретил я, к своему величайшему удивлению, замечательную богатейшую библиотеку. Библиотекарьша была сторожем книжных сокровищ. Библиотека была загадкой. Культурный облик библиотекарши — а она работала тут более десяти лет, не давал права думать, что книги собраны ее трудами. Это была библиотека, составленная умелой и уверенной рукой из книг, купленных в букинистических магазинах. Здесь были классики, русские и иностранные, богатейшая мемуарная литература. Кони, Горбунов, Михайлов, Фигнер, Кропоткин.

Письма Чехова, изданные Марией Павловной, Ибсен, Андреев, Блок, прижизненное издание Державина.

В основном ее каталоге не было ничего лишнего, ничего случайного.

Вообще, книга для Шаламова — «лучшее в жизни, это духовная опора, верный товарищ во всякой беде».

Однако не всегда у него были силы или хотя бы возможность приходить в библиотеку и читать «сколько-нибудь удовлетворительно»: тяжелая работа, подразумевавшая, помимо прочего, частые поездки по Калининской области, изнуряла его, к тому же именно в это время, с июля 1954-го по октябрь 1956-го — годы жизни в Туркмене, он «...старался обогнать время и писал день и ночь — стихи и рассказы» («Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни строки, не сумею написать всего, что хотел»).

Годом 1954-м датированы рассказы «Апостол Павел», «Заклинатель змей», «Ночью», «Плотники» и двадцать три стихотворения; 1955-м — рассказы «В бане», «Одиночный замер» и «Татарский мулла и чистый воздух» и восемь стихотворений; 1956-м — рассказы «Инжектор», «Букинист», «Геркулес», «Кант», «Медведи», «На представку», «Первая смерть», «По снегу», «Сгущенное молоко», «Хлеб», «Шоковая терапия» и сорок два стихотворения.

То была, по словам Ирины Емельяновой, дочери возлюбленной Шаламова Ольги Всеволодовны Ивинской, «послеколымская Болдинская осень, вернее — весна», «когда накопленный опыт не удержать, он жаждет стремительной переплавки в слово».

Впоследствии все упомянутые рассказы вошли в циклы «Колымские рассказы» и, в значительно меньшей степени, «Левый берег», а большая часть стихотворений — в цикл «Колымские тетради» (считается, что некоторые были сочинены в уме еще в лагерях, а доработаны на бумаге уже в Туркмене).

Стихотворения «Гроза», «Июль» (1954) и «Гнездо» (1956) были включены Шаламовым в подборку «Стихи о Севере», явившуюся его первой поэтической публикацией — в майском номере журнала «Знамя» за 1957 год.

Рассказы, в отличие от стихотворений, публиковались не ранее лета 1987 года — уже после смерти писателя.

Однако сложно определить, насколько эти произведения являются «туркменскими»: поэзия тех лет, равно как и проза, вдохновлена событиями и впечатлениями, связанными конкретно с Колымой, с Севером... Можно, конечно, предположить, что жизненный материал 1954—1956 годов в той или иной мере отразился на творчестве этого непродолжительного, но крайне плодотворного периода, правда, подтвердить это предположение примерами из самих произведений невозможно.

Из переписки Шаламова с Борисом Леонидовичем Пастернаком известно, что начиная с 1953 года Пастернак частями передавал и присылал Варламу Тихоновичу роман «Доктор Живаго». В целом Шаламов с восхищением отзывался о романе, ставил его в один ряд с произведениями Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и Ф. М. Достоевского, подчеркивал обилие «ценнейших наблюдений», при этом временами был категоричен: «200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это роман о Ларисе»; «Ваш язык народа — все равно, рабочий ли это, крестьянин ли





или городская прислуга, Ваш народный язык — это лубок, не больше»; «Все, что Живаго успел сказать, — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало, по сравнению с тем, что он мог бы сказать»; «О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело — красиво о них говорить. Но это все фальшь и ложь. Это — будущие кадры уголовщины...» и т. д.

Борису Леонидовичу же он отправлял свои стихотворения: «В новых стихах я все в старой теме, и вряд ли отпустит она меня скоро. Рассказы, которые начал писать, достаются мне с большим трудом — там ведь ход совсем другой» (от 24 октября 1954 года). Прозу он в принципе посылал неохотно, несмотря на то что его рассказы публиковались в газетах и журналах с осени 1935 года. Пастернак всегда был честен в своих оценках — еще летом 1952-го при критическом рассмотрении произведений Варлама Тихоновича он дал себе решительную установку: «И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости...» В первых полученных от Шаламова стихотворениях как «слабую сторону» он обозначил «постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях... к откровенному каламбуру». Варлам Тихонович с искренней благодарностью принял замечание великого писателя: «Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность... <...> Я так боялся, что Вы ответите пустой, ненужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было», — при этом позднее отмечал, что в целом Пастернак оценил его произведения «незаслуженно высоко».

Уже в начале июня 1954 года Борис Леонидович с восторгом отозвался в письме о «синей тетради» Шаламова: «...тетрадь, еще недочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторг. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где дочитаю до конца и перечту еще раз заново», — а 27 октября написал: «Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта». Впоследствии Пастернак часто показывал или читал знакомым стихотворения Варлама Тихоновича, хранил их в столе, рекомендовал к публикации редакторам журналов и альманахов, однако тогда, в 1950-е годы, печатали их неактивно. Борис Леонидович утешал Шаламова: «Ваши стихи будут печататься тогда, когда я буду свободно печататься». Но для того публикации и не были главной целью: он желал в первую очередь «выговориться на бумаге».

Что не менее важно — в переписке оба рассуждали, порой даже спорили о природе творчества («Я понял, что писателя делает поэтический напор прочувствованных впечатлений, как будто слова, спасаясь от пожара, возникшего от случайной причины где-то внутри, вырываются в давке и выбегают на бумагу»), поэзии («Она показала возможность размышления над судьбами жизни, возможность, превосходящую в некотором важном отношении средства художественной прозы... Это стихотворное размышление... самую природу свою звуковую и свое

ритмичное музыкальное начало делает средством искания истины. Никакое другое искусство не обладает такой важной особенностью»), талантах настоящего писателя («острая наблюдательность, дар музыкальности, восприимчивость к осязательной, материальной стороне слова»), своеобразии тогдашней отечественной и зарубежной литературы (чаще всего — об Э. Хемингуэе, произведения которого высоко оценивал Шаламов, и «творчески бесталаных», по его мнению, А. А. Суркове, Е. А. Долматовском, К. М. Симонове, С. С. Смирнове и других)...

В письме сценаристу, драматургу и переводчику А. З. Добровольскому от 13 августа 1955 года он писал о задумке «книги» грандиозного (по тематике и обилию художественных средств) масштаба — чего-то сродни великому русскому роману:

Одной из любимых, выношенных тем моих была тема колымской семьи с ее благословенными браками «на рогожке», с ее наивной и трогательной ложью мужа и жены (в лагере), диктуемой страстным желанием придать этим отношениям какой-то доподлинный вид, лгать и заставлять себя верить, писать на старую семью и создавать новую, — благость взаимных прощений, новая жизнь в новом мире, означаемая старыми привычными словами, — и всё это отнюдь не профанирование любви — брака, а полноценная, пусть уродливая, как карликовая береза, но любовь. Это бездна энергии, которая тратится для личной встречи. Эта торопливость в «реализации» знакомства. Это *crescendo* развития романа — и светлое, горящее настоящим огнем, настоящей честностью и долгом все великолепие отношений (хотя бы, как у Португалова и Дарьи, роман, перед которым ей-ей бледнеет все, о чем читалось), и много, много не уложить в письмо.

Здесь — книга, и, если Бог даст силы и время, я напишу ее. Но я измучен, измучен дурацкой работой, отсутствием всякой душевной поддержки во всех моих начинаниях и мечтах, когда нужно проверить слово, идею, сюжет и не с кем. Я думал, неужели я такая бездарность, что не могу заставить людей выслушать себя. Мне есть, о чем сказать, и, кажется, я знаю, как это сказать.

Стоит отметить, что, по сути, написать такую «книгу» ему удалось: ею оказался цикл «Колымские рассказы».

Известно, что летом 1955 года Шаламов специально ездил в Москву на выставку «Шедевры Дрезденской картинной галереи», где он, по сути, открыл для себя истинный гений Рафаэля Санти, которого до того считал не более чем «талантливым художником, любимцем судьбы, поставщиком заказных портретов на вкус очередного папы, придворным богомазом» и которого никак не мог поставить в один ряд с Микеланджело Буонарроти и Леонардо да Винчи:

И вот я... перед Сикстинской мадонной. Я ошалел. ...я понял, кем был Рафаэль, что он знал и что он мог. Ничего в жизни мне не приходилось видеть в живописи, волнующего так сильно, убедительно. Женщина, идущая твердо, с затаенной тревогой в глазах, сомнениями, уже преодоленными, с принятым решением, несмотря на ясное прозрение своего тяжелого пути — идти до конца и нести в жизнь сына, больного ребенка на груди, у которого в глазах застыла такая тревога, такое неосознанное прозрение своего будущего — не Бога, не Иисуса, не Богоматери, а обыкновенной женщины, знающей цену жизни, все ее многочисленные страдания и редкие радости, и все же исполняющей свой долг — жить и страдать, жить и отдать жизнь своего сына.





Чуть позднее Шаламов посетил и Эрмитаж в Ленинграде. Итогом этих двух поездок стали размышления об искусстве и таинстве творчества, древнерусской живописи и великих художниках Отечества и зарубежья, воспоминания о посещении бывшей Шукинской галереи. Он был вдохновлен картинами А. Матисса, П. Сезанна, Я. ван Рёйсдаля, Я. Вермеера, Р. Р. Фалька, В. Ван Гога... При этом к творчеству П. Пикассо отнесся категорично: «...не разделяю ни преклонения, ни ненависти в отношении этого художника. Правда... был его небольшой холст “Свидание”, который хорошо запомнился. Но мудрствование над душой музыки, ей-ей, мне не по сердцу».

Из письма Я. Д. Гродзенскому мы знаем, что 25 февраля 1956 года Варлам Тихонович, «стоя у столба с репродуктором на торфопредприятии “Туркмен”», слушал доклад «О культе личности и его последствиях». Конкретных мыслей он по этому поводу не высказывал, но точно известно, что никаких антисоветских настроений у него не было — было лишь желание, чтобы сама «сталинская система» ушла в небытие: «Однако государство существует, и не уважать его, не считаться с ним, противопоставлять себя ему нельзя».

Примерно в это же время за ним началась слежка (с «фотофиксацией») со стороны Калининского и Магаданского управлений КГБ. Причин этому было две. Первая состояла в том, что еще 18 мая 1955 года Шаламов подал заявление о реабилитации (перед агентами стояла задача установить и задокументировать любые «антисоветские» действия и высказывания; таким образом писателя проверяли на лояльность к советской власти), вторая — в том, что, как указывалось в деле, Варлам Тихонович — «в прошлом активный троцкист». Слежка, кстати говоря, велась на протяжении нескольких лет — даже после выдачи Шаламову справки о реабилитации.

В 1956 году, 24 июня, Шаламов на даче Пастернака прочитал свои стихотворения «Камея» (последняя редакция стихотворения — «туркменская»), «Розовый ландыш» (хотя дата написания не указана, можно предполагать, что это стихотворение было сочинено в Туркмене) и цикл «О песне», чего он желал, как сам указывал, «более 25 лет»: «...для меня этот день не просто встреча, лстящая самолюбию, что ли, не просто “честь”, не только “признание”, “рукоположение”. Это — осуществление сердечнейшего, затаеннейшего из загаданного...»

Тем же летом произошел разрыв отношений с Ольгой Ивинской. Шаламов узнал, что, оказывается, последние месяцы он был «невольным» соперником Пастернаку — своему близкому другу — «в борьбе за сердце любимой». В письме Ольге Всеволодовне он с нескрываемым раздражением отвергнул ее за ложь (за все время близости она даже не намекнула ему, что состоит в серьезных отношениях с Борисом Леонидовичем), в ответ на что получил лаконичное и полное мстительной злобы решение Ивинской, оказывавшей на Бориса Леонидовича значительное влияние: «Пастернака ты больше не увидишь». И правда, с тех пор Шаламов с Пастернаком больше не виделись и не переписывались; несмотря на это, Варлам Тихонович всегда упоминал его только с теплотой и уважением.

Восемнадцатого июля пришло решение от Военной коллегии Верховного суда СССР по делу о реабилитации Варлама Тихоновича № 4н-04762/56:

...Соглашаясь с протестом и не усматривая в действиях Шаламова состава преступления, Военная коллегия определила: приговор военного трибунала в/НКВД при «Дальстрое» от 23 июня 1943 г. и постановление Особого совещания НКВД СССР от 2 июня 1937 г. в отношении Шаламова Варлама Тихоновича отменить и оба дела о нем на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР производством прекратить.

Председательствующий Костромин, члены Конов, Фуфаев.

Сама справка о реабилитации — «дело прекращено за отсутствием состава преступления» — была выдана ему только 3 сентября в управлении КГБ Калининской области.

Незадолго до получения справки, 28 августа, он писал Галине Игнатьевне Гудзь, на которой был женат с 1934 года, но отношения с которой, по возвращении Шаламова с Колымы, ухудшались чуть ли не с каждым днем (известно, к примеру, что первую ночь в Москве он провел не дома: Галина Игнатьевна не рискнула пустить бывшего ссыльного):

Думаю, что нам ни к чему жить вместе. Три последних года ясно показали нам обоим, что пути наши слишком разошлись и на их сближение нет никаких надежд.

Я не хочу винить тебя ни в чем — ты, по своему пониманию, стремишься, вероятно, к хорошему. Но это хорошее — дурное для меня. [Это я чувствовал с первого часа нашей встречи. — *Зачёркнуто автором.*]

Будь здорова и счастлива.

Что есть у тебя из моих вещей (шуба, книжки, письма), сложи в мешок — я приеду как-либо (позвонив предварительно) и возьму.

Этому письму предшествовало ухудшение отношений не только с женой, но и с дочерью. Елена Варламовна не приняла его с самого начала: укоряла за то, что он редко писал, практически не посылал ни ей, ни Галине Игнатьевне телеграмм и открыток, должным образом «не отплатил матери за все ее жертвы», более того — презирала его за мировоззрение. Будучи комсомолкой, она писала в анкетах, что ее отец мертв, на протяжении всей жизни не давала никаких комментариев о нем и его творчестве.

С 1956 года Шаламов больше не общался ни с Галиной Игнатьевной, ни с Еленой Варламовной.

Переезжая в Москву в конце октября, Варлам Тихонович в «разрыве поездных расписаний» вместе с экскурсией побывал в клинском Доме-музее П. И. Чайковского. Под впечатлением от услышанного и увиденного он написал, уже в 1957 году, размышление «Чайковский — поэт», которое было опубликовано в том же году в сентябрьском номере журнала «Москва».

Больше Шаламов в Туркмен не приезжал — разве что упоминал поселок в воспоминаниях и некоторых письмах.

Литературный конкурс «Иду на грозу»

Элино́р ПЭЙТ

ШАТУН

*О жизни и творчестве первого научного сотрудника
Саяно-Шушенского заповедника Б. П. Завацкого*

Однажды маленькой девочкой я совершенно случайно вошла впервые в царство заповедной науки. Дверь со скрипом, нехотя приоткрылась передо мной, и первым, что я увидела в полумраке прокуренного кабинета, были черепа медведей на полках и стеллажах, застывшие в зловещем оскале. Желтые острые зубы слегка поблескивали в косых солнечных лучах. Черепов было сто, а может, и больше. К каждому была прикреплена бирка, подписанная аккуратным и легким почерком. Немного придя в себя, я заметила за столом худенького, невысокого человека с ясными, как небо, прозрачными голубыми глазами, рыжеватой бородой и сигаретой в зубах. Он заглянул мне прямо в душу, вынул сигарету и весело сказал: «Ну проходи, садись, закуривай!»

Так начиналось мое знакомство с Борисом Петровичем Завацким, человеком-легендой, кандидатом биологических наук, первым научным сотрудником Саяно-Шушенского биосферного заповедника, одним из лучших отечественных специалистов по бурому медведю.

На встречу с Борисом Петровичем меня привел отец, любивший представлять мне неординарных, талантливых людей, общение с которыми должно было повлиять на мое развитие. Я сопротивлялась для вида — было неловко отвлекать такого важного человека от работы, и я была стеснительным ребенком, но в то же время очень хотелось посмотреть на «медведеведа»: с детства мне было близко все, что связано с природой. Воображение рисовало могучего былинного богатыря, который без тени страха вступает в схватку с хозяином тайги. Уже заранее я робела перед ним. Однако контраст между ожиданием и действительностью был разительным. Борис Петрович оказался совсем не богатырем. Совсем не грозный и не страшный, с сединой в волосах, но с мальчишески юным, озорным и веселым взглядом. Такой взгляд очень часто встречался мне потом у настоящих «заповедных людей». В нем — и хитреца, и любовь к жизни во всех ее проявлениях,

и задор, столь не свойственный «серьезным ученым». А вот чего в этом взгляде не было, так это высокомерия, чувства собственной значимости и превосходства над другими. Об отсутствии упомянутых качеств свидетельствовало и то, что Борис Петрович, очень занятой человек, на котором тогда и держалась наука в заповеднике, нашел время, чтобы поговорить с маленькой девочкой. Если бы в антропосфере было больше таких людей, умеющих с шуткой, не ожесточаясь, встречать любые невзгоды, учащихся человечности у зверей и ценящих мир, то, возможно, сейчас мы обходились бы без кровопролитных вооруженных конфликтов, которые всё никак не могут закончиться.

С Борисом Петровичем мы не то чтобы подружились, но нашли общий язык. «Я слышал, ты писательница! — весело сказал Завацкий, вгоняя меня в краску. — Вот и я немного пишу. Хочу, чтобы ты прочла мой рассказ, а потом принесешь и расскажешь, что о нем думаешь!» С этими словами он вытащил из ящика стола рукопись, набитую еще на печатной машинке, и вручил мне. Когда мы прощались, у дверей он напомнил: «Только принеси обязательно! Единственный экземпляр тебе даю!»

Придя домой, я закрылась в комнате и начала читать рукопись рассказа, который по объему и содержанию был скорее повестью. Из комнаты не выходила до самого глубокого вечера, пока не перелистнула последнюю страницу, — настолько захватило меня написанное. Поток живой, чистой и самобытной речи, словно таежный ручей, лился легко и непринужденно, сверкая редкими сибирскими диалектизмами, забавными поговорками и, конечно, юмором, который Завацкому был необходим как воздух. В повествовании было два героя-антагониста — человек и зверь. Человек — охотник, захвативший в таежное зимовье с собаками, чтобы добыть по чернотропу¹ соболя. В нем я легко узнала черты самого автора, не только по бороде, которую он носил с гордостью, но и по любви к тайге — в самом высоком и потаенном смысле. Любовь эта читалась между строк, и печать ее лежала на всем. Как влюбленный может описывать прекрасные девичьи черты и формы, так Завацкий описывал каждую ложбинку на пути своего героя, звенящую тишину седых вершин, звездный свет, скользящий сквозь кроны заснеженных кедров, скрип камусных лыж по схваченному первым морозцем снегу. Это была настоящая поэтическая проза, сравнимая с одой Джека Лондона белому безмолвию, но с приключениями, юмором, забавными персонажами, прототипами которых становились реальные сотрудники заповедника. Зверем, конечно же, был медведь, хозяин тайги, и автор рисовал его образ с математически выверенной точностью, без лирики, но в то же время с уважением к его силе и могуществу, без пренебрежения и цинизма, свойственного многим охотникам и некоторым зоологам. Поначалу главы о жизни зверя и человека чередовались, но по мере того, как охотник вторгался все глубже во «владения» медведя, конфликт между героями становился неизбежным. Медведь задавил и съел собаку

¹ *Чернотроп* — время осенних холодов до выпадения снега.





охотника — смелую лайку, горячо любимую хозяином, увязавшуюся за зверем и не отступавшую до конца. Следующей по закону развития сюжета стала схватка хозяина тайги уже с человеком — с подробностями, будоражившими мое воображение. Это и смрадное, тяжелое и теплое дыхание зверя, ярость в его маленьких черных глазах, его невероятная сила, которой нет равных. И гибель медведя была не подвигом со стороны охотника, а драмой, которой, наверное, можно было бы избежать. Финал этой истории свидетельствовал о том, как сам «медведевед» относился к объекту своего изучения. Ведь поначалу обилие черепов вызвало в детском моем сознании множество вопросов, которые я стеснялась задать вслух, но которые волновали меня совсем не по-детски: так ли необходимо убивать, чтобы изучать?

Несколько дней я проживала эту историю, вполне реалистичную, сюжетно даже тривиальную, и мне хотелось сказать о ней что-то умное и серьезное, чтобы оправдать доверие автора. Но когда я снова пришла к Завацкому в кабинет и положила рукопись на стол, то вместо умного трактата, законспектированного в моей голове, выдала только одну фразу: «Это лучшее, что я читала про медведей!» Наверное, Борис Петрович ждал от меня чего-то другого, но моя искренность его тронула, и он вынул из стола еще одну свою рукопись.

Так начался наш с ним обмен литературным творчеством. Я приносила ему свои наивные по тому времени «записки натуралиста», которые он просматривал и очень мягко критиковал за биологические неточности. Однажды, правда, прочитав мой не слишком удачный рассказ о белке, он сказал сурово: «Лучше пиши стихи!»

Стихи он сам был не прочь писать. Сочинял и походные песни, и веселые прибаутки, к которым сам же и придумывал мелодии, подыгрывая себе на музыкальных инструментах — владел он, похоже, всеми, кроме гитары: «Почему-то к ней душа не лежит!»

Литературное общение с Борисом Петровичем открыло мне мир заповедника, познакомило не только с его обитателями — зверями и птицами, но и с заповедным фольклором, жизнью людей, занятых важным делом изучения и охраны природы. Передо мной эти люди представляли живыми, яркими, самобытными. Среди них запомнился Паря Блямба, которого звали по-настоящему Александр Сухомятов (вроде бы он был лесником и жил на одном из кордонов). Прозвище он получил за необычную присказку «Паря блямба!», которую вставлял там, где другой человек вернул бы матерное слово. Присказка эта была звучной, необычной и запоминалась лучше самого имени этого человека, любившего устраивать представления, веселить и всячески развлекать сотрудников, оторванных от культурной жизни во время работы на труднодоступной территории, без телевизора и радио. Паря Блямба исполнял песни и частушки, подыгрывая себе на гармонике, а еще был известен тем, что умел гнать самогон из прошлогоднего варенья. В своих рассказах и очерках Борис Петрович подробно описал весь процесс самогонварения, довольно непростой в моем представлении. «Может, не надо так подробно? — спрашивала его я. — А то ведь

читатели захотят повторить!» Но, как человек науки, Завацкий выступал за достоверность. Он доверял мне поправить орфографию, расставить простым карандашом недостающие запяты, однако смысловую нагрузку никогда не менял и всегда стоял на своем.

Борис Петрович знакомил меня не только со своим творчеством, но и с произведениями о природе, написанными его коллегами. Однажды он предложил мне купить за символическую цену книгу С. Н. Линейцева «Зимовье на Аяне», чтобы поддержать автора, биолога-охотоведа, который, как и многие, издавал книги за свой счет и продавал друзьям, чтобы окупить расходы. Помню, как через неделю я пришла к Завацкому со всеми своими сбережениями и горячим желанием приобрести все книги Сергея Николаевича. Именно Завацкий и свел нас впервые. Дружба с незаурядным, эрудированным Линейцевым, впоследствии заместителем директора Саяно-Шушенского заповедника по научно-исследовательской работе, началась именно тогда. Это еще один человек, повлиявший на мое мировоззрение и мою судьбу, о котором однажды я расскажу отдельно.

Биография с географией

Борис Завацкий родился 12 января 1937 года в Воронеже, в интеллигентной семье педагогов. Мама его была учительницей русского языка и литературы. Именно ей он обязан своим литературным даром, поскольку она привила мальчику любовь к сочинительству, вложила в него языковое чутье, без которого можно писать грамотно, но никогда не стать художником слова. Отец был специалистом широкого профиля и, по воспоминаниям самого Завацкого, преподавал все остальное — «от физики до физкультуры». В этот спектр входила и музыка. Поэтому от отца Борису осталось богатое наследство — способности к естественным наукам, интерес к природе и музыкальный слух. «Виноваты гены-хромосомы!» — шутил о себе Борис Петрович.

Когда в 1941 году фашисты шагнули на воронежскую землю, отец Бориса воевал на фронте, а мать с двумя маленькими детьми успели эвакуировать в Новосибирскую область. Боре тогда было всего четыре года, но он был старшим ребенком и опорой матери в отсутствие отца. Детство его было трудным. Непривычный для воронежца сибирский холод — первая зима выдалась особенно суровой. Голод во время войны, когда все продовольствие отправлялось на фронт, а в селах не оставалось почти ничего. Но все равно голод этот был терпимым в сравнении с тем, что приходилось переживать ленинградцам во время блокады. Многих блокадников эвакуировали туда же, в Новосибирск, и уже на новом месте некоторые умирали от истощения. Юному Борису навсегда врезался в память один эпизод: в первом классе его сосед по парте, эвакуированный из Ленинграда, умер прямо во время урока — детский организм не выдержал голодного обморока.

Спасение для многих крылось в богатой сибирской природе, тайге-кормилице. По соседству с семьей Завацких жил охотник, татарин





по национальности, очень хороший и добрый человек, который пожалел мальчика и взял над ним шефство, пока отец Бори воевал на фронте. «Он меня и приучил к тайге!» — с благодарностью рассказывал о нем Завацкий. Охотник научил его рыбачить в речке Омке, и Борис спасал своим уловом и себя, и близких от голодной смерти. Весной они вместе с татаринoм зорили птичьи гнезда. Летом и осенью собирали в лесу грибы и ягоды. Когда Боря стал чуть постарше и пошел во второй класс, охотник научил его изготавливать и ставить петли на зверя. Петлями мальчик ловил косачей и куропаток, капканом — ондатру. Все, кроме ондатры, съедалось в семье. Ондатру же обдирали, шкурку пускали в хозяйство, а тушки сдавали в местную чайную: там ее хитро подавали клиентам под видом утятины в соусе. Так благодаря дарам природы Борис не только выжил сам, но и спас всю семью от голодной смерти. Только вот своего ружья у него пока еще не было. Однако судьба снова вмешалась и преподнесла мальчику подарок.

Однажды, когда Борис учился уже в седьмом классе, мать поручила ему разбить в огороде новую грядку. Он послушно взял лопату и стал копать. Внезапно лопата уткнулась во что-то твердое — оказалось, что это было ружье, обернутое в ветошь, рассыпавшуюся в руках. Очевидно, оно было закопано еще во время революции 1917 года — вот



Б. П. Завацкий. Фотография предоставлена Т. Д. Мухамедиевым

это надежно спрятали! Восторг ребенка не описать словами: ружье, пролежав несколько десятилетий под землей, оказалось рабочим! Только вот приклад сгнил, но заменить его оказалось несложно — Боря вырезал новый на уроке труда, где у детей был доступ к плотницким инструментам. И так, ружье появилось, но к нему не было патронов. Война к тому времени уже закончилась, и достать их было не так-то просто. И здесь Завацкий проявил находчивость, научившись самостоятельно изготавливать порох на химическом кружке, который посещал в школе. Дробь он выковыривал из глины на стрельбище, а капсули покупал на деньги, которые платили в чайной за ондатр.

Однако мальчишеская радость длилась недолго. Борис решил «наказать» ворону, воруящую с огорода крошечных цыплят. Саданул по коварной птице, а выстрел услышал участковый милиционер. Он прибежал и отобрал ружье, так как разрешения на него в семье не было, да и не положено несовершеннолетним иметь огнестрельное оружие. Позже выяснилось, что милиционер сам любил охоту и оставил ружье себе.

А между тем судьба вела Завацкого, пусть и окольными путями, к будущему делу всей его жизни — изучению биологии бурого медведя, истинного царя сибирской тайги. Трудно поверить, что первого своего медведя он убил в пятнадцатилетнем возрасте и без единого выстрела, поскольку ружье тогда уже отобрал милиционер.

Борис и его друг плыли на лодке по Иртышу. Друзья остановились, чтобы порыбачить удочками с лодки, и вдруг заметили медведя в воде: зверь переправлялся вплавь через реку, в сторону села. Подросткам, конечно, стало любопытно, захотелось понаблюдать за ним. Подплыли к нему поближе, а он вдруг кинулся к лодке решив поживиться незадачливыми рыбаками. Мальчишки взяли за весла и начали грести прочь, но было уже поздно. Медведь их нагнал и ловко выпрыгнул из воды, пытаясь навалиться всем телом на лодку и потопить ее, однако промахнулся. И тогда Завацкий веслом нанес смертельный удар по уязвимому месту в черепае зверя. Так щуплый на вид пятнадцатилетний подросток одним ударом успокоил хозяина тайги, не растерявшись и не успев испугаться по-настоящему. Убитого зверя привязали к лодке, привезли домой и съели: мясо медведя жирное, вкусное — настоящий пир был в непростое, голодное время.

Юный охотник, с детства узнавший и полюбивший тайгу, мечтал выучиться на биолога-охотоведа, но знаменитый ИСХИ, где готовили таких специалистов, находился тогда в Москве — большом, чужом городе, в котором у Бориса не было ни жилья, ни друзей, ни знакомых. Поэтому Завацкий поступил в новосибирский сельхозинститут, выбрав хоть как-то связанную с природой специальность — агроном. После учебы он по распределению был направлен в Якутию, но по пути к месту работы остановился в Иркутске, узнав о том, что из Москвы ИСХИ переехал в Сибирь. Наконец-то у него появилась возможность осуществить мечту. Борис подал в заветный вуз документы и как бы между делом с блеском сдал все экзамены. Его сразу же зачислили





на заочное отделение. Казалось бы, неправильно такое образование получать дистанционно, ведь в нем самое важное — это практика. Однако практика у Бориса началась, когда четырехлетним малышом приехал он в Сибирь из Воронежа, и с тех пор не прекращалась. Даже пожилые опытные охотники-сибиряки относились к нему с большим уважением. Не хватало лишь научной грамотности, той самой теории, которую вполне можно изучать и дистанционно. Обустроившись на новом месте работы, Завацкий с интересом читал учебники, готовился к экзаменам и зачетам.

Его годы работы главным агрономом Усть-Алданского района Якутии пришлось на время хрущевского режима, знаменитого тотальным и необдуманном насаждением кукурузы в зонах рискованного земледелия. Эта волна докатилась и до Крайнего Севера. На очередном совещании Совмин Якутской АССР постановил: «Прибыли семена кукурузы с Украины. Закупайте!» Конечно, любой образованный человек понимал, что эта южная культура в местном климате вымерзнет, но коллеги боялись прогневить руководство и вынуждены были закупать семена. Один лишь Завацкий нашел в себе мужество ответить твердым отказом, еще и добавил, что глупая это затея. «Что, сам товарищ Хрущев меньше тебя понимает?» — рассердился на его прямоту министр. «В земле якутской — да!» — парировал Завацкий. И хотя закупать семена он отказался, их за счет государства доставили ему вертолетом к самому дому. Чтобы доказать свою правоту, он все же посеял пару гектаров. «Королева полей», конечно, замерзла. Зато благодаря Завацкому местные колхозы, в отличие от соседей, не столкнулись с голодом, потому что процент под посадку кукурузы был совсем незначительным, а все остальное на полях выросло-вызрело.

Работа агронома казалась Завацкому слишком скучной. Приходилось много заниматься бумажной волокитой, ездить по подопечным колхозам, а он тосковал по охоте, ночам у костра с собакой — таежной романтике, в которую окунулся с самого детства.

Окружавшие его люди представляли коренное население Якутии. Многие не говорили по-русски. Зато сам агроном выучил за год якутский язык, узнал культуру и обычаи народов Севера. Это очень помогло ему впоследствии, поскольку местные охотники и оленеводы, не радовавшиеся появлению колхозов и земледелию, привыкшие кочевать и выживать на подножном корме, со временем прониклись к нему уважением. И сам Завацкий действовал деликатно, не насаждал против воли жителей директивы сверху.

Русских в районе было всего несколько человек: Борис Петрович, синоптик с метеостанции, геолог и женщина-медик — молодая, симпатичная, неглупая. Встречу с ней можно назвать встречей двух одиночеств. Оба молодых специалиста переживали, что так, в работе, и пройдут лучшие годы, а позднее не останется времени и сил на создание семьи. Поэтому они не стали откладывать и поженились довольно быстро. После свадьбы супруга родила Борису Петровичу двоих сыновей. Несмотря на рождение детей и связанные с этими событиями хлопоты,

она взяла пример с мужа и отправилась получать второе образование, там же, в Иркутске, поступив на геологический факультет. На сессии супруги ездили вместе. Любовь к природе и походная романтика жили в них обоих, но нашли проявление в разных сферах.

Работу, казавшуюся скучной, рутинной, Борис Петрович решил сменить. И, будучи уже старшекурсником, ушел с должности главного агронома и устроился егерем, перебравшись на север Красноярского края.

Эти новые места стали для Завацкого памятными: тайга, горы — девственная, нетронутая природа; суровые, но доверчивые и справедливые сибиряки. Местные жители — и представители малочисленных коренных народов, не ожидавшие поначалу от «белого человека» такого знания тайги и привычек ее обитателей, и вороговские старообрядцы, жившие общиной и избегавшие контактов с миром извне, — прониклись уважением к Завацкому. Начальство тоже благосклонно относилось к грамотному работнику, и за короткий промежуток времени Борис Петрович прошел путь от егеря до главного охотоведа, а затем стал директором госпромхоза.

Параллельно с работой он учился в заочной аспирантуре НИИСХ Крайнего Севера в Норильске.

Дерсу Узала Саяно-Шушенского заповедника

Заканчивая аспирантуру, Борис Петрович пришел к серьезному решению, которое поняли и приняли не все, включая даже членов семьи. В расцвете сил заняв «хлебный» пост директора госпромхоза, он мог на солидную зарплату обеспечить себя и семью, заработать «северную» пенсию и провести оставшиеся годы жизни в более приятном климате, ни в чем не нуждаясь. Работа давалась ему легко, коллеги относились с уважением, охотники и олениводы величали по отчеству, и даже местные старообрядцы почитали за своего. Однако Завацкий оставил начальственную должность, чтобы отправиться младшим научным сотрудником в организованный в 1976 году Саяно-Шушенский заповедник, располагавшийся на юге Красноярского края и граничивший с Хакасией и Тывой.

Многим до сих пор непонятно такое его решение, и сам Борис Петрович на мои вопросы об этом сознательном «понижении» только отшучивался, мол, стало ему скучно. Но, будучи человеком глубоко интеллигентным и эрудированным, он хотел, с одной стороны, развиваться дальше и повышать свою научную грамотность, а с другой — вместо того, чтобы бездумно пользоваться природными ресурсами, горел желанием изучать их. Ему нужно было лучше понимать происходящие в экосистемах процессы и, в конце концов, не только принимать дары природы, но и дать ей что-то взамен, разработав комплекс мер, направленных на восстановление редких видов. Сыграла свою роль и любовь Завацкого к путешествиям и приключениям. В душе он на протяжении всей жизни оставался романтиком, не мыслящим своего существования без движения, походов, ночного костра. Недаром





к нему приклеилось прозвище Шатун, намекавшее не только на главный объект его научного интереса, но и на кочевой образ жизни, который он вел, оставляя выделенное государством жилье то в одном регионе, то в другом, чтобы где-то все снова начать с нуля. Ведь романтики добавляло и ощущение себя первопроходцем.

Именно первопроходцем Борис Петрович был в только что созданном Саяно-Шушенском заповеднике, став третьим по счету сотрудником — после директора и бухгалтера. В самом начале существования этой ООПТ² он являлся не просто первым, а единственным «научником». Непочатый фронт работ открывался перед ним, такой же бесконечный, как горные панорамы Западного Саяна, представавшие взгляду одна за другой. Но это не страшило Бориса Петровича, а даже радовало. С юношеским восторгом он забирался туда, где еще не ступала нога человека, наблюдал непуганых животных, подпускающих к себе на расстояние нескольких метров, так что казалось — можно их потрогать рукой. Это была не только большая радость, но и большая ответственность. Ведь Саяно-Шушенское водохранилище, начавшее заполнять Енисейский каньон, открывало теперь браконьерам легкий и безопасный путь по воде к местам обитания краснокнижных сибирских горных козлов, кабарги, соболя и другой желанной добычи. А ведь именно труднопроходимость гор позволила уцелеть локальным популяциям этих животных. Чтобы разработать комплекс охранных мер, первым делом нужно было провести инвентаризацию фауны. И Борис Петрович принялся за нее с энтузиазмом, прокладывая первые тропы по бездорожью, торя путь для будущих научных сотрудников заповедника. И по сей день в Саяно-Шушенском заповеднике пользуются индивидуальными методиками учета млекопитающих, разработанными Завацким для этой территории с учетом рельефа и других абиотических³ факторов, которые необходимо принимать во внимание при составлении календарного плана мероприятий научного отдела.

Работа в заповеднике стала для него и призванием, и настоящей большой любовью. Территорию в 40 000 гектаров он прошел пешком вдоль и поперек сквозь пять различных лесорастительных зон, от темной тайги до сухих каменистых степей и до арктической тундры. Благодаря дружбе с татарским охотником, научившим его в детстве азам выживания в дикой природе, а также богатому опыту работы охотоведом, Завацкий не боялся никаких трудностей. Он в любую погоду мог развести костер, найти «подножный корм» для себя и товарищей. И, конечно же, не было в округе лучшего знатока повадок животных. По следу Борис Петрович порой мог определить не только видовую принадлежность, но и пол, и возраст зверя. Ботаник А. Е. Сонникова, часто бывавшая вместе с ним в экспедициях, за эти уникальные знания называла Бориса Петровича «Дерсу Узала здешних мест».

² ООПТ — особо охраняемая природная территория.

³ Абиотический — связанный с неорганической природой; неживой.

Наконец-то Шатун, поменяв немало городов и сел, ощутил себя по-настоящему дома. Он оставался верным заповеднику до последних дней своей жизни.

Защитив в 1985 году диссертацию и получив звание кандидата биологических наук, Борис Петрович стал ведущим научным сотрудником заповедника, известным в регионе териологом⁴, в ведении которого был не только медведь, но и все крупные млекопитающие Западного Саяна. На протяжении 30 лет он являлся неизменным научным исполнителем раздела *Летописи природы*⁵ «Фауна и животное население». Он был награжден нагрудным знаком «За заслуги» администрации Шушенского района и почетной грамотой Министерства природных ресурсов РФ. Борис Петрович опубликовал в печати более ста научных статей по зоологии, собрал и описал обширную териологическую коллекцию, подготовил целую плеяду молодых специалистов, учил сотрудников отдела охраны и лесников вести полевые дневники, руководил студенческими практиками, относясь ко всем своим обязанностям одновременно и с ответственностью, и с юмором. Сам он об этом написал так: «Нет ничего увлекательнее, чем процесс познания природы. Ее научное изучение — дело тонкое, щепетильное, кропотливое, ответственное и серьезное. Хотя и здесь, как и везде, надо искать смешное, забавное, казусное и интересное. Без смеха и юмора ваша жизнь превратится в сплошь серое и однообразное существование. Смех продлевает жизнь!»

Медвежья тема

Хотя Б. П. Завацкий имел широкий круг научных интересов и занимался всеми крупными млекопитающими Саяно-Шушенского биосферного заповедника, главной темой его жизни все же была медвежья.

Диссертацию кандидата биологических наук с названием «Бурый медведь енисейской тайги» Завацкий с блеском защитил в Москве. Столичная профессура слушала его с неподдельным вниманием. Ни одного «черного шара» члены диссертационного совета не подкинули. Многие хвалили его опыт и ценные наблюдения, сделанные им за время работы в тайге. Советовали не останавливаться на достигнутом и продолжить развивать эту тему уже в докторской диссертации. Вдохновленный коллегами, Борис Петрович, вернувшись в Сибирь, принялся собирать материал для докторской диссертации под рабочим названием «Экология бурого медведя Западного Саяна», но защитить ее уже не смог: во время очередных полевых работ в тайге его укусил энцефалитный клещ. Последствия болезни, в том числе частичный паралич, надолго выбили ученого из колеи. Позднее Завацкий вернулся к диссертации, ездил с ней в Москву, но до защиты ее не допустили — вернули на доработку.

⁴ *Териолог* — специалист по териологии, разделу зоологии, изучающему млекопитающих.

⁵ *Летопись природы* — основной научный документ заповедника, в котором сконцентрированы основные результаты наблюдений за природными процессами и явлениями.



Это случилось уже после развала великой державы СССР, когда поменялся внутренний курс в научном сообществе. Перестали быть в почете специалисты-практики, и сама полевая биология переживала нелегкие времена, став непопулярной и немодной на фоне новых, быстро развивающихся наук-сестер: молекулярной биологии, геной инженерии и других. Одним из новых веяний того времени был и стиль подачи, который из легкого и понятного даже непосвященным превратился в настоящую научную абракадабру, изобиловавшую сложной терминологией и западными кальками. А Завацкий ценил в изложении простоту и доходчивость. Он нарочно старался не пользоваться без необходимости англицизмами и латинизмами. Так проявлялся его патриотизм, любовь к родному языку, которую с детства вложила в него мама-русист. Научные тексты о буром медведе, написанные Завацким, читались легко и захватывали не меньше, чем приключенческий роман. Но московские коллеги не разделяли его позицию. Изменились и требования к докторской диссертации — к оформлению, библиографии, количеству публикаций. Обидно, что эти досадные мелочи встали на пути ученого. Прибавить к ним возраст, проблемы со здоровьем после укуса клеща и непростое финансовое положение, в котором по всей стране оказались сотрудники ООПТ в начале нулевых (а поездки в столицу из Сибири затратны не только по времени; учтем и расходы на транспорт, на проживание в гостиницах), — «кирпич» оказался неподъемным.

Отойдя от научной деятельности и еще надеясь в душе, что вернется к ней позднее, Борис Петрович занялся систематизацией своего литературного творчества — разрозненных текстов, напечатанных еще на пишущей машинке. Другая его мечта — издать художественную книгу — осуществилась в 2008 году, когда скромным тиражом вышел его сборник «Бородатые истории», куда вошли рассказы и очерки о тайге, стихи, заповедный фольклор. И до сих пор этой книгой, наполненной добрым искристым юмором, продолжают зачитываться сотрудники ООПТ самых разных поколений. Эта книга была награждена почетной грамотой премии имени Ф. Р. Штильмарка с формулировкой «За вклад в сохранение заповедного фольклора».

Маленькой девочкой войдя в кабинет Завацкого, я, преодолев смущение и стыд, спросила, глядя на страшные черепа, смотрящие на меня из глубины стеллажей пустыми глазницами, сколько медведей убил он за свою жизнь. Ученый не обиделся на этот вопрос, выпустил изо рта облачко табачного дыма и спокойно сказал: «А сбился уже со счета. Но не менее ста — точно!» В «Териологической коллекции Саяно-Шушенского заповедника» (Шушенское, 2002) я прочитала уже позднее, что 113 черепов автор добыл сам. Цифра немалая. Она хотя и внушала уважение охотникам, но меня озадачила и сбила с толку. Все-таки сотрудники заповедника, в моем понимании, должны были оберегать зверей, пусть даже и опасных хищников, а не уничтожать их.

Дальнейшее общение с Борисом Петровичем помогло мне понять, что в биосферном заповеднике он лишь изучал их, а отстрелом занимался

с целью урегулирования численности в рамках государственного задания, когда еще работал в енисейской тайге.

Прошло уже немало лет с тех пор, как пятнадцатилетним подростком Завацкий убил веслом своего первого медведя. И вот Борис Петрович приехал работать охотоведом в Туруханский район — и столкнулся с опасно высокой численностью бурого медведя. Косолапые бесчинствовали вокруг деревень в военные и послевоенные годы, когда все охотники ушли на фронт и очень мало их вернулось домой, покалеченных жизнью и неспособных уже дать отпор грозному зверю. Медведи задирали телят прямо во дворах, граничащих с лесом, приходили ночью и делали набеги на домашнюю птицу, иногда даже на глазах у хозяев, боявшихся выйти из дома на крики животных. За одно лето медведи задирали в среднем 20—30 коров, нападая порой на глазах у пастухов. Это не считая домашней птицы, свиней, собак. Все происходило в голодные 60-е годы, когда каждая «животинка» была на счету. Поэтому одним из первых служебных заданий Завацкого было «урегулировать численность путем отстрела». Не найдя охотников, имевших опыт и готовых взяться за это дело, Борис Петрович решил проблему сам.

Поначалу местное население снисходительно отнеслось к новому охотоведу — молодому, худенькому, невысокого роста, с кроткими голубыми глазами и тихим голосом. Однако после того, как в первое лето он лично добыл 16 медведей, его сразу же зауважали. Некоторых косолапых удавалось подкараулить и убить в сумерках прямо в окрестностях деревень, когда они рыскали по окраинам в поисках легкой добычи. Такие медведи назывались «скотинниками». Их надо было уничтожать, поскольку, узнав легкий способ охоты на беззащитных домашних животных, которые вдобавок имели и более вкусное жирное мясо, чем дикие, они полностью переходили на скот и наносили огромный урон сельскому хозяйству.

К слову, о наглости. Один медведь забрался прямо в охотничье зимовье, которое Завацкий построил для себя. Этот случай сам он описывал так: «Медведь хорошо устроился: под нарами берлогу вырыл. Подхожу к избушке, а собаки впереди начали “орать”, прямо надрываются, и дверь открыта. И тут из нее медведь вываливается. Хорошо, у меня карабин был».

Не только сельские жители страдали от нападений косолапых на скот, но и сама природа не справлялась с нагрузкой. Существует такой термин — «кормовая емкость территории», описывающий разного уровня трофические связи⁶ живых организмов и позволяющий определить максимально допустимое количество животных одного вида, способных прокормиться без катастрофических последствий для других видов и экосистемы в целом. Со всплеском численности медведя, случившимся в военные годы, резко сократилась до критического минимума численность лося в енисейской тайге.

⁶ Трофические связи — связи в экосистеме, когда один вид животных питается другим (или живыми особями, или их останками, или продуктами их жизнедеятельности).



К этому времени относится и охота Завацкого на сорокового медведя, считавшегося у многих охотников роковым. В своем интервью красноярскому литератору Александру Щербакову он описывал ее так:

Я тогда работал директором госпромхоза в Туруханском районе. И летом какие-то выборы были. Урну для голосования возили по таежным поселкам на вертолете. И вот прилетает он к нам в Ворогово, бегут ко мне нарочные: «Борис Петрович! В Сандакчесе староверы отказываются голосовать. Грех им, говорят. Вот если, мол, Завацкий приедет, даст добро, то, может, и проголосуем». А они меня за своего почитали. Наверно, потому, что я всю жизнь бороду ношу. Ладно, говорю, поможем. Сажусь в лодку, поплыл. До Сандакчеса этого 280 верст, но мотор «Вихрь» силен, речка Дубчес хорошая...

Часов за восемь пролетел я половину пути, гляжу: воронье кружит над лесом. Не иначе, медведь кого-то задавил. Причалил лодку, выхожу — коряжина огромная лежит, а за ней лось, уже на треть съеденный. Место чистое кругом, песочек — и по нему тропа в лес. Посмотрел по следам — медведь, и огромный. Благоразумней бы, конечно, ретироваться, но уж азарт взял, да и лосей жалко. Сел на эту коряжину, закурил, сижу в раздумье.

А ветерок от леса, медведь не чувствует меня. И вот вижу, выходит он, громила этакий, и ко мне. Я, еще беломорина в зубах, прицеливаюсь, думаю, черепок не буду портить, а в грудь ему — бух! Близко, шагов двадцать, а у меня карабин «Лось» 9-миллиметровый, результат понятен...

Ну, подошел я к медведю, сел на него, докурил папиросу. Попробовал сдвинуть трофей — бесполезно, руками не утащить. Надо — за лебедкой. А она у меня всегда в лодке была, мало ли: лоса вытащить, того же медведя погрузить. Иду, скидываю фуфайку, карабин, кладу в лодку, беру тросик, лебедку, возвращаюсь... медведя нет. Нет медведя! Я ж сидел на нем, курил! Ушел — и след такой кровавый в лес. Я по следу, по следу, только до деревьев дохожу, как он кинется на меня! Видать, добрал до леса, свернулся и свой след сторожил. Я пулей к лодке, схватил карабин, прибежал обратно — он уж мертвый лежит, бурая гора. Сил лишь на прыжок хватило. Вот такой был сороковой роковой...

Уже работая в заповеднике, Борис Петрович заслуженный отпуск, который обычно получал уже осенью по окончании полевого сезона, также проводил в тайге, занимаясь по чернотропу соболиной охотой, которая порой становилась и медвежьей. Медведя добывал он с единственной целью — съесть: «Когда вот так в начале сезона удавалось добыть медведя, за пропитание был спокоен: хватало и себе, и собакам. Мясо медведя дает здоровье. К тому же оно очень питательное и калорийное». Это было единственное подспорье к нищенской зарплате ведущего научного сотрудника заповедника, в последние годы его работы составлявшей семь тысяч рублей.

За свою жизнь Борис Петрович стал автором и соавтором более 50 научных трудов, посвященных изучению бурого медведя. Наибольшую известность получило его участие как соредатора и автора в сборнике научных трудов «Медведи в СССР» (Новосибирск, 1991) и соавторство в монографии «Медведи: бурый медведь, белый медведь, гималайский медведь» (Москва, 1993).



Не только балагур

Надо сказать, что Завацкий при жизни не был обделен вниманием пишущей братии, но журналистов привлекал в нем колоритный образ таежного бородача с сигаретой в зубах — весельчака и балагура, любящего рассказывать разные байки о медведях, автора «Бородатых историй». Может быть, и сам Борис Петрович хотел запомниться нам именно таким. Но за этим «фасадом» скрывается личность ученого-исследователя со сложной судьбой, глубокая, сильная и серьезная, и за нее мне порой обидно до слез.

К сожалению, богатое наследство, которое Борис Петрович оставил заповеднику, при новом директоре оказалось ненужным. Печальная судьба постигла дело всей жизни Завацкого — коллекцию млекопитающих Саяно-Шушенского заповедника, которую он пополнял каждый год новыми экспонатами. Черепа он часто находил во время экспедиций, собирал у инспекторов и охотников, вываривал тщательно в диоксидке⁷, делал краниологические промеры, определял возраст особи по цементу зуба. Про каждое животное Борис Петрович мог рассказать целую историю — где оно родилось, как проходила его жизнь, когда и почему она закончилась. Конечно же, в териологической коллекции Завацкого был собран богатейший материал по бурому медведю Западного Саяна. Новый директор заповедника избавился от этой коллекции, как и от многих других (в частности, от орнитологической, переданной в 2015 году в пользование зоологического музея МГУ), объяснив свое решение просто: от нее смердит! Действительно, любая коллекция требует ухода — избавиться от нее куда проще, чем проветривать и обрабатывать препараты. К сожалению, не осталось не только коллекции, но и книг Завацкого в научной библиотеке заповедника, и мало кто сейчас вспомнит, что именно Завацкому принадлежали первые видовые очерки об экологии ирбиса Западного Саяна. Многие из них публиковались в престижных научных журналах, а также в сборниках научных трудов сотрудников ООПТ. Когда фоторегистраторы, в конце «нулевых» годов установленные в Саяно-Шушенском заповеднике, запечатлели снежного барса, об этом говорили как о сенсации, однако еще в 1980—1990-х годах Завацкий опубликовал ряд статей на эту тему, рассказав и о своих визуальных наблюдениях снежного барса. Одну из немногих встреч с ним Борис Петрович описывал так:

3 октября 1999 г. зарегистрирована очередная визуальная встреча со снежным барсом. Автор вел обычные стационарные наблюдения с выбранной заранее точки (рев марала, суточный ритм жизнедеятельности козорогов и пр.). Точка наблюдения была оборудована кострищем, столиком для записей наблюдений, кухонным столиком и местом для отдыха. Костер горел постоянно, т. к. в это время года здесь уже холодновато. Была сухая безветренная погода. В 2 часа начал готовить обед, ходил за водой, через определенные промежутки времени осматривал все склоны, фиксировал деятельность группы козорогов (18 самцов), ревел в трубу 2 раза в час. В 3 часа

⁷ Диоксид кремния использовался для очистки костей и придания им белизны.

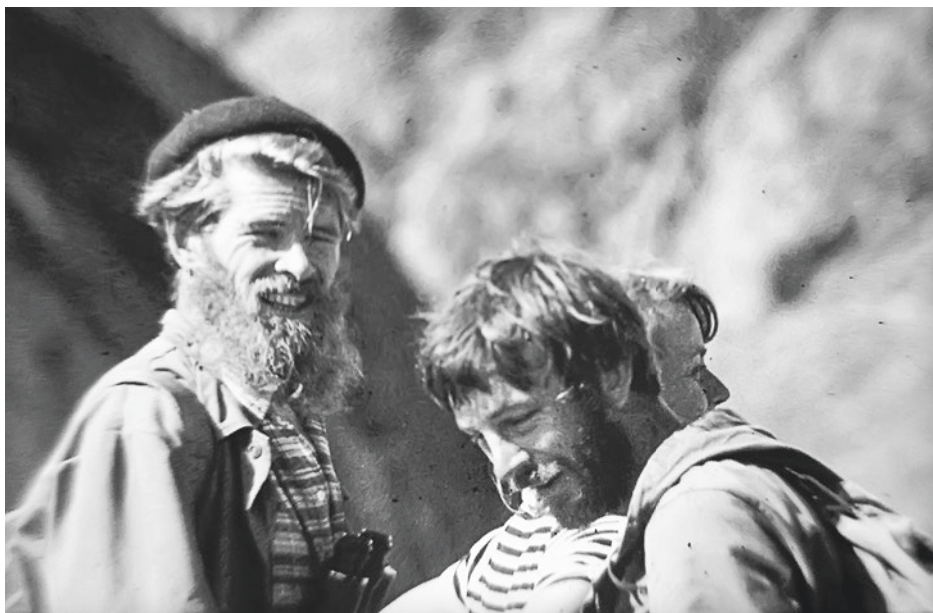




во время обеда я в очередной раз стал просматривать енисейскую гряду и краем глаза уловил еле заметное шевеление на почти отвесной скале. Вглядевшись пристальней, я разглядел барса. Он лежал на небольшой площадке, свесив хвост вниз, и время от времени им пошевеливал. Расстояние до зверя было около 300 метров. Отчетливо была видна голова, направленная в мою сторону, спина и хвост. Он, по всей вероятности, уже давно наблюдал за человеком. Минут 25—30 я, не отрываясь от бинокля, наблюдал за зверем. За это время он два раза поворачивал голову в сторону водохранилища и через 1—2 минуты опять в сторону кострища. Когда руки устали, глаза начали слезиться, я решил передохнуть, перевести дух, протереть слезы и продолжить наблюдения. Минут через 5—6 я вновь направил бинокль в сторону барса, но больше его не обнаружил ни на месте лежки, ни в ближайших скалах. Скорее всего, зверь лег на бок, и его не стало видно. Больше я его так и не увидел ни в этот день, ни в последующие. Этот случай говорит о многом. Барс в наших условиях чувствует себя в абсолютной безопасности. Он уже давно привык к шуму катеров, лодочных моторов, снегоходов, бензопилы, виду человека и т. д. Неподвижно лежащего барса в скалах невозможно заметить, все визуальные встречи происходили только в движении.

Несмотря на то, что Завацкий был первым научным сотрудником заповедника и опытным зоологом, признанным в научном сообществе, коллеги и руководство то ли пропустили его наблюдения «мимо ушей», то ли не отнеслись к ним с должной серьезностью, поскольку и сам Борис Петрович из-за своей склонности пошутить не казался им человеком серьезным. Между тем, по его экспертной оценке, численность снежного барса в Западном Саяне в первые годы существования заповедника составляла 20—25 особей.

В 2016 году от администрации поселка Шушенское нам, сотрудникам заповедника, поступило предложение назвать новую улицу в честь кого-нибудь из наиболее опытных и авторитетных работников нашей ООПТ. Заместитель директора по экологическому просвещению Юлия



Б. П. Завацкий с коллегами. Фотография предоставлена Т. Д. Мухамедиевым

Сурман, мудрая и чуткая женщина, не знавшая Завацкого лично, но наслышанная о нем от меня и других коллег, справедливо предложила директору кандидатуру Бориса Петровича. Ведь он был старейшим и опытнейшим из сотрудников, по факту основателем научного отдела, прибывшим в то самое время, когда заповедник был просто точкой на карте — без инфраструктуры, без проложенных маршрутов и троп. Именно Завацкий первым обследовал каждый его уголок, собрал первые добротные материалы по фаунистике, три раза за время работы проводил инвентаризацию млекопитающих заповедника, а уже на пенсии, во время болезни, всегда находил время и силы консультировать молодых сотрудников, до последних дней своей жизни помогая научному отделу. Предложение Юлии поддержали все опытные сотрудники, лично знавшие Бориса Петровича. Поддержала и молодежь. Но директор, не заставший уже Бориса Петровича, ответил Юлии с усмешкой: «Нет, только не Завацкий! Это же пьяница и балагур! Какой ученый? Что он сделал для заповедника? Он просто гулял по территории, выпивал с лесниками и сочинял про них анекдоты! Всё!»

А если бы руководитель учреждения хотя бы раз открыл на любом месте Летопись природы — основной документ заповедника, то нашел бы сразу же одну из многочисленных методик, разработанных Завацким для заповедника. Если бы хотя бы мельком ознакомился с его научной библиографией, то никогда бы не отозвался о Борисе Петровиче как о балагуре и пьянице. Но директор — человек очень занятой. Чтение для некоторых администраторов уже анахронизм, в отличие от счета доходов в казну.

Вместо эпилога

Одна из моих последних встреч с Завацким произошла, когда уже студенткой второго курса я приехала на «побывку» в Шушенское. Борис Петрович тогда тяжело перенес энцефалит. С горечью он сетовал на свой недуг: ноги плохо слушались, а для человека природы это страшная беда. Ведь он привык проходить налегке по 15 километров в день, по сложно пересеченной местности, через курумник и валежник. Всю жизнь он провел в движении, и проблемы с ногами были для него будто приговором. Тогда усилием воли он смог заставить себя снова подняться, «расхаживал» больные ноги сначала по дому, потом по участку и уже затем — по бору. Ходьба давалась нелегко, но, преодолевая боль, в сентябре он, не заработавший за 30 лет в заповеднике на авто, ходил пешком за рыжиками и всегда возвращался с полным рюкзаком: были у него свои секретные места. Вставал с рассветом, шел не торопясь, опираясь на деревянный посох, периодически останавливаясь на перекур.

Гуляя по бору утром, я и встретила Бориса Петровича среди зеленых бархатных сосен и золотых берез. С окладистой бородой, посеребренной сединой, с деревянным посохом, в длинной темной накидке — видимо, от дождя, — он казался персонажем, сошедшим со страниц книг про



отшельников, старообрядцев, лесных скитальцев, или даже сказочным существом — добрым лесовиком, хранителем тайги. Несмотря на возраст и болезнь, в глазах его все еще плескалась ясная небесная лазурь. Не удержавшись от искушения, я фотографировала его — тогда еще пленочным фотоаппаратом, который взяла с собой на прогулку, а он улыбался, тоже довольный внезапной встречей.

Тогда же Завацкий и показал мне свои рыжиковые места. Тихо шли мы гулким ранним утром по бору, тронутому осенней позолотой. Янтарем светились стволы сосен в первых солнечных лучах. Покрикивали поползни, тугой спиралью прыгая по стволам. Мягко пружинила под ногами хвоя, устлавшая мох. В зеленой глубине леса вспыхивали рубиновыми каплями ягоды созревшей брусники. А вдали темной синевой блестело озеро с совсем не поэтическим названием Второй карьер. Одна сторона его, с отвесным песчаным берегом, была давно облюбована купальщиками в летний сезон, другая же, тенистая, северная, оставалась всегда мрачной и нелюдимой. Поверху, гривкой, через мертвый березняк проходили там грибники в сезон сбора опят, а под откос никто не спускался — очень уж круто и неудобно. Это и было то самое рыжиковое место Завацкого. Аккуратно, словно глядя любимую женщину, раздвигал он рукой мох, и внезапно перед нами появлялся медный пяточок рыжика, свежий, влажный, только народившийся на свет. Другие грибы он не брал, даже не смотрел на подберезовики, хорошо росшие в том месте, волнушки и тем более — маслята. «Возни с ними много, и вкус не тот!» — пояснял он. И даже рыжики брал не все, а только молоденькие, хорошенькие. Потом солил их по своему рецепту.

За сбором грибов душа его будто отогрелась, лицо снова оживило, и мы много говорили, точнее, говорил он, рассказывая о своих казусах и приключениях, а я слушала, вдыхая полной грудью горьковатый запах прелой хвои и глядя, как дрожат на ветру паутины на ветках, а чистый свет с высоких небес освещает самые потаенные уголки многогранного, огромного и непознанного мира, который с каждым словом открывался передо мной все шире. Усевшись на пенек и закурив, Завацкий вдруг посмотрел на меня серьезно и испытующе — заметил, что слушаю я слишком жадно, слишком внимательно. «Не надо об этом писать!» — сказал он, угадав мои мысли. Не без досады я была вынуждена пообещать, что не буду писать, но нарушила обещание после его смерти... Теперь как же не написать о нем — уходят с каждым годом люди, знавшие его хорошо и близко, а мне хочется, чтобы его помнили. И как человека, и как первого научного сотрудника заповедника, и как ученого-зоолога, лучшего в регионе знатока бурого медведя.

Александр ФОКИН

«ТВОЯ ОТ ТВОИХ...»

*Предисловие к публикации
«Константинопольского дневника» Ильи Сургучёва*

По мнению многих исследователей, главная отличительная черта литературного XX века — очень сильный второй ряд писательских имен, зачастую трудноотличимый от первого. На наш взгляд, проблема скорее всего в другом: мы до сих пор еще только открываем «дорогу в классики» целому ряду писателей, чьи имена по разным причинам долгие годы оставались в тени. Одно из таких имен — Илья Дмитриевич Сургучёв. Теперь оно вышло из зоны запретов и умолчаний, из тени таких современников, как И. А. Бунин, А. И. Куприн, И. С. Шмелев. И каждая новая публикация произведений этого оригинального во всех отношениях прозаика и драматурга — шаг к тому, чтобы его творчество стало доступно широкой читательской аудитории и было по достоинству оценено.

Родился И. Д. Сургучёв 27 февраля 1881 года в Ставрополе. В этом северокавказском городе на страницах газет увидели свет его юношеские рассказы и первая повесть «Из дневника гимназиста». В большую литературу он без преувеличения ворвался во время учебы в Императорском Санкт-Петербургском университете: его рассказы печатают сначала «Журнал для всех», а затем «Новое слово» и «Вестник Европы». К молодому писателю быстро приходит известность и громкая популярность. Ведущие литературные критики начала XX века — Ю. Айхенвальд, Д. Выгодский, В. Львов-Рогачевский, С. Адрианов, Е. Колтоновская, З. Гиппиус,



И. Д. Сургучёв (Прага, 1922).
*Из русского собрания Бахметьевского архива
Колумбийского университета (США).
Фотографии публикуются впервые*

Б. Садовский — справедливо относят его творчество к выдающимся явлениям русской прозы.

Получив в 1907 году диплом синолога, что было редкостью по тем временам, Сургучёв задумывается о своем будущем: быть ли дипломатом (об этом мечтал с детства), приват-доцентом (такая перспектива вырисовывалась по окончании университета) или стать писателем. В результате он принял неожиданное решение — оставить Петербург, а с ним и многие надежды.

Вернувшись в Ставрополь, Сургучёв с головой ушел в журналистику, пытался найти себя на государственной службе и политическом поприще. В марте 1910 года его избрали гласным Ставропольской городской думы, в состав нескольких думских комиссий и ряда общественных, попечительских и благотворительных организаций губернии. Земляки предлагали ему баллотироваться в Государственную думу Российской империи IV созыва.

Судьбоносную роль в этот момент сыграла переписка, а потом и личное знакомство с Максимом Горьким, посоветовавшим Сургучёву в одном из писем остаться литератором. И после успеха первой книги, вышедшей в издательстве «Знание», Илья Дмитриевич сделал окончательный выбор: быть писателем. Его взлет и как беллетриста, и как драматурга во многом обусловлен влиянием и участием Горького. На волне их сложных взаимоотношений писались повести «Губернатор» и «Мельница», пьесы и рассказы 1910-х годов.

К весне 1915 года И. Д. Сургучёв в зените славы: в книгоиздательстве «Товарищество писателей в Москве» выходит четырехтомное собрание сочинений, на сценах императорских театров идет пьеса «Торговый дом», а «Осенние скрипки» ставит Московский Художественный театр. Его драмы с триумфом идут на всех сценических площадках России от Хельсинки до Тифлиса и от Иркутска до Одессы. И вдруг, в сентябре, едва примерив «мантию» «короля драматургов», Сургучёв надел военную шинель, сменив уже известный многим современникам адрес «Ставрополь-на-Кавказе» на новый, не столь определенный, но соответствовавший времени и позиции писателя-гражданина, — «Юго-Западный фронт».

Декорации богемы и славы сменили трагические реалии войны, которая вносила свои коррективы и в творчество: из стиля писателя постепенно исчезают отличавшие его лирические интонации, музыкальность слога, излюбленные образы запахов цветов, красок дня и ночи, пронзительной тишины, позволяющей услышать звук летящей среди звезд Земли. Многого из написанного им в период Первой мировой, смуты 1917 года и хаоса Гражданской войны российский читатель уже не увидел. Но были услышаны и надолго запомнились острые оценки этих эпохальных событий, данные им в брошюре «Большевики в Ставрополе» и сатирических статьях в газетах Белого Юга. Затем последовала драма исхода, определившего дальнейший, более чем 35-летний, жизненный путь писателя вне родины.

Лекарство от ностальгии, «болезни» всех эмигрантов, И. Д. Сургучёв находил в литературном творчестве, театральных предприятиях,

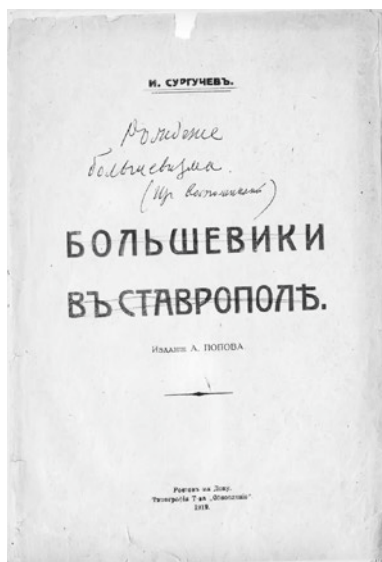
журналистике и кинематографе, а для близких друзей и соратников оставался великолепным рассказчиком, критиком, мемуаристом. В 1920—1940-е им написано около полусотни рассказов, роман, несколько повестей, два десятка пьес и киносценариев. Многие переведены на европейские языки, но, к сожалению, до сих пор неизвестно в России.

Все эти произведения объединяет удивительная мелодика пера и литературного таланта И. Д. Сургучёва, декорации архитектуры и природы родных для него Ставрополя и Петербурга. Их пронизывает лейтмотив противостояния жизни и смерти, пастельный колоризм «мгновенного» бытового и пейзажного фона, импрессионизм авторского восприятия окружающей действительности, отраженный по возможности идеальными средствами языка в воссоздаваемой иллюзии достоверности. Они, благодаря исповедальной интонации, проявляют уникальную творческую индивидуальность художника с его темпераментом, психологией, физиологическим, социальным и эстетическим опытом, сумевшего эпохальность бытия и реальность быта подчинить законам творчества.

Для русских читателей Сургучёв был прежде всего автором «Эмигрантских рассказов» и «боговдохновенной» повести «Детство императора Николая II», написанной накануне Второй мировой войны. Европейцам же он более всего известен как драматург-сценарист, автор пьесы «Осенние скрипки», по сюжету которой снят фильм *Set âge dangereux* (*If This Be Sin*) с блистательной Мирной Лой в главной роли, и комедии «Игра», ставшей литературной основой романтической киноленты «Человек, который сорвал банк в Монте-Карло», вошедшей в сотню лучших голливудских картин XX века. В этом фильме рефреном звучит песня, перефразировав слова которой, можно сказать, что жизненный путь Ильи Дмитриевича Сургучёва — это «ежедневная прогулка к великой Триумфальной арке, превратившаяся в великое триумфальное шествие».

Умер Илья Дмитриевич Сургучёв в Париже 19 ноября 1956 года. Над его могилой на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа установлен бюст работы знаменитого скульптора А. М. Гюрджяна, который огибает металлическая арка, увитая шиповником. Композиция надгробия прочитывается как двестише из классической китайской поэзии в жанре ши, переводами которой увлекался Сургучёв многие годы:

Триумфа любви и вечности достиг,
Избрав путь врачевания ран.



Обложка брошюры И. Д. Сургучёва «Большевики в Ставрополе» с автографом писателя

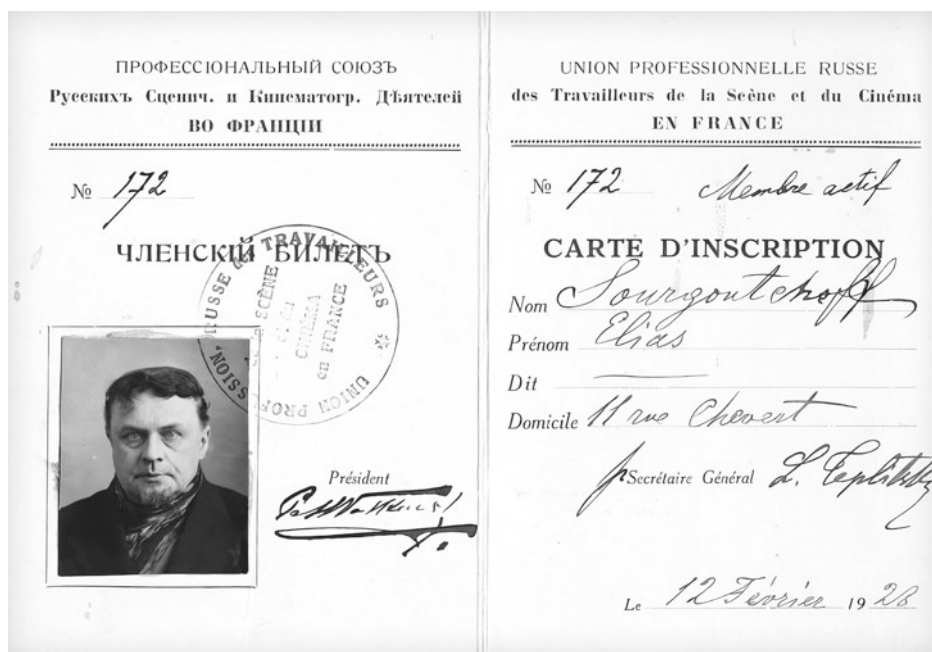


Расшифровать это послание через годы и расстояния помогают произведения И. Д. Сургучёва, документы его архива, которые постепенно возвращаются на родину.

В 1983 году Ставропольским книжным издательством была переиздана самая известная повесть Сургучёва «Губернатор». Это событие совпало и даже предвосхитило поистине величественный процесс возвращения «забытых» имен, процесс воссоединения русской литературы, который начался во времена так называемой перестройки. В 1990-е годы, когда на отечественного читателя буквально обрушилась лавина «возвращенной» литературы, произведения И. Д. Сургучёва не затерялись. Читатель выделил из общего потока и его пьесу «Реки вавилонские», и его роман «Ротонда», и его повесть «Детство императора Николая II».

Однако путь произведений И. Д. Сургучёва к читателю и триумфален, и многотруден. За последние годы удалось опубликовать четырехтомное собрание сочинений писателя, два тома которого составили произведения, написанные в эмиграции, сборник рассказов и очерков «Европейские силуэты» и книгу его пьес и театральной критики «И наши души все-таки поют...». На сцены российских театров пробиваются его самые известные пьесы «Осенние скрипки», «Торговый дом», «Игра», «Парижские приключения». Произведения писателя служат материалом исследований, в основу которых положены актуальные для нашего времени проблемы коммуникации, аксиологии, культурологии, лингвистики и, конечно, литературоведения.

Современные критики, вторя Максиму Горькому и Георгию Мейеру, продолжают называть И. Д. Сургучёва «большим поэтом» и «большим философом». С этими характеристиками трудно не согласиться,



Членский билет И. Д. Сургучёва в Союзе русских сценических и кинематографических деятелей во Франции (Париж, 1923).

Из русского собрания Бахметьевского архива Колумбийского университета (США)

но с позиции сегодняшнего дня оценочный радикализм выдающихся мыслителей XX века можно, думается, «приправить» несколькими нюансами: Сургучёв был и большим лириком, и большим аэдом, и большим трагиком, и большим артистом. И все это вместе было замешено на невероятном умении видеть и понимать повседневность и злободневность.

Об этом свидетельствуют неизвестные пока публике страницы его дневников, которые мы и предлагаем вниманию читателей. Интересны они тем, что писались в сложные и для самого автора, и для русского мира времена, когда и говорить-то подчас было нельзя, но и молчать, не писать — невозможно.

Дневник — это тот жанр, с которого И. Д. Сургучёв начинал в далекие юношеские годы; и здесь нельзя не вспомнить его первую повесть «Из дневника гимназиста», увидевшую свет еще в газете «Северный Кавказ». Но дневник — это и та форма бытия, без которой ни писательское, ни журналистское в нем не раскрылись бы и не состоялись. Выработанная с детских лет потребность вести дневник, записывать собственные размышления, услышанные истории, фольклор, цитаты из книг и газет сослужила ему добрую службу. Именно из многочисленных тетрадей своего дневника он черпал потом вдохновение для творчества, сюжеты для своих больших и малых произведений. «Пишите, ради Бога, дневники, — советовал Сургучёв современникам. — Вот вечер, такой теплый, еще не привычный, по-весеннему теплый; вдали играет духовая музыка... Пустяки? О, нет, не пустяки! Запишите и потом, лет через двадцать, прочтите. О, как грустно и сладко будет вам!»

Некоторые «главки» «Дневника» публиковались с определенной периодичностью в журнале «Зарницы», издававшемся сначала в Константинополе, а затем в Софии, и в некоторых газетах русского зарубежья. На данный момент таких, увидевших свет в эмигрантской периодике, «главок» обнаружено более тридцати. Поиски недостающих публикаций продолжаются. Как предрекал И. Д. Сургучёв, «когда-нибудь — пройдут сроки — за номера этих газет коллекционеры будут платить бешеные деньги», за эти номера «можно будет купить автомобиль».

Не менее значительная часть «Дневника» восстановлена по рукописям и машинописям персонального фонда И. Д. Сургучёва, хранящегося в Бахметьевском архиве российской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета.

Отдельные «главки» озвучивались автором со сцены в эмигрантских театрах и собраниях. И в этом тоже видится глубокий символизм: что, как не чтение своего дневника вслух, на публике, способно продемонстрировать открытость человека миру.

Сиюминутность, обращенная в вечность, — вот, пожалуй, код, с помощью которого можно оценить талант Сургучёва, подступить к тайнам его писательского мастерства.

«Константинопольский дневник», как циклическое единство, хронологически структурирован и тщательно откомментирован. Это придает его художественным достоинствам человеческую и историческую ценность. В количественном отношении публикуемые «главки»

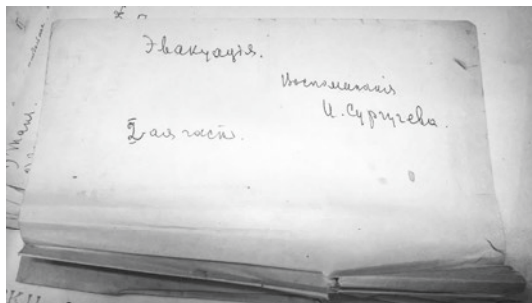


в равных долях распределены между 1920 и 1921 годами. Записи велись Сургучёвым ежедневно, но, готовя рукописи к печати, автор выстраивал сюжетную линию, формировал единый стиль и ритм, благодаря чему возник удивительный жанровый синтез: очерка и рассказа, статьи и репортажа, рецензии и фельетона, мемуаров и интервью. Сургучёв будто нашел ключик к той тонкой, но извечно непреодолимой грани, за которой жесткая форма трансформируется в нечто вязкое, тягучее, способное заманить читателя, «приклеить» его внимание. Писатель с легкостью отказывается от исповедальности внутреннего монолога и вступает в прямой диалог с читателем; аналитическую назидательность, свойственную, как правило, дневнику, подменяет легкой иронией и самоиронией, а риторическую выверенность — мозаикой самых разнообразных стилистических конструкций.

Сургучёв добивался своего. Его читатель переставал быть просто читателем, он становился благодарным слушателем и зрителем, соучастником и сопричастником описываемых событий, вступал с автором в диалог, доверял ему, воспринимал на веру все, о чем ему поведали страницы «Дневника». Пресловутая интимность одиночества, заложенная в жанре дневника, оборачивалась интимностью встречи знакомых и незнакомых людей, живущих и в одном доме, и на одной улице, и в одном городе, и на одном материке, и на одной планете. Но при этом писатель не манипулировал читателем, чувствуя ответственность за него, охранял достигнутую коммуникативную связь, понимал, что его и читателя всегда будет разделять газетная или журнальная полоса.

Многие читатели стремились преодолеть эту преграду, вступить с автором в реальный диалог, забрасывая его своими письмами. Некоторые из них Сургучёв бережно сохранил в своем эпистолярном архиве, а некоторые «вклеивал» в очередную главу «Дневника», сопровождая свойственными избранному стилю комментариями. Но иногда, чувствуя, что «перегнул», зашел слишком далеко, оставлял в своем дневнике записи, не предназначенные для обнародования: «...Мои “пророчества” озлобили многих моих сверстников. Смотрят мне в глаза и думают: “Не я ли, Господи?” Большой вопрос. Да пронесется в этом году чаша эта!»

Анализ рукописного фонда Сургучёва военных лет позволяет сказать, что не все «главки» «Дневника», подготовленные автором к печати в эти годы, были опубликованы. Некоторые из них, возможно, по цензурным или самоцензурным соображениям «навсегда» осели в личном архиве писателя. Кавычки при слове «навсегда» — лишь мягкий иронический жест в сторону разного рода «блюстителей» и «ревнителей» порядка. Они неизменно существуют при



И. Д. Сургучёв. Константинопольский дневник (рукопись).

*Из русского собрания Бахметьевского архива
Колумбийского университета (США)*

любой власти, но история все расставляет по своим местам. «Дневник» И. Д. Сургучёва, пусть еще и не в полном объеме, открыт и ищет своего читателя. И это главное. Как однажды сказал сам Илья Дмитриевич, «настали времена, когда надо говорить правду и только правду».

А правда в этом случае, на наш взгляд, состоит в том, что И. Д. Сургучёв не смирился с эмигрантской судьбой и весьма далек был даже от мысли об этом. Он лишь воспользовался единственной возможностью, чтобы, вопреки редакционным установкам, говорить с людьми о человечности и человеке. И его дневниковые записи часто шли вразрез с установками воинственности и человеконенавистничества. Но даже и в тех «главах» «Дневника», которые были опубликованы, не многие усмотрели гуманитарные идеи автора, его любовь ко всему русскому, к России. А Сургучёв, по его словам, знал «все оттенки европейских сумерек».

«У Вечности есть пульс, и люди его инстинктивно чувствуют. <...> Но в эпохи, подобные той, в которую мы живем, пульс Вечности бьется лихорадочными, землетрясающими ударами, и нужно иметь только ухо, чтобы их слышать. И карандаш, чтобы чертить сейсмографические узоры. И с большим волнением будущий Пимен развернет наши маленькие, с трудом разбираемые, записные книжки». Так завершилась одна из рукописей дневника. Умевшие видеть и слышать читатели ждали от Сургучёва новых и новых откровений о времени, о людях и о себе. И он не бросал своего читателя даже тогда, когда его «Дневник» не допускали к газетной полосе. Ждут подобных откровений и читатели современные.

Пора и нам освободиться от формальных условностей, стоящих за жанром предисловия, и перейти к чтению самого «Константинопольского дневника». И да услышится голос его автора, мечтавшего долгие эмигрантские годы хоть на минутку оказаться в России, низко поклониться земле предков и внуков своих и сказать по-библейски покаянно: «Твоя от Твоих. Вот Твои дары, вот Твой огонь. Что сберегли — бери, чего не сберегли, прости. И с миром отпусти по глаголу Твоему. Ибо видели очи наши спасение Твое».



Илья СУРГУЧЁВ

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

Эвакуация. Господи, помилуй!

Когда факир спокойно держит в руке извивающуюся, шипящую смертоносную кобру — вы уже не так боитесь ее: спокойствие одного всегда заражает другого.

Когда на войне, после Луцкого прорыва¹, вы видели тысячи убитых и умирающих людей, а летний день был спокоен и беспечен, и в свой определенный час, все — на определенные места, вышли на небо спокойные звезды, ордена Господа Бога, которые Он Сам Себе пожаловал за сотворение великолепного мира; и лес так же, как и вчера, спокойно и бессвязно бормотал на сон грядущий свои тайные слова: березовые, кленовые, дубовые и каштановые; и доктора в окровавленных халатах жадно, с ложек, ели пережаренную яичницу-глазунью и азартно, ругательски ругали денщиков за то, что нет перцу и водку разбавили только на сорок градусов: испорчен спирт, — вы думали:

— Боже мой! Что же такое смерть? Что такое — умереть?

И отвечали сами себе потихоньку:

— Это же легче, чем вырвать зуб.

Начиная с первых дней, как я попал на войну и из Вендена², по великолепному шоссе, покатил туда, откуда слышалось равномерное и спокойное, даже скучное, буханье гранат, — в мой мозг забралась какая-то неясная, хитрая, неуловимая мысль, осторожно жила там, как мышь в шкафу; и, как я ни настораживался, как ни ловчился, — никогда не мог поймать ее, ухватить, понять, в чем дело, и точно сформулировать. Порою, и очень долго, она оставляла меня в покое, и лежал ли я на диване — ее не было около меня; читал ли занятную книгу — она не юлила между строк; следил

¹ *Луцкий прорыв* (Брусиловский прорыв) — наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала А. А. Брусилова во время Первой мировой войны, проведенная 4 июня — 13 августа 1916 года, в ходе которой было нанесено серьезное поражение австро-венгерской армии и заняты Галиция и Буковина.

² *Венден* — уездный город Лифляндской губернии Российской империи. Ныне — Цесис, город на территории Латвии.

ли, сидя на византийских суднах, за ходом корабля, беспечно пошедшего в Америку, — она не приставала ко мне. Но иногда — неожиданно вонзалась в мозг и три-четыре дня не давала покоя, как зубная боль.

* * *

Сегодня — понедельник, тяжелый день; значит, все то, что я сегодня начал писать, никогда не будет иметь успеха. Кроме того, бумага моя предназначена для пишущих машин, она шершава и не глянцеви́та. Этой бумаги не выносит мое стило³.

* * *

— Вай тоу ю и гэ шэнь. Ши шун?

Так начинается одна китайская повесть, написанная лет за тысячу до Рождества Христова.

Один художник, завсегдатай «Ротонды»⁴, кричит в пьяном виде:

— До сих пор не было искусства. До сих пор мир еще не знает, что такое искусство. Рембрандт, Рафаэль, Франц Халс⁵ — мои предтечи. И, господа, вам придется начать новое летоисчисление от Рождества Родченко⁶.

Так и запишем.

Я знаю, что я, как и всякий другой человек, явился на землю неспроста, а с какими-то неведомыми мне и совершенно таинственными задачами и поручением.

* * *

Когда в сероватый, но не холодный день я погружался в Севастополе на русский пароход⁷, на котором, видимо, судьбой предназначено мне было плыть в последний раз, когда носильщик, привязав к ногам мои чемоданы (иначе невозможно было двигаться), волок их за 100 тысяч рублей на пароход, я глупо и несдержанно смеялся и повторял в такт каким-то своим смыслам, которые и сам не мог понять и расшифровать, это начало китайской повести, и громко спрашивал у людей с выпученными глазами, теснившихся на паромных помостах:

— Ши шун?

И только радушно и обеспокоенно взглянул на меня полковник, заведовавший симфоническим оркестром того крымского городка,

³ *Стило* (фр. *stylo*, от греч. *stylos*) — ручка, инструмент для письма и рисования; палочка с пером на одном конце и карандашом на другом.

⁴ «*Ротонда*» (фр. *Café de la Rotonde*) — знаменитое кафе в парижском квартале Монпарнас, основанное в 1903 году. Получило известность как место встречи артистической богемы — молодых актеров, художников и поэтов.

⁵ *Франц Халс* (1582—1666) — голландский художник, подлинный основоположник нидерландской художественной школы в эпоху так называемого золотого века.

⁶ *Родченко* Александр Михайлович (1891—1956) — советский художник, один из основоположников конструктивизма. Весной 1925 года Родченко работал в Париже над оформлением советского раздела Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности.

⁷ Имеется в виду один из дней так называемой Врангелевской, или Крымской, эвакуации (13—16 ноября 1920 года) морем частей Русской армии и сочувствующего ей гражданского населения в ходе Гражданской войны в России.





в котором я имел представление⁸ до Севастополя.

В каждом мало-мальски приличном русском губернском городе каждую зиму был драматический театр с собственной труппой, и каждое лето — симфонический оркестр, игравший в раковине городского сада или в Коммерческом клубе⁹.

Франция этого не знает. Франция не музыкальна. Франция, собственно Париж, свистел и шикал на первых представлениях «Фауста»¹⁰ и «Кармен»¹¹.

* * *

На «Рионе»¹² (так звали тот большой пароход, на который носильщик тянул мои чемоданы) я поместился в каком-то коридорчике, а моя супруга Татьяна¹³ расположилась на столе в кают-компани.

На Тане была серая кроликовая жакетка, которую она купила в Ялте, у дочери генерала Авенариуса¹⁴.

Авенариус был степенный и достойный генерал. В молодости, вероятно из-за денег и из-за ялтинской дачи, женился на богатой московской купчихе, которая, увидев, что дочь получила из рук Тани много денег, сказала ей вдруг:

— А денежки передай тятю.



Т. В. Бочарова, жена И. Д. Сургучёва (Константинополь, 1922).

Из личного архива Элизаветты Дзоттоллы, внучки Т. В. Бочаровой

⁸ Одной из форм выживания театра как вида искусства в годы Гражданской войны были благотворительные концерты. Для организации подобных мероприятий создавались творческие союзы, соучредителем одного из которых — Общества им. А. П. Чехова — был И. Д. Сургучёв. В таких литературно-театральных вечерах принимали участие многие писатели, артисты и музыканты, оказавшиеся в Крыму. Последний такой литературный вечер состоялся 3 ноября 1920 года в Севастополе, где И. Д. Сургучёв читал фрагменты из своих пьес «Женщины» и «Письма с иностранными марками».

⁹ *Коммерческий клуб* — здание в городском саду Ставрополя, где располагалась крупнейшая городская библиотека, читальня, симфонический оркестр, зал для массовых увеселительных мероприятий (балы, маскарады), комнаты для игры в бильярд и карты. Управление Коммерческим клубом осуществляла общественная организация с выборным Советом старшин. И. Д. Сургучёв входил в попечительский совет клуба с 1908 года, был экспертом музыкальной комиссии клуба.

¹⁰ «*Фауст*» — опера Шарля Гуно на сюжет первой части трагедии Гёте «Фауст». Либретто: Жюль Барбье и Мишель Карре. Первая постановка, состоявшаяся в парижском «Театр-Лирик» 19 марта 1859 года, не имела успеха.

¹¹ «*Кармен*» — опера Жоржа Бизе по мотивам одноименной новеллы Проспера Мери-ме. Либретто: Анри Мельяк и Людовик Галеви. Премьера состоялась 3 марта 1875 года в парижской «Опера-Комик», которая, по воспоминаниям либреттиста Галеви, прошла при полном молчании зрительного зала.

¹² «*Рион*» — военно-транспортный корабль. Эвакуировал 2 800 военных, 5 500 гражданских и 800 раненых и прибыл на Константинопольский рейд 17 ноября 1920 года, где оставался до февраля 1921 года.

¹³ *Бочарова* Татьяна Васильевна (1893—1977) — вторая жена И. Д. Сургучёва. Ей посвящена его пьеса «Осенние скрипки» (1915).

¹⁴ *Авенариус* Константин Яковлевич (1852—1921) — русский дворянин, отставной генерал-майор, проживал в Ялте. В феврале 1921 года был арестован Симферопольской ЧК и приговорен к расстрелу; реабилитирован в 1996 году.



Авенариус щелкнул штиблетами, чтобы заглушить эту фразу, но когда понял, что она не заглушена, — сделал вид, что ему смешно, что он принял не всерьез эту фразу, и ответил дочери:

— Лучше передай маменьке.

А у дочки, вероятно кончавшей Смольный¹⁵, глаза подернулись престелной, хрустально-влажной пеленой, и она посреди комнаты стояла с протянутыми деньгами.

Их взяла маменька.

Я залег на своих двух чемоданах, положил под голову маленькую подушечку, видевшую кровати петербургские, московские, римские, лондонские, парижские, генуэзские, берлинские, галицийские, буковинские, прибалтийские¹⁶, и какое-то ровное и блаженное ощущение охватило мое существо.

Когда я проснулся, пароход был в море, и я рад, что чаша созерцания последней полосы родной земли меня миновала.

Вот оно:

Черное море,
Белый пароход...¹⁷

Погода совсем не ноябрьская, тихая и спокойная. Бог хранит пути праведные.

* * *

В мою *anti-chambre*¹⁸ набрались чиновники из государственного контроля. Среди них один только с женой; все остальные — холостяки, но семейственные, привыкшие устраиваться: все с чайниками, с сохшим хлебом, с керосиновыми машинками. И кругом на пароходе оживленная, хозяйственная суетня, разговоры о кипятке, о корн-бифе¹⁹, о галетах, которые выдают французы.

¹⁵ Смольный институт благородных девиц Санкт-Петербурга — первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в стране, и первое в Европе государственное учебное заведение для обучения девушек. В октябре 1917 года институт во главе с княгиней В. В. Голицыной переехал в Новочеркасск, где в феврале 1919 года состоялся последний российский выпуск. Уже летом 1919 года институт покинул Россию и продолжил работу в Сербии.

¹⁶ До эмиграции И. Д. Сургучёв подолгу проживал в Москве и Петербурге, во времяграничных путешествий 1910—1913 годов бывал в Риме, Генуе, Париже, Берлине; в годы Первой мировой войны в составе 8-го Сибирского передового врачебно-санитарного отряда 1-й отдельной пехотной бригады участвовал в сражениях в Галиции и Буковине.

¹⁷ Парафраз народной песни времен Русско-японской войны (1904—1905): «Синее море, белый пароход, // Сяду, поеду на Дальний Восток — // На Дальнем Востоке — пушки гремят // Русские солдатики убитые лежат. // Мама будет плакать, слезы проливать, // А папа поедет на фронт воевать. // Там на Дальнем Востоке — пушки гремят // Там русские солдатики убитые лежат...»

¹⁸ *Anti-chambre* (фр.), анти-шамбр — небольшая прихожая в каюте 1—2 классов.

¹⁹ *Корн-биф* — консервированная солонина из говядины с добавлением топленого свиного жира; при консервации использовалась селитра. Английские низкокачественные мясные консервы выдавались русским беженцам как благотворительная помощь. А. Вертинский в своих воспоминаниях о пребывании в Константинополе писал: «От селитры, которая была в консервах, у многих на теле стали появляться язвы». См.: Вертинский А. Дорогой длинною... М., 1990. С. 135.



* * *

Контролеры, придя с запасами, которые они «получают», рассказывают о скандалах в очередях и «жульничествах»: некоторые ловкачи «получают» по два раза. Эпоха войны обогатила русский язык незамысловатым, но красочным и точно определительным ироническим глаголом «ловчиться». Скандалы и «жульничества» обсуждаются с легкой снисходительностью.

Контролеры мечтают: один — опять устроиться по контролю, ибо ему, умному человеку, ясно, что так все просто с этими громадными кучами людей не обойдется, где ты их ни сбросишь, а контроль будет нужен. Второй контролер мечтает о хлебопашестве, и все зовут его хлебопашцем. Третий, у которого усы, борода и пенсне, думает устроиться чистильщиком сапог у порога какого-нибудь константинопольского увеселительного заведения. Я смотрю на него с завистью, так как сам очень люблю чистить себе сапоги. Намазать потускневшую кожу смазью, дать ей высохнуть и потом бархатной тряпкой открыть зеркальный блеск, — какая прелесть!

* * *

Наступает вечер, сытость достигнута, желудки согреты чаем, пищеварение идет нормально, на щеках пробивается румянец, где-то потренькивает балалайка, пароход идет чудесно, воздух морской густ, сочен и благодетен.

Господа! Вздохните о родине! Скажите же:

— Эх, Россия, Россиюшка!

Нет. Молчание.

* * *

Когда пленили Шамиля²⁰, то ставропольские гимназисты из татар перестали ходить в классы, перестали есть и целыми днями стояли на третьем этаже у окон, опершись локтями на подоконник, и глазами, полными слез, глядели куда-то, в какую-то даль. И их не трогали ни педагоги, ни инспекция.

Когда потеряна родная земля, как не задуматься вам, плывшие и плывущие: «Куда? В какую даль? Куда несут вас синие волны? Куда влечет вас белый пароход?»

Дум нет. Только гадания о Сербии, о Болгарии, где свиное сало стоит восемь копеек 2½ фунта.

* * *

Когда мальчик учится в гимназии, он ненавидит свою гимназию, ненавидит четвертый час дня, когда в соборе в средний колокол зазвонят к вечерне и, значит, пора сесть за приготовление уроков к завтрашнему дню.

²⁰ 25 августа 1859 года после разгромного поражения у селения Гуниб имам Шамиль сдался князю А. И. Барятинскому и в сопровождении конвоя был направлен в Санкт-Петербург для представления царю. 7—8 сентября конвойная группа и знаменитый пленник находились в Ставрополе.

* * *

Я разложил мои чемоданы на полу, достал две подушки, лег и так пролежал восемь суток, не испытывая ни голода, ни жажды.

Теперь ясно, что случилось.

За время глада печень отдохнула, по организму не разливались и в кровь не попадали никакие яды.

Оттого мне было весело, и я сам с собой смеялся, и для того, чтобы не заподозрили, что я сумасшедший, отворачивался к стенке и говорил сам себе:

— Ши шун!

Около меня чиновники варили на примусе чай и всё гадали, что им делать за границей.

Один говорил:

— Буду землепашцем. Очень люблю это дело.

Другой ему вторил:

— А я думаю, ящичек, две черные щетки, суконку, четыре аршина бархата, коллекцию разноцветных кремов и буду туркам чистить сапоги. Говорят, что в Константинополе полиция слабая и непридирчивая, и я сумею устроиться у входа какого-нибудь кафешантана или трактира. Только бы узнать поскорее, который там лучше.

И какой-то человек ответил басом:

— «Токатлиан»²¹.

На него посмотрели с уважением и потом несколько раз обращались за справками.

* * *

«Рион» остановился посреди моря, потому что не хватило угля. На «Рионе» был поднят сигнал SOS²².

По сигналу к нему подошел какой-то другой пароход и согласился его углем снабдить.

Для переноски угля были приказом коменданта на «Рионе» назначены путешествующие на пароходе писатели и журналисты.

Им было приказано раздеться догола и лезть в трюм. Хорошо, что я никогда не был писателем, а то пришлось бы покинуть свои нагретые чемоданы.

²¹ «Токатлиан» — один из известнейших отелей Стамбула. Основан гражданином армянского происхождения, который переехал из Токата в Стамбул в 1883 году и принял фамилию Токатлян, что означает «родом из Токата». Считается первым современным отелем, построенным в Турции. В нем останавливались такие известные личности, как Мустафа Кемаль Ататюрк и Лев Троцкий.

²² «16 ноября в 9:36 утра телеграмма с «Адмирала Прованса» сообщает «Сенегальцу», что русское судно терпит бедствие: положение — широта 4154, долгота 2950. Через несколько минут мы узнаём, что это большой военный транспорт «Рион». Дело может оказаться серьезным, поскольку известно, что судно перевозит около 9 000 беженцев, а его котлы находятся в плохом состоянии; но в конечном итоге его спасает американский крейсер Saint Louis в сопровождении эсминцев Long и Fox». Saibène M. La flotte des Russes blancs (Rennes, 2008).



* * *

Особое состояние, когда пароход стоит посреди морской пучины. В раскрытые двери было видно голубое небо — какое? Русское или турецкое? И «плывшие по нему облака».

Мне очень хотелось взглянуть на писателей и журналистов, но потом раздумал.

Кроме того, господин, знавший «Токатлиан», рассказал чудесную историю.

* * *

Вот она:

«Однажды, — сказал он, — в очень давно прошедшее время, я с одним молодым поэтом²³ шел на итальянском пароходе из Неаполя в Одессу.

Целое лето я жил на Капри, сидел в кафе Мериме, был влюблен в голубоглазую Марию, и когда деньги вышли и осталось только на дорогу, отбыл из Неаполя на родину. На грузовом пароходе, который в Испании должен был взять лимоны и апельсины для России, — мне дали за 75 рублей отдельную каюту 2-го класса, полное продовольствие с бутылкой красного пьемонтского вина и обещали три недели медленного и спокойного путешествия по Адриатике — вдоль берегов Эллады.

Мы подолгу стояли в Палермо, Мессине, около Кипра и потом пришли в Константинополь.

Первым долгом отправились в Святую Софию²⁴ и, приближаясь к ней по узким улочкам Стамбула, были разочарованы. Ожидали величественности, а оказалось, горбатая груда камней. Но когда сняли сапоги и по циновкам вошли в храм, то просияли и сразу начали верить в Бога.

Это было тихо и божественно, и мы с моим поэтом, отдав Св. Софии предположительно час, сидели в ней до вечера и не замечали ни голода, ни жажды.

Как в поднебесье, летали вверху, грузно и звонко шлепая крыльями, голуби. Внизу тихо плескался фонтан.

Полузакрытые щитами, распростерли по углам-сводам мозаичные ангелы свои крылья.

И мы сидели, сидели.

Какие-то люди в длинных халатах, в чалмах, становились друг с другом плечо к плечу и потом все, как один, или начинали делать быстрые поясные поклоны, или бросались на колени и припадали к полу.

²³ Имеется в виду поэт Алексей Константинович Лозина-Лозинский (1886—1916), знакомство И. Д. Сургучёва с которым состоялось в мае — июне 1913 года на Капри, откуда они вместе возвращались на родину. См. подробнее об этом: Сургучёв И. Д. Мессина // Возрождение. Париж, 1934. № 3141. С. 3; то же: Сургучёв И. Д. Европейские силуэты / Сост. А. Г. Власенко и А. А. Фокин; предисл., коммент.; общ. ред. М. Г. Талалай; послесл. А. А. Фокин. СПб., 2017. С. 57—60.

²⁴ Собор Святой Софии — Премудрости Божией, Святая София Константинопольская — бывший патриарший православный собор. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ золотого века Византии. В 1453 году после захвата Константинополя османами Софийский собор был обращен в мечеть, а в 1935 году он приобрел статус музея. В 2020 году снова стал мечетью.





А потом в отдалении, у самого алтаря, вдруг тончайшим тенором запел мелодию какой-то худой и изможденный человек, про которого мы решили, что он дервиш. По мере того как он пел, мы невольно, все ближе и ближе, влекомые какой-то таинственной и непреодолимой силой, тянулись к нему, и подошли к нему так близко, что, кажется, ощущали дыхание его. А когда он кончил и с невидящим лицом пошел к выходу, мы пошли за ним.

Были уже сумерки, и он скрылся в каком-то неизвестном нам повороте.

Тогда мой поэт тихо заплакал, а я его утешал.

Дело в том, что в те каприйские времена я и сам пописывал, а потом бросил и хорошо сделал, а то бы теперь, извольте радоваться, меня запрягли бы на погрузку угля. Все хорошо, что хорошо кончается».

Тогда чиновник из контроля, собиравшийся на сапоги, сказал:

— Ага! Теперь я понял, откуда вам известен господин Токатлиан.

И человек ответил:

— Да, из этого путешествия. Я обедал у Токатлиана. Тогда же я в Grand Bazar²⁵ купил отличные туфли из тюленевой кожи.

И чиновник спросил:

— А дорого берет этот Токатлиан?

Господин ответил:

— Обычные цены европейских ресторанов. Во всяком случае, не дороже, чем в международных вагонах.

* * *

Нашими кораблями, несомненно, правил Харон²⁶. Черное море он превратил в тихую, спокойную, медленно текущую Лету²⁷... Только дельфины, самые веселые и беззаботные создания мира, выплывали перед кораблем, радуясь ему. Мертвые души пристали, наконец, к своему берегу.

Чем-то похожий в расположении на Нижний Новгород — предстал перед нами Константинополь, и я слышал, как на рассвете с палубы раздался чей-то восторженный голос:

— Трамвай! Трамвай! Братцы, трамвай!

Таня припудренная, свеженькая, с карминовыми губками, подошла ко мне, присела на краешек чемодана и с любопытством спросила:

— Ну? Вот, приехали. Что же ты думаешь делать, братец?

²⁵ *Grand Bazar* (фр.), Гранд-базар — один из крупнейших крытых рынков в мире. Расположен в старой части Стамбула и занимает 30 700 м².

²⁶ *Харон* — в древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших через реку Стикс в подземное царство мертвых.

²⁷ *Лета* — река забвения; в древнегреческой мифологии одна из пяти рек (вместе со Стиксом, Ахероном, Кокитосом и Флегетоном), протекающих в подземном царстве мертвых.

Я смотрю на Таню и думаю: «Звезды таинственны. Стремление реки таинственно. Пути земли таинственны. Цветы таинственны. Зверь таинственен. Но самое таинственное, что есть около человека, — женщина».

Она живет по тем законам, которые знает только земля. Вот эта женщина когда-то любила меня, боролась за меня. Она поджидала меня на станциях, когда я ехал на север. Она жила на той улице, где жил и я. Она приходила в те рестораны, где я ел. Она смотрела со мною те пьесы, которые я любил. Она даже те песенки пела, которые я часто бессознательно напевал, глядя в окно.

Прошло пять лет. Вот я лежу на чемоданах, когда-то купленных в Берлине, прочных, не гнущихся под тяжестью тела. Вот смотрят на меня глаза, которые когда-то светили непотухающим потоком любви. Вот тело, которое принадлежало только мне. Вот я вижу груди, долженствовавшие кормить моих детей.

Огонек в глазах потух. Почему? Мысль моя со скоростью света бежит каким-то кругом и как масло из молока.

Огонек в глазах не потух, но огонек любви сейчас превратился в огонек любопытства.

Ясно, что перед нею лежит не тот, не прежний, с Кабинетной улицы²⁸. Этот желт, угрюм, с безобразно отросшими волосами на бороде и усах. Глаза ввалились и как будто ничего не хотят видеть. Странные и безобразные раковины пропечатались по бокам головы, как будто не принимают никаких шумов, никаких звуков. Угрюмое молчание лодки Харона не производит никакого впечатления, не рождает отклика.

И вот между нами заводится таинственный разговор, таинственное объяснение, которое понимаю только я, ибо за восемь дней голода во мне обострились все чувства, мне знакомы законы помыслов, как построено все мое существо, оставшееся без почвы, без родной земли, без неба, без железной зеленой крыши, без русских букв на улице, без звонких и радостных голосов.

Я ее же спрашиваю:

— Это ты, Таня?

И глубина ее существа, о которой она не думает и которой не подзревает, отвечает:

— Я-то я, но не прежняя.

— Какая же ты?

— Снова ищущая.

— Кого?

— Его.

— Я — не он?

— Увы, ты — не он.

— Почему?

— Потому, что ты обманул меня.

²⁸ Кабинетная улица расположена в Центральном районе Санкт-Петербурга, ныне улица Правды. В 1913—1914 годах И. Д. Сургучёв проживал в доходном доме А. И. Касаткина по адресу: ул. Кабинетная, 4, кв. 12.





— Чем?

— Ты запретил мне выполнить на земле мое дело, мое призвание. Ты два раза отнял от меня моих детей. Ты позволил этому старому, отвратительному Борису Иаковичу два раза убить и искромсать то, что было для меня святейшим. И ты помнишь, как я рассказывала тебе, что мне снятся сны: вот моему ребенку щипцами дробят голову, выкалывают ему глаза. Я — мать не родившихся душ, но душ. Мне кажется, что обе они были бы талантливы, потому что в те времена я любила тебя всем существом, всем основанием, всем светом своим. Я отдавала, каждая капля крови моей была горяча, и я жадно смешивала ее с твоей, я молилась неведомому Богу, я целовала следы твои, пуговицы твоего пальто. Если бы ты умер тогда, я бы не дала тебе одному лечь в могилу, я бы легла рядом с тобой, и пусть бы меня живою засыпала земля. Вне тебя не было никого и ничего.

— А теперь?

— Теперь не то. Ты жесток. Ты обманул меня.

— Но ведь ты же сама настаивала.

— Настаивала не я, настаивал недалекий ум мой, трусливое сердце, но то, что в чудесном и единственном псалме называется «внутренняя моя»²⁹, протестовало и бунтовало и теперь заставляет меня уже ничего не ждать от тебя и ни на что не надеяться.

— Правда, апостол Павел сказал: «Любовь не мыслит зла и все покрывает»³⁰.

— Он сказал правду. Это самое точное определение любви.

— А ты теперь, Таня?

— Я мыслю зло и всего не покую.

— Итак?

* * *

— Итак. Вот приехали. Что же ты думаешь делать, братец? Надо бы уже встать, почиститься, помыться, побриться, причесаться. Пойдем на палубу, посмотрим на Царьград.

Это говорит уже Таня внешняя, не сложная, такая близкая и ощутимая.

— О чем думать, Таня? Весь пароход говорит, что через три месяца вернемся.

Таня поднимает свою милую головку, весело глядит на море, и мне кажется, что я ясно тогда вижу берег Крыма, бухту, Ялту, Ай-Петри³¹, гостиницу «Джалита»³² и балкон № 132.

²⁹ Цитата из псалма: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его» (Пс. 102:1).

³⁰ Парафраз «Гимна любви» из 1-го Послания Св. Апостола Павла к Коринфянам (1 Кор. 13: 4—13).

³¹ *Ай-Петри* — гора в составе массива Ай-Петринская яйла в Крыму. Находится над городом Алушкой и поселком Кореиз.

³² «*Джалита*» — гостиница в Ялте, где в 1919—1920 годах И. Д. Сургучев проживал в № 132. В «Джалите» в эти годы размещалась редакция газеты «Ялтинский курьер», редактором которой до весны 1920 года он являлся.

* * *

Я учился на восточном факультете С.-Петербургского университета на китайско-маньчжурско-монгольском отделении³³, был оставлен при факультете и собирался делать ученую карьеру.

Моя специальность — китайский язык.

Во время каникул я обыкновенно жил среди калмыков в Большедербетовском улусе³⁴ Ставропольской губернии.

Однажды я там у одного гелюна³⁵, очень милого, умного и большого чахоткой, нашел три сказки, в конце учебы впервые мною переведенные и опубликованные³⁶.

Так там описывалась красота женщины.

«Была темная ночь, и вот красавица вышла на крыльцо своего дома. И когда посмотрела налево, то сразу стали видны сандаловые леса, а когда посмотрела направо, то все девушки и женщины той стороны проснулись и принялись за работы, сказав: “Встало солнце”».

* * *

И когда Таня в темноватый ноябрьский вечер посмотрела на Царьград, то мне показалось, что по темным крышам, по тонким минаретам, по полумесяцам, по Галатской башне³⁷ скользнул луч, и я сказал:

— Встало солнце.

Но я не растерялся и спросил:

— А мне не хорошо, небритому?

Таня деловито ответила:

— Очень даже, дорогой мой!

* * *

Когда любовь, та настоящая, кровавая, от которой азры³⁸ умирают, прошла, что ее еще удерживало около меня?

Чудесный номер в «Джалите» с балконом на море, обеды у Зееста³⁹, обилие вина, хорошее и уважительное отношение ко мне людей, возможность заказывать платья и сапожки.

³³ И. Д. Сургучёв окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета в 1908 году.

³⁴ *Большедербетовский улус* — административно-территориальная единица в Астраханской и Ставропольской губерниях, Калмыцкой автономной области, Калмыцкой АССР, существовавшая до 1930 года.

³⁵ *Гелюн* (гелюнг) — калмыцкий и монгольский священник, служитель религиозного культа.

³⁶ Публикация не обнаружена.

³⁷ *Галатская башня* — расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галата. Построена генуэзцами в 1348—1349 годах как часть оборонительных сооружений и получила название «Христова башня». Во времена Османской империи использовалась в качестве обсерватории. Ныне объект культурного наследия. Высота башни 67 метров, диаметр — 9 метров, высота над уровнем моря — 140 метров.

³⁸ *Азра* (перс.) — дева, девственница. Название одного из персидских (арабских) племен, прославившегося своей любовной лирикой, легендами и сказками о любви.

³⁹ *Зеест* Федор Андреевич (1855—1945) — знаменитый петербургский повар, член парижской кулинарной академии, владелец популярного «Кафе-ресторана» напротив Александринского театра, который посещался по преимуществу богемой — актерами, художниками и литераторами.

Теперь на всем этом надо поставить крест. Нет ни «Джалиты», ни Зееста, ни людей — есть обманщик и путешественник на лодке Харона, — и это никого не соблазнит, никого не приворожит и никого не привлечет.

— Вай тоу ю и гэ шэнь. Ши шун?

Вот перевод этой фразы:

— Около моего дома стоит человек. Кто он?

* * *

Перед нами амфитеатр старого легендарного города. А вот, около красной церковки⁴⁰, и она, Святая София.

— О, Матушка, спаси! О, Матушка, защити! Покрой пресвятым покровом Твоим!

Это Танина молитва. И я думал: «Откуда в этой женщине такие мудрые, такие испуганные слова?» И знаю, что и они, эти слова, всегда жили, живут и будут жить там, под спудами ума, сердца, чувств, желаний.

А сбоку какой-то мрачный бас, сдерживая мокротный, то и дело подступающий кашель, сдержанно и значительно, с глубокой и скрытно-радостной верой, повествует:

— И вот, когда в Св. Софию на коне и в шапке въехал Мехмед⁴¹, то, значит, шла обедня. Служил старенький батюшка. Видит батюшка такое дело, что в собор въехал на лошади поганый турка, берет чашу и подходит к стене. Стена разверзается и принимает его с чашей. А затем хлоп — и опять срослась. Придет время, возьмем мы, русские, Св. Софию. Снова поставим на куполе крест, и тогда расставится стена и снова оттуда выйдет отец и окончит обедню⁴². Тогда, значит, воины причастятся.

— Когда же это будет? — спросил я.

— Бог весть, — ответил усач, — лет через 100, а может, через 200. И тогда у меня в ушах особенно решительно прозвучало это «мы».

— А у вас дети есть? — спросила Таня.

— Как же, есть! Трое сынов и две дочери, — ответил усач.

«Значит, твои причастятся», — несомненно, это подумала Таня. Несомненно, это. Готов спорить.

Звезды, чуть проглянувшие, скоро делаются яркими и выпуклыми. Присмотревшись, чувствую рельеф небесной карты.

⁴⁰ Церковь Богоматери Панагиотиссы (Марии Монгольской) — единственная сохранившаяся с византийских времен церковь Стамбула, которая никогда не служила мечетью и в которой всегда совершалась божественная литургия. В настоящее время богослужение совершается в отдельные дни, в частности 15 августа (Успение — храмовый праздник) и во вторник Светлой седмицы.

⁴¹ Мехмед II Завоеватель, также известный как Магомет Завоеватель (1432—1481), — османский султан. В мае 1453 года войска во главе с Мехмедом II захватили Константинополь.

⁴² Одна из самых известных константинопольских легенд.





Шерстяные чулки

В осенний ноябрьский день на константинопольский рейд пришло из Крыма 65 русских кораблей. Боже мой! Что стало с этим шумным, веселым, старым жувльническим городом! Корреспонденты, армяне, мо-нахи, кинематографисты, паши, англичане, турчанки в непроницаемых вуалях, дервиши в высоких серых камилавках, представители вселенско-го патриархата, умные мальчики в коротких штанишках с аппаратами 9 x 12, люди с биноклями Цейса, — все высыпало на берег и смотрело, как на рейде, с поднятыми желтыми санитарными флагами, стоят 65 русских кораблей, перегруженных до отказа, бессильно повалившихся на бок от непомерной тяжести. Люди, пришедшие на этих кораблях, ели американские галеты и английский красный не разогретый корн-биф. Не хватало у них, вот уже несколько дней, одного: пресной воды.

И вот я видел, как ловкие и предприимчивые греки, сразу сообра-зившие, в чем дело, повезли к этим кораблям аппетитные (из-под вина) толстостенные, обитые обручами бочонки с пресной, соблазнительно чистой и прохладной водой из источников Терапии⁴³, Бейкоса⁴⁴ и Буюк-Дере⁴⁵. Загадочно улыбаясь, греки требовали лиру за ведро — по тог-дашнему счету два миллиона рублей.

Лир не было, и скоро, после некоторых колебаний, на веревках с вы-соких корабельных бортов в греческую лодчонку с надписью «Мегала Эллас»⁴⁶ поползли кожаные безрукавки, обручальные кольца, френчи, с которых не отпарывали орденских нашивок, сапоги, стыдливо свер-нутое белье. Одежду грек долго и внимательно рассматривал на свет: не побило ли молью? В сапогах — стучал пальцами по подошвам, при-слушиваясь чутким ухом к верности звука. Кольца задумчиво и мелан-холически взвешивал на ладонях, как на весах: сначала на левой, потом на правой. А люди, получавшие воду, пили ее, как причастие, и потом кричали вниз греку:

— Сукин же ты сын! Ты же православный! Ты же, когда крестишься, кладешь руку сначала на правое плечо, а потом на левое. Каким именем тебя, собака, назвать надо?

Грек, не понимая, мило улыбался, приветливо кивал головой, делал ручкой и отвечал:

— Кардаш! Кардаш!

Что по-турецки значит: приятель.

⁴³ *Терапия* (ранее — Ферапия; *тур.*: Tarabya — Тарабья) — рыболовецкая деревня, затем пригород, ныне квартал Стамбула на европейском берегу Босфора, известный своими историческими памятниками и рыбными ресторанами. В начале XX века местность со-храняла характер аристократического пригорода Константинополя, где располагались летние резиденции послов. До 1950-х годов население пригорода оставалось преимуще-ственно греческим.

⁴⁴ *Бейкос* — город и район провинции Стамбул, расположенный на северо-западе полу-острова Коджаэли.

⁴⁵ *Буюк-Дере* — приморская деревня, лежащая на европейском берегу Босфора, где рас-полагалась загородная резиденция посла Российской империи в Турции. В 1920—1923 годах была вторым по величине местом, где жили русские офицеры, сотрудники российского посольства и даже кадеты Донского кадетского корпуса.

⁴⁶ «*Мегала Эллас*» (*греч.*) — «Великая Греция».



А потом, рассмотревши, что на подоспевших в это время носках, на пятках, есть дыры, — замотал головой, испуганно замахал руками: и можно было подумать, что на веревке ему спустили не чулки, а тарантула. Владелец же оных, приложив ко рту ладони, кричал, как в рупор, шел на всякие компромиссы и просил за носки уже не стакан, а всего полстакана воды из этого вкусного, прохладного тридцативедерного бочонка. И зря, и долго, мешая греку, мотался на узловатой веревке остроносый, закопченный жестяной чайничек, и рядом с ним — связанные, продранные на пятках, серые шерстяные носки.

Теплое Рождество

Константинополь лет двадцать тому назад был, пожалуй, единственной в своем роде смесью племен, одежд, наречий, состояний. Константинополь — город трех праздников, ибо пятница, суббота и воскресенье, день за днем, одинаково благоговейно чтутся в нем. Царственный и таинственный город, он и до сих пор еще не разгадан и, во всяком случае, далеко еще не изучен. Святая София! Что перед ней апостол Петр с прославленным микеланджеловским куполом?⁴⁷ Фрески Кахрие-джами (бывший греческий монастырь Хора)⁴⁸ затмевают и венецианского Св. Марка⁴⁹, и палермитанскую капеллу⁵⁰. Цветные окна Ибрагима-пьяницы⁵¹ сводят на нет самые изысканные достижения итальянских и французских соборов.

Я любил перед вечером влезть на крышу своего дома и, из Пера⁵², смотреть на богохранимый и благочестивый Стамбул. Минареты и огромные горбатые мечети покрыты, как на непроявленной переводной

⁴⁷ Имеется в виду собор Святого Петра (базилика Святого Петра) — католический собор, центральное и наиболее крупное сооружение Ватикана, крупнейшая историческая христианская церковь в мире. В 1546 году руководство работами по строительству собора Св. Петра было поручено Микеланджело. Он вернулся к идее центральнокупольного сооружения. Все несущие конструкции Микеланджело сделал более массивными и выделил главное пространство. Он возвел барабан центрального купола, но сам купол достраивал уже после его смерти (1564) Джакомо делла Порта, придавший ему более вытянутые очертания.

⁴⁸ Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре — наиболее сохранившая свой первоначальный вид византийская церковь в Стамбуле. Мозаики и фрески в церкви — непревзойденное художественное достижение Палеологовского возрождения. В 1511 году османы заштукатурили все изображения византийского периода, к зданию пристроили минарет, купол переделали, чтобы обратить церковь в мечеть Кахрие-джами. Хора вернулась к жизни как островок Византии посреди современного исламского города в начале XX века. В августе 2020 года власти Турции решили снова превратить монастырь в мечеть.

⁴⁹ Собор Святого Марка — кафедральный собор Венеции, представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе.

⁵⁰ Палатинская капелла — капелла Норманнского дворца в Палермо, личная капелла сицилийских королей и вице-королей.

⁵¹ Дворец Ибрагим-паши (1494—1536) — здание на стамбульской площади Султанамет, бывшая резиденция великого визиря Османской империи Паргалы Ибрагима-паши. Памятник османской архитектуры XVI века.

⁵² Пера — главная улица европейской части Константинополя на западном берегу Босфора, где находились крупные посольские миссии, в том числе и российская. Здесь в основном и селились русские беженцы, а также в районе Галата, около знаменитой башни, возле торговой площади Таксим или в традиционно русском районе Каракей.



картинке, белесоватой дымкой. Вот старый султанский Сераль⁵³ с тысячью комнат для гаремных затворниц. Рядом — Оттоманский музей⁵⁴, чем-то напоминающий наш петербургский имени Александра Третьего⁵⁵. Как червями кишит разнокалиберным людом Галатский мост⁵⁶. Над всем царит старая Галатская башня, которую теперь оскорбили, приклеив на ее верхушке радиотелеграф. Так идиот и варвар на голову античной статуи надевает лопухий колпак. Вот залив: как медленные гигантские гады, копошатся в нем союзные⁵⁷ дредноуты⁵⁸. То уходят, то приходят веселые, суетливые коммерческие корабли. Пустынна только северная, когда-то шумная, российская дорога. По Босфору, вправо и влево, скользят быстроходные и неуклюжие пароходики, которые здесь зовут ширкетами. Вот Принкипо⁵⁹, вот Бейкоз, это маленькое неудавшееся турецкое Монте-Карло. Терапия, Буюк-Дере, где в роскошных залах русской посольской дачи, под людовиковскими люстрами, на заплеванных паркетных полах, были разбросаны, в качестве постелей, жалкие лохмотья крымских беженцев. Вот Золотой Рог⁶⁰, а вот и русские парходы⁶¹, которые в качестве залога «зажали» здесь французы⁶². У самых моих ног громоздятся николаевские серые здания российского посольства. Когда был поднят вопрос о постройке для константинопольской миссии собственного здания, Николай Первый сказал: «Выстроить самый большой дом в городе».

Как муравьи копошатся люди. И даже в муравьиной куче русские сразу заметны. Что мы принесли в этот край? Во-первых, еще большую

⁵³ *Сераль* — европейское название султанского дворца и его внутренних покоев (гарема) в Османской империи.

⁵⁴ Музей турецкого и исламского искусства расположен в историческом дворце Ибрагима-паши на площади Султанахмет в Стамбуле. Основан в 1914 году.

⁵⁵ В настоящее время Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге.

⁵⁶ *Галатский мост* — разводной мост через бухту Золотой Рог.

⁵⁷ Имеются в виду Великобритания и Франция — союзники России в Первой мировой войне.

⁵⁸ *Дредноут* — появившееся в начале XX века поколение артиллерийских военных кораблей, характерной особенностью которых было однородное артиллерийское вооружение из большого числа орудий только крупного калибра.

⁵⁹ *Принкипо* (тур. назв.: Бююкада) — самый большой из Принцевых островов в Мраморном море. На нем расположены три православных монастыря.

⁶⁰ *Золотой Рог* — узкий изогнутый залив, впадающий в пролив Босфор в месте его соединения с Мраморным морем.

⁶¹ Корабли и вспомогательные суда Российского императорского флота, а также мобилизованные парходы, участвовавшие в эвакуации из Крыма военнослужащих Русской армии генерала Врангеля и гражданского населения, не принявшего большевизм.

⁶² 6—19 ноября 1920 года на Босфоре сосредоточилось 126 судов русского военного и торгового флота, на борту которых было около 150 тысяч человек как чинов Русской армии, так и гражданского населения. На судах, пришедших из Крыма, было вывезено также и казенное имущество: интендантских грузов (продовольствие, обмундирование, белье, шерсть, обувь, мануфактура) на сумму около 60 миллионов франков, артиллерийских грузов на 35 миллионов франков и угля на 6,5 миллионов франков; всего на сумму до 110 миллионов франков. Все это имущество, за исключением весьма незначительной части обмундирования, белья и проч., выданного на нужды армии и беженцев, на сумму примерно 15 миллионов франков, взято французами. Согласно договору главнокомандующего Русской армией генерала П. Н. Врангеля с верховным комиссаром Франции на юге России графом де Мартейлем, все лица, эвакуированные из Крыма, поступали под покровительство Французской Республики, взамен чего правительство Франции брало в залог русский тоннаж.



суету. На мосту, по Пера, в закоулках Галаты⁶³, в коридорах большого базара, у дверей тоннеля торгуем спичками, щипцами для завивки волос, пирожками, пончиками, шоколадом. Гордо и принципиально мы не платим торговых пошлин за проход по мосту, ссылаясь на какой-то Кючукский договор⁶⁴. Целыми караванами, непрощенные гости, мы ноуем под арками их мечетей. Пооткрывали массу ресторанов, в которых с утра до вечера орем цыганскими гортанными голосами: «По обычаю петроградскому мы не можем жить без шампанского». В зеленый цвет начали перекрашивать турецкие дома. Снимаем шапки, входя в их учреждения, и тем коробим глаз правоверных. Развели такой игорный азарт, что по Таксиму, мимо рулеток, страшно пройти. Одних лото мы пооткрывали больше шестисот. Сочиняли петушиные и тараканьи бега с ипподромом и тотализатором. И на всем этом — и на деловом, и на беспутном — лежало какое-то соблазнительное и заразное уменье жить. И только здесь, в необычайных условиях, я понял, как талантлив и предприимчив русский человек: наряду со всеми этими пустяками в актовом зале греческого «Силлогоса»⁶⁵ учнейший греческий музыкант, представитель старейшей культуры, перемешивает свои унисонные песнопения с великолепным творчеством Бортнянского⁶⁶ и Турчанинова⁶⁷, чтобы учиться их очаровательному и богоугодному мастерству.

Вон маячат ворота, в которые ворвались турки при осаде Константинополя. Теперь это пустынное идилическое местечко. Трава забвения, о которой поет Руслан⁶⁸; гордые стены, с которых давно уже сорван византийский мрамор; ров, который приходилось переплывать под градом ядер; кладбище, где сложены кости турок, которые пали при осаде гордого и дорого стоившего города.

Мало-помалу темнеет. Муэдзины⁶⁹, приложив рупор ладони к губам, зовут на вечернюю молитву. Через главную, самую столичную улицу Пера медленно проходит библейское и такое среди автомобилей неожиданное стадо овец. Зажигаются звезды. Узоры — всё те же, но здесь серебро сильнее, полнопробнее. Синева — глубже. Пускающийся в небесный путь выплывает обновившийся месяц, символ бесконечных смертей и рождений.

Завтра — Рождество, первое теплое бесснежное Рождество. Посмотрим на Телегу, как говорила моя мать, или на Большую Медведицу, как

⁶³ *Галата* — исторический район в европейской части Константинополя. Основан генуэзскими колонистами в поздневизантийскую эпоху как предместье, позднее стал основным торговым районом города.

⁶⁴ Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Османской империей, заключенный 21 июля 1774 года; завершил Первую турецкую войну при Екатерине II.

⁶⁵ Эллинский филологический силлог — крупнейшая греческая библиотека в Константинополе, заменявшая университет.

⁶⁶ *Бортнянский* Дмитрий Степанович (1751—1825) — русский композитор, дирижер, певец. Воспитанник, позднее директор Придворной певческой капеллы в Санкт-Петербурге. Считается создателем классического типа русского хорового концерта. Сочинял также светскую музыку.

⁶⁷ *Турчанинов* Петр Иванович (1779—1856) — русский композитор, протоиерей, регент.

⁶⁸ Герой оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила» по одноименной поэме А. С. Пушкина.

⁶⁹ *Муэдзин* — в исламе служитель мечети, призывающий мусульман на обязательную молитву (намаз).



называют ее астрономы. Проведем от последней звезды (от головного Коня) перпендикулярную линию и найдем звезду Северную, Полярную. Там — снег, там трещат морозы, бегают в снежных деревьях белки, лежат в норах медведи, лисы заматают пышными хвостами воровские следы, скрипят по снегу полозья и печатают печати копыт озябшие кони. Там сейчас запевают: «Христос рождается, славите»⁷⁰. Впрочем, или это обман слуха? Поют и здесь. Откуда несется этот чудесный, так полно звуком налитой меццо-сопрановый оперный голос? Ах да! Это — в посольстве идет хоровая спевка. И поет моя вечная, выдуманная, моим воображением созданная и нигде не существующая Лёшенька⁷¹. Призрак. Надо спускаться с крыши. Иначе — в темноте по лестнице сломаешь ногу.

Чудеса Константинополя

Сильное впечатление произвел на меня Константинополь тремя вещами: саркофагом Александра, трупом царя Сидонского⁷² и светящимся полом театра Printania.

Надо сознаться с самого начала, что мы сделались большими дикарями. Семь лет оторванности от Европы сделали свое дело, в особенности три последних года Гражданской войны.

И поэтому, когда я случайно узнал, что в Константинополе есть государственный музей древнеэллинического искусства⁷³, я с большой, годами накопленной энергией начал собираться туда.

И четвертое обстоятельство, которое наиболее сильно поразило меня, было то, что никто из граждан этого города, к которым я обращался с расспросами, не знал о существовании сокровищницы.

Я обращался к кондукторам трамвая, к грекам самого интеллигентного вида, к священникам в шапках, похожих на круглый столик, к туркам в фесках и белоснежных воротничках, к французам, англичанам, — никто не знал этого музея. И я уже решил было, что соотечественник, рассказавший о нем за завтраком в Union Française⁷⁴, просто подтрунил надо мной.

И я вспомнил Италию...

О, благодатный край!

На площади Santa Croce⁷⁵ я искал, как пройти к домику Микеланджело. Почему-то я никак не мог разобраться в плане города и решил расспросить о нем первого попавшегося флорентинца.

⁷⁰ Цитируется ирмос 1 Рождественского канона.

⁷¹ Видимо, Муза писателя.

⁷² Сидонский саркофаг — один из самых знаменитых саркофагов античности, обнаруженный с тремя другими в некрополе Сидона в 1887 году и впоследствии перевезенный в археологический музей Стамбула.

⁷³ В настоящее время Археологический музей Стамбула — комплекс из трех археологических музеев (Археологический музей, музей Древнего Востока и Изразцовый павильон) в районе Эминёню.

⁷⁴ *Union Française* — «Французский союз» Стамбула, культурная ассоциация отдыха и взаимопомощи, основанная в 1894 году.

⁷⁵ *Санта-Кроче* — площадь во Флоренции с расположенной на ней одноименной церковью, один из центров общественной жизни города.



— Скажите, пожалуйста, синьор, — сказал я, — вот здесь, где-то поблизости, есть домик Микеланджело. Не можете ли вы указать мне, где именно он находится.

Человек взглянул на меня и ответил:

— Не знаю.

На его беду, мимо нас, попыхивая длинной сигарой, шел и его ответ слышал какой-то невзрачного вида господин в широких плюшевых штанах.

— В чем дело? Что желает знать господин форестьер⁷⁶? — с необычной учтивостью осведомился он.

— Я хочу знать, — ответил я, — где находится домик великого итальянского скульптора Микеланджело.

— То есть вы хотите сказать, — поправил меня синьор в плюшевых штанах, — великого флорентийского скульптора Микеланджело.

— Пусть будет так, — охотно согласился я.

— Не пусть будет так, а именно так, — тоном, не допускающим возражений, сказал синьор в плюшевых штанах и, вынув сигару из губ, вдруг плюнул куда-то особенно далеко, как-то пренебрежительно отставил ногу и как-то необычайно, убийственно небрежно спросил, указывая на мою первую жертву, к которой я сначала обратился с вопросом: — И этот флорентинец не знает, где находится дом Микеланджело?

Я чувствовал, что предаю человека, но делать было нечего, и пришлось ответить:

— Да, не знает.

Человек в плюшевых штанах несколько минут казался человеком, забывшим все глаголы, которыми можно жечь сердца людей. С каким непередаваемым презрением оглядывал он с головы до ног своего согражданина, какие потоки гневных мыслей и настроений струились чрез его пламенные очи — зеркало души.

Наконец, он снова вложил сигару в зубы и сказал:

— Andiamo!

Я проявил полную готовность следовать за ним.

— Andiamo! — рявкнул он по адресу флорентинца, не знавшего, где находится дом Микеланджело.

Не знаю, по каким побуждениям, но и тот послушно, как овца, ведомая на заклание, поплелся за нами.

И человек в плюшевых штанах, грозя очами, как генерал седой, повел нас, непросвещенных.

За ним, еле поспевая, шел я, а за мной, обливаясь потом, жертва моего неумения разобраться в плане прекрасного цветущего города.

Горел июльский полдень. Город жил своей шумной жизнью: кричали продавцы зелени, ревели ослы, синьоры и синьорины переговаривались окно в окно, звенели трамваи, кружась по площади Santa Croce, и только мраморно спокоен был один Данте, стоявший, как острили над автором памятника итальянцы, в позе человека, которому необходимо перешагнуть лужу.

⁷⁶ Форестьер (устар.) — иностранец-путешественник в Италии.



Мы вошли в какую-то узкую и прохладную улицу и шли то по дороге, то, уступая трамваю, по тротуару.

Человек в плюшевых штанах в своей стремительности был похож на паровоз, выпускающий огромные клубы сигарного дыма. Засунув руки в карманы, что-то бормоча сквозь зубы, раскачиваясь то вправо, то влево, он летел, подобен Божьей грозе. На ходу я уронил свой путеводитель. Жертва молчаливо, услужливо подняла его, и мы немного отстали: какая мука была догонять паровоз.

Наконец, перед маленьким двухэтажным домиком⁷⁷ он остановился.

— Ессо, Signore! — с изысканнейшей вежливостью, сняв наотмашь шляпу, сказал он мне, указывая на вход, где другой синьор, ожидая меня и лиру, уже наладился оторвать розовый билет.

— Ессо! Ессо! — взревел он вдруг по адресу моей несчастной жертвы. — Ессо casa di granda artista Michelangelo! Флорентинец, не знающий этого дома, должен быть заключен в тюрьму, черт возьми. Необходимо, чтобы муниципалио издал такой закон. Иначе перед каждым несчастным форестьером каждый порядочный патриот должен сгорать от стыда весь от головы до ног! Ессо, Signore!

Я, выправив билет, поспешил скользнуть наверх и уже рассматривал инструменты, которыми работал великий мастер, и рисунки его орлов, а голос пламенного патриота все еще гремел на мостовой...

Все это мне вспомнилось, когда я рассматривал саркофаг Александра, гордость и великое украшение константинопольского музея.

И такого музея не знать!

Удивительно ли, что в таком городе артисты метут улицы, а писатели умирают с голода.

В большой зале, под стеклянным футляром, стоит великое и подлинное чудо древнейшего искусства. Откуда-то из далеких недр земли, как видно из вывешенного на стенке плана, извлекли его, и оно, каждым своим сантиметром, смеется над нашей культурой и бросает гордо-молчаливые вызовы векам: и восемнадцатому, и девятнадцатому, и нашему убогому, драчливому двадцатому:

— Вот, несчастные червяки, ползающие по земле, учитесь и дивитесь, как жили и творили на земле, когда вашей культуры и помину не было.

Точно так же, как святейшая София горделиво-молча говорит современным строителям-сольнесам⁷⁸:

— Ну-ка! Разгадаете ли вы мое чудо? Сумеете ли вы не то что построить, а только измерить и вычислить, и сообразить, как построен мой единственный на земле, воистину небесный, купол.

И мы, всю силу своего ума и энергии вкладывавшие в изобретение танков и бомбометателей аэропланов, должны поневоле стоять с поникшими, виновными, скорбными головами.

⁷⁷ Имеется в виду музей Casa Buonarroti — дом, в котором устроен музей, принадлежал Микеланджело Буонарроти, однако он в нем никогда не жил.

⁷⁸ *Сольнес* — герой пьесы Генрика Ибсена «Строитель Сольнес» (1892). Имя стало нарицательным, то есть речь идет о человеке, который ничего не сумел достичь ни на ниве творчества, ни на ниве любви.



— Боже мой, — горестно говорил мне один наш известный писатель, — ведь если бы всю энергию, всю кипучесть, все напряжение, какое люди затратили на эту войну, направить в лучшую сторону, что можно было бы сделать! Как богато можно бы было украсить землю! Подумайте: ведь из Альп, из Пиренеев, из Апеннин и из Гималаев можно было бы высечь скульптурные группы... Боже мой, Боже мой. Когда же успокоится земля?

И писатель горестно хватался за седую голову.

Но все земные волнения, все заботы, все огорчения стихают, когда унылый грек срывает суконное покрывало с трупа царя Сидонского⁷⁹.

Вот под стеклянным футляром мирно лежит он, вот тут же сбоку стоит его пышный саркофаг.

2 500 лет тому назад грозным владыкой Тира и Сидона, соседом великой Иудеи был он. Как прислушивались к каждому его слову, к каждой интонации слов, как жадно ловили каждый его взгляд, каждый жест, каждое движение головы, вот этой головы, от которой остались только глазные впадины, зубы и череп с присохшими остатками волос.

Какие женщины любили тебя, царь Сидонский! Каких красавиц посылали тебе и север, и запад, и восток, и юг! Одетый в пурпурные одежды, тенью божества был ты на земле, и вот теперь стою перед тобой я, изгнанник родной земли, гляжу на твое засохшее сердце и думаю, что все-таки лучше быть собакой на земле и вечерами выть на луну, чем царем Сидонским в Аиде...

Третье чудо Константинополя — светящийся пол театра «Принтания».

Это чудо, конечно, чудо относительное, и я оцениваю его только по той силе впечатлений, которое оно произвело на меня.

В этом театре французы устроили *Grand bal* в пользу наших беженцев. Балу предшествовала обширная, обычная программа обычного Music-hall'a: «итальянки, немки, шпанки», французы и французенки, «русачка» Бородина в национальном костюме, малороссийские танцоры и даже какие-то российские «знаменитые» пантомимисты прошли перед зрительным залом, который, как и сцена, тоже представлял собой винегрет народов.

И вдруг случилось неожиданное!

В промежутке между двумя какими-то номерами электричество внезапно потухло, и матовыми огнями вспыхнул квадрат пола.

Меня, дикаря, давно уже забывшего даже такие вещи, как сахар, это поразило тогда. Я и забыл, что точно такие же светящиеся полы давным-давно — *plusquamperfectum*⁸⁰ — я видел в Петербурге, на Мойке, в казино обаятельнейшего Ф. А. Зееста.

Музыка заиграла необычайно шумный танец фокстрот — порождение великой заатлантической культуры.

⁷⁹ В настоящее время доказано, что саркофаг, атрибутированный в прошлом как саркофаг Александра Македонского, в действительности является саркофагом сидонского царя Абдалонима.

⁸⁰ *Plusquamperfectum* (лат.) — давнопрошедшее время.



Пианист из всех сил бил по клавишам, словно месил густое тесто, прыгал на стуле, кричал, стучал крышкой пианино, его партнеры тоже не жалели ни струн, ни смычков, ни флейт и со зверскими напряженными лицами трудились во славу шумного заатлантического дела.

А на огненном полу, в обуви чудесной работы, какой давно уже не видел мой глаз, в платьях парижских домов, о которых давно уже забыло мое воображение, как тени, сладострастно обняв своих гордых кавалеров, скользили прекрасные дамы.

Горделиво, впереди всех, шел французский лейтенант, за ним следовал элегантный английский капитан, за капитаном — салоникский грек, за греком — турок в феске и безукоризненном смокинге, и даже неизвестно откуда прибывший итальянский берсальер потряхивал перьями своей шляпы, кокетливо прикрепленной к театрально-красивой шпаге...

«Аллегорическая картинка, — подумалось мне, — народы Европы танцуют на огненном полу».

Памятуя о своих изношенных башмаках, порванных костюмах, нечесаных головах, на хорах стояли мы, русские беженцы, только что переплывшие Черное море, и казалось нам, что внизу, на огненном полу, танцуют беззаботные, ничего не знающие, ничего не подозревающие дети.

А мы уже были мудры, мы знали всё.

Мы уже кончили наш танец.

Певец

В Константинополе много проклятых переулков и улиц.

Город, не создавший ни своего искусства, ни литературы, относится к женщине двояко: или держит ее в гареме, под семью замками, и покрывает ее лицо непроницаемой, безобразной чадрой, или выбрасывает ее нагою на площадь, и пусть кто хочет равнодушно и безжалостно топчет ее тяжелой пятой. И тут этот город уже беспощаден. Равного ему в этом отношении нет в мире другого города.

Стоял январский весенний вечер: днем на улицах продавали фиалки. Небо было синее, по нему, как по успокоившемуся океану, беззаботно плыла легонькая, безвёсельная лодочка молодого месяца. Народу на главной улице было много, а что может быть скучнее константинопольской толпы? Бескультурье, внешне воспитанное немцами, — немцами Вертгейма⁸¹ и Leipzigerstrasse⁸². Дешевые котелки, дешевые демисезонные пальто, неуклюжая роскошь дам, русские каракули и кроты на чужих плечах — все это одинаково удручает и тяготит в обстановке улицы, слегка напоминающей петербургскую Садовую.

О, божественный Петербург! Какая из столиц вообще может сравниться с Тобой? Твои дворцы, Твоя Нева, Твои мосты, Твои проспекты

⁸¹ *Вертгейм* (нем.: Wertheim) — провинциальный немецкий город (совр. написание: Вертхайм).

⁸² *Leipzigerstrasse* (нем.) — берлинская улица.



и улицы — только теперь, потеряв все это очарование, мы прозрели, мы поняли, что такое Ты и как велик был гений, создавший Тебя!

Мечтая о России, об ее теперешних снегах, о вечерних огнях Невского, о часах, прожитых в петербургских театрах, и думая о здешней унылой жизни — жизни русского уездного города, только с более отшлифованным рестораном и французскими надписями на кинематографических картинах, — я спустился от Пера по какому-то переулку и очутился на незнакомой мне недлинной улице. Оглянулся по сторонам — и вижу обычную константинопольскую картину. За решетками первого этажа, как звери в зоологическом саду, сидят женщины и каждому проходящему наперстками стучат в окно.

Все ярко одетые, с красными лентами в волосах, то жадно, то безразлично смотрят они на улицу, и тут же, раскуривая папиросы и грея ладони на чадающих мангалах, сидят, как ведьмы в «Макбет», какие-то старые мегеры с изжеванными лицами и, наострив свои злые кофейные глаза, имеют неусыпное наблюдение за своими жертвами.

Русского сразу видно.

— Рус, карашо! Рус, иди суда! — беспокойно-ласково кричали мне из окон.

Шумно отворялись чугунные двери с традиционными задвижными окошечками, выбегали девочки лет по 13, по 14 и тоже звали:

— Рус, карашо! Рус, иди сюда!

Это было все, что они знали по-русски.

На улице царили главным образом американские матросы.

«*Armée française — rue consignée*»⁸³, — гласила маленькая вывеска, укрепленная там, где висят обыкновенно названия улиц.

Для французской армии эта улица была запрещена, зато поварские шапочки американских матросов мелькали и за окнами внутри домов, и на тротуарах, и в маленьких лавочках, торгующих пивом, ликерами и смирновской водкой.

Тут же присутствовали представители полиции чуть ли не всей Европы.

В особой караульной будке несли дозор турки в серых пальто и серых каракулевых шапках с серебряным полумесяцем. На углу обширное помещение занимали англичане, немного поодаль — французы и *vis-à-vis — carabinieri reali*⁸⁴. Посредине улицы, с палками в руках, важно прохаживались туда и сюда парные американцы.

Ровное течение атмосферы здесь могло поддерживаться только, видимо, мерами чрезвычайными.

«Неужели и здесь любовь и ревность? — думалось мне, — или только пьяный угар?»

Невольно останавливаюсь и вижу такую картину.

В ярко освещенной комнате сидит матрос, на коленях у него — женщина. Полушутливо, полусерьезно она бьет его ладонью по лицу,

⁸³ *Armée française — rue consignée* (фр.) — «Для французской армии эта улица запрещена».

⁸⁴ *Carabinieri reali* (ит.) — королевские карабинеры.



по правой щеке и по левой, — он терпеливо и даже, кажется, внутренне радуясь, переносит это, смотрит на нее и что-то говорит, видимо, оправдываясь.

Он красив — этот американец. Белокурый, светлоглазый, мускулистый, он нравится ей. Она еще молода — ей лет 18—19. Может быть, она только недавно попала сюда? Может быть, у нее еще не атрофировались человеческие чувства и желания? Может быть, этот американец похож на ее первого — на того, из-за которого загублена вся жизнь? По крайней мере, она — это ясно — забыла о долларах. О долларах помнит старуха, протянувшая руки к мангалу. И американец бережно держит женщину и смотрит ей прямо в глаза, и забыл, что она — тряпка, о которую всякий может вытереть грязные сапоги. Не со дня же своего рождения она надела это яркое платье, которое сейчас на ней? И был же день, первый день, когда она только что попала сюда, за эту решетку, многого не знала, и был вечер — тот первый страшный вечер, когда ее уже не любили, а только покупали? И были же те деньги — первые деньги, которые она получила за свое тело? Тогда не горячи, только послушны были ее ласки. Может быть, был пьяный угар, был дурман — мало ли что было? Но была и грань, разделявшая на две половины ее жизнь — жизнь человека и автомата.

Он смотрит на нее — этот молодой, здоровый, отлично сложенный зверь, — и пусть на рассвете завтрашнего дня он забудет ее и уйдет на свой миноносец, но сейчас он не хотел бы видеть человека, который посмел бы протянуть к ней руки, оскорбить ее или обозвать бранным словом.

Притаилась старуха, протянувшая руки к мангалу, почувствовала своим бедным, тоже, вероятно, плохо прожившим сердцем, что в ее невозможной комнате совершается что-то чистое и человеческое.

И, пожалуй, случись какое-нибудь осложнение, вся полиция: и английская, и французская, и американская, и carabinieri reali — нашли бы себе дело.

Толкались здесь и музыканты. Ходили турки со своими кларнетами и маленькими барабанчиками. Неся на плечах тусклые, как нечищенные самовары, трубы, здесь же слонялся, ища заказчика и тщетно припоминая широкие отечественные нравы, русский оркестр. Четыре человека в защитных шинелях — не то солдаты, не то бывшие офицеры — жадно заглядывали в окна: не поманит ли к себе их, пасынков Великой Страны, какая-нибудь неправославная, разгулявшаяся рука?

А небо было синее и далекое, и все так же беспечально одна плыла безвёсельная, беспарусная, волшебная лодочка...

Из левого переулка на улицу свернула извозчичья коляска, въехала и остановилась у первого подъезда. И вот тут-то началась странная, непонятная история.

В великолепном просторном экипаже сидело пятеро: два — на передней скамейке и три — на задней. Четверо из них были турецкие матросы с тусклыми золотыми надписями на круглых, почти монашеских, шапочках. Пятый пассажир, сидевший посередине, был одет в штатское и на голове имел феску.



Матросы были напряженно-молчаливы и серьезны, а штатский сидел, понуря голову, или прислушиваясь к чему-то внутри себя, или глубоко задумавшись. Ясно и несомненно было одно: это не были пьяные люди.

Я остановился, наблюдая эту группу.

Так прошло минуты две-три.

И вдруг штатский запел: высокий, звонкий тенор полился по коридору вечерней улицы. Подняв голову, приставив обе ладони ко рту, как рупор, турок пел какую-то неуловимую, причудливо и капризно, как стекла в калейдоскопе, переливающуюся мелодию. На неопределенных нотах, на каких-то непонятных, дробящихся на четверти тонах, его чистая, четкая и сильная линия голоса извивалась в страстной и явно кого-то призывающей песне. Матросы, угрюмые, ни на кого не глядя, словно исполняя долг, сидели и караулили, оберегали певца.

Остановились все прохожие, повылезли лабазники, застучали выдвигающиеся рамы, высунулись, насколько позволяли решетки, женщины. И сразу в этой собравшейся толпе можно было узнать турок: только они понимали слова песни и слушали, и были невеселы и сосредоточены, как четыре матроса и их кучер.

Остановились американцы, спрятав палки за спину; насмешливо и недоверчиво хмурились англичане. Пение, такое одинокое, такое непонятное, смущало их полицейские головы. Как будто и непорядок, но раз играет музыка, раз гремит оркестр — отчего же и не спеть?

Певец кончил и снова опустил голову и осунулся.

Что-то сказал, чуть повернувшись к кучеру, матрос, сидевший на передней скамейке. Экипаж тихо тронулся вперед, но недалеко: у вторых или третьих дверей он, по сигналу того же матроса, опять остановился.

И опять, понурив голову, словно ожидая вдохновения, сидел человек в феске, и опять неуловимо встрепенулся и, приложив ладони ко рту, запел.

Та ли это была мелодия или другая — трудно было непривычному уху различить. Была страсть, подлинная, вдохновенная, был ясный вечер, была серебряная лодка, на зачумленную улицу снизошло что-то святое и тихое, с чем-то примиряющее, что-то успокаивающее или, может быть, сладко тревожащее...

И прильнули, боясь шелохнуться, к решеткам женщины...

Только в лавке, торгующей пивом, ни на что не обращал внимания волосатый старый грек. Перед ним стояла банка с клейстером, он обмакивал в нее кисть и хмуρο подклеивал ветхие, истрепанные пиастры. По его позе, по его насмешливым холодным глазам, по его пенсне, криво надетому на середину носа, сразу было видно человека знающего и недоверчивого.

Я зашел спросить папирос.

— Нет папирос! — сердито, не подняв глаз, ответил грек.

Тогда я спросил осьмушку бенедиктину. Грек достал флакончик с резинкой на горлышке и, не в пример торговцам с благочестивых улиц, содрал с меня семьдесят пиастров и смягчился.

— Вы не знаете, что это за странная история, — это пение? — спросил я.

Грек посмотрел на свет подклеенную бумажку, придвинул пенсне ближе к глазам и ответил:

— Это один сумасшедший дурак. Он был на войне и ослеп от какого-то газа. У него вылезли глаза. Он слепой, слепой, понимаете? Ну вот.

Грек замолчал.

— А чего же он поет? Он зарабатывает этим на хлеб? — попытался я.

Грек сделал свое молчаливое, традиционное «ох» и спросил меня:

— Сударь мой! Вы были в России богатым человеком?

— Да, был богатым, — соврал я, чтобы снискать расположение в очах грека.

— Ну так вот, — пояснил мне грек, — и вы были богаты, и я — богат. Но если взять вас, вашего папашу и вашего дедушку и если взять меня, моего папашу и моего дедушку и сложить всех вместе, то этот человек купит нас двадцать раз и двадцать раз продаст.

Грек опять смолк. Я еще потоптался на месте и робко заметил:

— Странные места, однако, этот человек находит для своего пения!

Грек сделал какой-то неопределенный жест, заткнул банку пробкой и внушительно сказал мне:

— Когда вы выпьете этот бенедиктин и пустую бутылку бросите в море, она нальется водой и пойдет ко дну. Так и здесь. Когда он вернулся домой и жена увидела его страшные глаза, она пропала, пропала, как утонула. Она не могла с ним жить. Но, господин, посмотрите кругом: мало ли баб на свете? Дай ей бриллианты в уши, повесь на шею жемчуга, на одну руку — рубин, а на другую — изумруд, и самые страшные глаза ей покажутся ангельскими. А этот человек нанимает арабаджи⁸⁵, ездит вот по таким улицам, как наша, и поет, и там — ниже, и там — выше. Думает, что его песню услышит та женщина, которую не прельстили ни жемчуга, ни бриллианты, и откликнется.

Я призадумался и спросил:

— А вы думаете — не откликнется?

Грек снял пенсне, лицо его, без стекол, приняло иное, уверенно-насмешливое выражение, и мне показалось, что он может прочитать мои самые затаенные мысли. Но он щелкнул языком о небо, слегка вздернул головой вверх и ответил:

— Ох!

Я ушел из лавки. Экипаж певца медленно ехал вдоль улицы. И долго еще, идя к дому, я слышал странную и непонятную песню.

*Подготовка текста,
комментарии и публикация: Александр Фокин*

(Окончание следует.)

⁸⁵ Арабаджи — извозчик.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

СЧАСТЛИВЫЙ СКАЗОЧНИК¹

Фрагменты из книги о Юрии Магалифе²

Пробелы в строке

1.

С Юрием Михайловичем мы подружились в семидесятых.

И до этого, конечно, встречались, но от случая к случаю. То в книжном издательстве, то в писательской организации. И случайно. И по делам. А иногда на собраниях.

Собраний тогда проходило много. Где, в конце концов, сплачивать писателей, как не на общих собраниях? Где можно узнать, кто над чем работает, кто что читает, да и просто сгонять партию в шахматы?

<...>

Юрий Михайлович на собраниях писательских (если, конечно, приходил, если не странствовал с очередными концертами по ближним и дальним районам области) никого не сторонился, всех приветствовал, всем пожимал руки, одаривал обаятельными улыбками — и членов партбюро, и беспартийных, и носителей самых величественных фамилий, и просто молодых, почти неизвестных, заглянувших на манящий их огонек.

Сам Юрий Михайлович на этих собраниях большой активностью не отличался, но, если требовалось, мог выступить. Всегда по делу, и непременно всегда с пафосом. Все же актер! Усики запоминающиеся. Улыбка добрая, но как бы себе на уме. Глаза внимательные, смеющиеся, но всегда будто таящие какую-то тщательно скрываемую печаль. Все окружающие были Юрию Михайловичу интересны, на всех хватало веселых захватывающих анекдотов, веселых невероятных историй — тоже захватывающих и веселых, но место в зале Юрий Михайлович всегда старался занять поближе к выходу...

<...>

¹ Окончание. Начало в № 7/2024.

² Публикуется в авторской редакции. — *Примеч. ред.*

Строки с пробелами

1.

...Поэт Магалиф придерживался подхода классического.

Он хотел, он очень хотел увидеть свои стихи изданными — отдельной книжкой, но сомневался: не запоздал ли, будет ли у него читатель? Ведь поэты растут вместе с читателями.

Я сердился: а Иннокентий Анненский? а замечательный Арсений Тарковский? Они запоздали? А сосед наш — томич Михаил Карбышев? Он вообще писать стихи начал только после шестидесяти — разве запоздал? Даже визитки себе заказал: «Поэт Сибири и всея Руси»!

В конце концов, вышла в 1980 году первая поэтическая книга Юрия Магалифа — «Монолог». А через четыре года (ах, эти советские издательские темпы!) еще одна — «До первых снегопадов».

Я был редактором этих книг.

Работать с Юрием Михайловичем было интересно.

Был он внимателен, спокоен, мог возразить, но никогда не настаивал на каком-то варианте.

«Дорогой Геннадий Мартович! — писал он мне в декабре 1983 года, когда рукопись книги “До первых снегопадов” находилась в работе. — Я сделал все, что смог. Учил почти все. При этом несколько перестроил сборник. Нумерация страниц красным карандашом — моя. Взгляните, пожалуйста, на книгу еще раз — в смысле ее композиции. Я сейчас в городе, никуда не уезжаю. А если придется уехать, то прежде всего попрошу Вашего на то соизволения. — (Вот чисто магалифовский подход к делу.) — Я необычайно рад, что мне пришлось работать с Вами. Более того, я горжусь многими Вашими оценками моих стихотворений».

И неизменная подпись — *Маг-Алиф*.

В издательстве к Юрию Михайловичу относились дружески.

Публикацию его сборников поддержал Леонид Васильевич Решетников.

Анатолий Васильевич Никульков (главный редактор «Сибирских огней») с удовольствием (пусть и не часто) печатал в журнале его стихи. Знали, цитировали Магалифа-поэта и Нелли Закусина, и Саша Плитченко, и Коля Самохин.

Начав с высокой ноты, Юрий Михайлович уровня уже не снижал.

И всегда искренне радовался людям. Всегда готов был не только сам рассказать что-то, но и услышать.

<...>

4.

В 1979 году в июльском номере ленинградского журнала «Звезда» появилась большая статья поэта Ильи Фоянкова — «В защиту тех, кто разбрасывается».

Речь в статье шла о четырех писателях — иркутянине Марке Сергееве, ленинградце Владимире Рецептере, новосибирцах Ю. Магалифе



и Г. Прашкевиче. Илья Фоянков защищал указанных писателей от нападков критики, пытался объяснить, доказать, что тяга их к разным, иногда к очень разным жанрам — это тяга естественная.

Да и почему нужно всю жизнь разрабатывать только одну тему?

Юрий Магалиф — артист, указывал Фоянков, но при этом прозаик интересный.

Да, тянет Юрия Магалифа к стихам, к поэзии, не чуждается он и публицистики, хотя начинал с самой что ни на есть волшебной сказки «Приключения Жакони». Детям и родителям сказка сразу понравилась, хотя некоторые особо продвинутые дедушки и бабушки усмотрели в славном игрушечном герое подозрительное сходство с героем знаменитой стихотворной истории, написанной еще в прошлом веке немцем Вильгельмом Бушем (в России историю эту удачно перевел поэт К. Льдов).

Обезьянку Вильгельма Буша звали Жако.

Правда, на этом сходство практически заканчивалось.

Немецкая обезьянка, прямо скажем, отличалась весьма недобрым, прямо скажем, злым, даже злобным нравом, тогда как магалифовская — сама доброта!

К чести писателя Магалифа, указывал Илья Фоянков, он никогда не скрывал «родственности» своего Жакони с бушевским Жако. В самом начале своей книжки в главке «Сначала был Жако» он подробно рассказал о громадном красивом пароходе, на котором прибыла из теплых стран дерзкая немецкая обезьянка. Была она маленькая, с длинным хвостом и с четырьмя руками, при этом чрезвычайно проказливая.

Такая проказливая, что ей никто не радовался.

«Ну сами подумайте: тут — машинное отделение, тут — рубка, тут — якорь, тут — мачты, три белые трубы с черными полосами и тут же — вот тебе раз! — обезьяна. И хоть не хотелось капитану расставаться с Жако, но решил он подарить ее одному своему знакомому шестилетнему Мальчику».

Получив писательскую известность, указывал в своей статье Илья Фоянков, писатель Юрий Магалиф не бросился сочинять одну сказку за другой, всеми способами утверждаться только в одном удачно найденном жанре, нет, он вполне осознанно обратился к самой обыкновенной прозе, «может не столь интеллектуальной, как это сейчас приветствуется, зато по-настоящему интеллигентной». А параллельно... отметил в «деревенской» прозе: написал книгу интереснейших рассказов о современном татарском селе. Кстати, говоря о татарах, вспоминают обычно противников знаменитого сибирского Ермака, но Магалиф пишет о татарах современных — работающих, добрых, умеющих посмеяться. Сам Магалиф подолгу живет в татарском селе Юрт-Акбалык, жители которого до сих пор сохраняют свой родной язык, свои национальные обычаи, даже выписывают из Казани толстый журнал «Совет Эдабияты».

В подобной «разбросанности», отмечал Фоянков в своей статье, замечены критиками и Марк Сергеев, поэт, много сил отдающий публицистике, и Владимир Рецепттер — актер, буквально разрывающийся между сценой и писательским столом, и прозаик Геннадий Прашкевич,



который вообще-то начинал именно как поэт, и только потом проявил себя еще и как самостоятельный фантаст, как интересный реалист-прозаик, но поэзию не оставил, а дополнил ее еще и переводами.

<...>

«Я благодарен всем этим писателям за то, что они продолжают “разбрасываться” — писал Илья Фояков, — а Юрию Михайловичу Магалифу еще и за то, что он не побоялся снова стать молодым, за то, что напомнил нам лишний раз о том, что условны все и всяческие перегородки в искусстве».

5.

Так что не случайно в дневниках Юрий Михайлович себя корил.

«Очевидно — я много сейчас об этом размышляю — мною была совершена крупная ошибка, когда после “Жакони” и “Бибишки” я ушел во взрослые рассказы и повести. Надо было не бросаться в разные стороны».

А он бросался.

Не мог не бросаться.

<...>

6.

Как хорошо, как это хорошо, думаю я, что, несмотря на нашу с Юрием Михайловичем немалую разницу в возрасте, я, как и он, давно, с самого детства знаю уютные томики «Чтеца-декламатора» — как дореволюционные, так и советские. В этих удивительных антологиях, как в неких открытых для всех волшебных сундучках, десятилетиями хранилось (и хранится) все, что так сильно нас трогало (и сейчас продолжает трогать), — любовь, воля, страсть.

В этих уютных, абсолютно всем понятных антологиях — и страдающий Виктор Гофман, и разочарованный Иван Рукавишников. В них — волевой Гумилев, писавший не только о жемчугах и капитанах, но и о рабочем, уже отливающем (для него) пулю. В них напудренный Северянин (тоже, в сущности, продолжатель) со своими трагическими строками о том, «как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб». В них еще не выдохшийся Сергей Городецкий. В них Маяковский и Нарбут, Анна Ахматова и Мария Шкапская. Все-все они там — от Федора Сологуба до Любви Столицы, от Николая Асева до Леонида Мартынова...

<...>

Это — творческий фундамент, поэтическая школа популярного актера-чтеца Юрия Михайловича Магалифа, человека феноменальной памяти. Немало он черпал из «Чтецов-декламаторов»: и поэтов-бунтарей, и поэтов-лириков. Ведь замечательные русские поэты даже битое бутылочное стекло делают достоянием поэзии.

Юрий Михайлович это понимал.

В его артистической программе все было учтено.

Разумеется, и военные годы, не по его вине им пропущенные.

Вот, к примеру, «Чтец-декламатор» 1944 года. Здесь Маргарита Алигер, Павел Антокольский, Александр Прокофьев, Константин Симонов, Алексей Сурков, Павел Шубин, Сергей Михалков, Агния Барто, загадочный, почти мифический Джамбул, а с ними молодой Долматовский. И проза боевая — Ванда Василевская, Леонид Соболев, Лев Кассиль, Петр Павленко...

Выбор очень немалый.

Юрий Михайлович с выбором справлялся.

<...>

7.

Работа над книгой «Монолог» шла весело.

Не все стихи, конечно, лучились в этой книге радостью.

Все равно, поражался я, откуда, откуда у него этот невероятный, этот неиссякаемый оптимизм?

Однажды в подмосковном Переделкине, общаясь еще с одним бывшим «сидельцем», я, кажется, понял.

«Знаете, Геннадий Мартович, — сказал мне на вечерней прогулке Лев Эммануилович Разгон, — лагеря, даже северные, даже самые дальние и угрюмые, вовсе не были таким уж чудовищно сплошным адом, какой проглядывает в некоторых нынешних воспоминаниях. Да, лагерь — это всегда смерть. Да, это — всегда рядом. Но даже на наших мрачных бревенчатых бараках лежал смутный отсвет некоей красоты. Да, да, красоты, я не оговорился. Когда по утрам вохра выгоняла нас на колючий морозный воздух, на обязательную поверку, мы, истощенные, чуть живые з/к, глаз своих не могли оторвать от низкого мрачного небосклона, уже подсвеченного поднимающимся, еще почти невидимым солнцем...»

И спрашивал: «Вы меня поняли?»

Да, Лев Эммануилович. Я вас прекрасно понял.

Стихи поэта не рождаются просто так, сами по себе.

Стихи — это часто боль. Иногда по-настоящему убивающая.

Мы ведь знаем, что прекрасная жемчужина образуется в раковине тоже не просто так. После случайного попадания песчинки в раковину, обитатель ее — устрица или мидия — практически сразу начинает облекать опасную для ее жизни песчинку чудесным перламутром. Она, устрица или мидия, ведь не какую-то там абстрактную жемчужину создает, она свою жизнь спасает.

И стихи — это реакция на любую боль.

Отсюда — невозможность не писать. Отсюда — нескончаемые метания по отдаленным районам, по глухим селам и полустанкам (везде ведь люди живые), отсюда — страстные чтения в прокуренных провинциальных клубах...

Один из моих молодых коллег по писательскому цеху на вопрос, почему Юрий Михайлович как-то не очень сильно рвался в Москву или



в Ленинград (ведь с какого-то момента он вполне располагал такой возможностью), ответил (наверное, о себе думал): «Да кому он был в тех столицах нужен?»

Так опасная песчинка попадает в душу поэта...

Поэт на боль отвечает своими стихами (жемчугом).

<...>

В те еще годы...

1.

Перестройка.

Гласность и ускорение.

Митинги на площадях, демонстрации.

И — поездки, встречи, поездки. И — рукописи, рукописи.

«Сочинение любой книги, — рассказывал Юрий Михайлович журналисту Андрею Подистову, — это тяжелый, физически тяжелый труд. Потому что одну и ту же фразу, одну и ту же страницу, одну и ту же главу приходится иногда по многу раз переписывать, пока добьешься того, чего хотел. Утром встаю, сажусь за письменный стол и пишу. Вечером прочитал, если вижу, что плохо написано, — на следующий день переписываю. Потом опять переписываю. Потом, когда все будет готово, переписываю на машинке. Если речь идет о детской книге, о сказках, заранее советуюсь с художниками...»³

Характер ускорением не переделаешь.

Работа и удовольствия!

Вот — главное.

«С Юрием Михайловичем, — вспоминала Надежда Константиновна Герасимова, — всегда можно было, как говорится, и в пир, и в бой. Он готов был и к серьезному разговору, и к шуточному тосту. Однажды явился в наше издательство неожиданно. Узнав, что у меня день рождения (я тогда еще не очень хорошо его знала), немедленно потребовал стул, взгромоздился на него и стал читать тут же придуманное им поздравление. Это было неожиданно, приятно. С того раза на каждый день рождения я уже специально его приглашала. Но когда просила повторить его то самое первое, очень понравившееся мне поздравление, Юрий Михайлович только улыбался. Загадочно улыбался. Была в нем такая вот загадочность: дескать, гении никогда не повторяются. Потому что они и гении. Вообще у нас с ним во многом совпадали взгляды на жизнь, на понимание творческого процесса. Бывало, спорили, он не соглашался, но найти аргументы, которые повлияли бы на него, всегда было можно. Думаю, что на моем отношении к нему немало сказывалось мое отношение к его книгам, ведь впервые я узнала имя писателя Магалифа еще маленькой девочкой. Сама эта фамилия — Магалиф! — казалась мне сказочной. Да и у кого

³ Подистов Андрей. Сказки рождаются, как и стихи. Загадочно / А. Подистов // Западно-сибирский железнодорожник. — 1996, 25 июня.



обыкновенная тряпичная обезьянка могла по-настоящему заговорить? Конечно, только у волшебника!»

2.

Перестройку Юрий Михайлович принял по-своему.

Так, наверное, интеллигенция в свое время принимала февральскую, а потом октябрьскую революцию. Наверное, считали: вот сейчас, вот прямо сейчас жизнь изменится, станет другой — лучше, чище.

Но жизнь менялась, а качество не всегда.

По натуре своей, по характеру Юрий Михайлович всегда был очень активным человеком. Бесконечные артистические гастроли (самое любимое дело), даже долгие, сложные, отнимающие много времени, его ничуть не пугали. Жизнь — это движение! В этом он был уверен. Когда-то на целых шесть лет выключенный из жизни, прикованный к лагерю, теперь он очень сильно чувствовал кипение жизни.

Да и вообще...

Все эти запрещенные для проживания города — далеко в прошлом.

Можно не вспоминать. Живи, радуйся!

Но... Любовь Павловна Лазарева рассказывала: «Он (Юрий Михайлович) всегда был легкий, веселый. Но вдруг случайно увидит в метро или на какой-нибудь стене плакат ко Дню Победы, сразу мрачнеет. “Почему?” — спрашивала я. “Ну, как почему? — отвечал. — Это же праздник! Это же для всех очень большой праздник! А меня на творческих встречах опять и опять будут спрашивать, смотреть в глаза: а вы, Юрий Михайлович, где встретили День Победы? А где я его встретил. В лагере...”»

В писательской организации День Победы каждый раз встречали в специально организованной «землянке».

Накрыт стол. Разлиты наркомовские сто грамм.

Тосты Никулькова; он воевал против Квантунской армии в Маньчжурии.

Тосты Ветлугина; 2-й Белорусский фронт...

Тосты Коньякова; был призван в семнадцать лет, противотанковая артиллерийская бригада.

Тосты Падерина; чудом выжил под Сталинградом.

А тут... бывший лагерник...

Какой тост?

«Но было в отношении Юрия Михайловича к родной стране что-то от врожденного, стихийно правильного понимания жизни, — вспоминала Любовь Павловна. — Да, страна его обижала, даже очень сильно, но он любил свою страну, всегда любил. Улыбаясь, разводил руками. Так вышло. Что поделаешь? Сорвало тебя, несет бурным течением. Нет у тебя больше никаких сил. Но ты живи! Не можешь ничего изменить, просто живи. Не сетуй, дыши, сохраняй тающие силы, ведь пригодятся еще, радуйся долгим зеленым берегам. Ну не можешь дотянуться до них, зато ты их видишь. Значит, они все равно твои. Вон какие красивые.



Так что не все потеряно. Ты живешь! Ты чувствуешь. Пусть это нелегкая жизнь, но она — *твоя!*»

У мамы Любви Павловны была знакомая.

Вышла замуж за военного, он служил в одном из лагерей Новосибирска.

Так вот, женщина эта на всю жизнь запомнила, как в лагере ее маленькому сыну приносил самодельные игрушки з/к Магалиф — сам, без всяких просьб. А мама Любви Павловны помнила один замечательный вечер в своей послевоенной школе. Перед школьниками выступил веселый артист Магалиф. Никто не верил, что это настоящая фамилия. Быстрый, улыбчивый, он легко завел весь большой зал, вот уж точно не зря он еще в детстве работал клоуном в настоящем цирке. Совершенно счастливый, совершенно свободный человек! Но за кулисами (это не все видели) следили за представлением два человека в форме. Ведь даже после освобождения артист Магалиф какое-то время оставался поднадзорным.

<...>

4.

А потом пришли девяностые.

Свобода, свобода, кругом одна свобода.

В умные головы моих друзей Аркадия Пасмана и Леонида Шувалова — людей пишущих, искренне любящих литературу, к тому же успешно занимавшихся тогда бизнесом, пришла блестящая мысль: начнем издавать в нашем полуторамилионном Новосибирске толстый литературный журнал. Московские журналы до нас не доходят, да и подписка втридорога. «Сибирские огни» на ладан дышат, печататься негде, хотя и старые писатели еще не все вымерли, и новые подтягиваются.

Журнал мы назвали «Проза Сибири».

За четыре стремительно промчавшихся года выпустили семь полновесных (каждый по двадцать пять авторских листов) номеров журнала. В сущности, напечатали целую библиотеку новых, нигде до нас не публиковавшихся романов, повестей, рассказов, исследований.

<...>

5.

Юрий Михайлович к журналу присматривался. И мы присматривались. Следили внимательно за тем, что пишет, что о нем пишут.

«Разносторонне одаренный человек Юрий Магалиф, — позже делился своими размышлениями новосибирский критик Виктор Распопин, — был не только превосходным сказочником, но и замечательным поэтом. А еще он писал повести и рассказы для взрослых читателей. В целом проза Магалифа уступает и стихам его, и сказкам, хотя в свое время была достаточно известна. Сегодня же актуальность свою она, пожалуй, утратила, за исключением нескольких небольших рассказов.



Попробуем понять, почему она (проза Магалифа) не пережила эпоху, в которую рождалась. Потому ли, что большая проза требует от автора большей решительности в постановке жгучих социальных вопросов? Потому ли, что уже в 70-х годах прошлого столетия на первый план литературного процесса выходит, так сказать, “песня протеста” — борьба с косностью власти, жестокими цензурными ограничениями, идеологическим насилием и чиновничьим бюрократизмом? Потому ли, что пострадавшему в юности от властей писателю не хватало мужества в его прямой речи? Потому ли, что подлинный гуманист, знаток человеческих характеров, тонкий лирик Юрий Магалиф вообще не склонен был к публицистической бескомпромиссности, свойственной таким подлинным лидерам русской советской прозы, как Александр Солженицын, Виктор Астафьев, Валентин Распутин? Или, может, потому, что сказка и лирика помешали, перекрыли автору путь в большую прозу?»⁴

«Проза Сибири» смотрела на писателя Юрия Магалифа шире.

Потому, наверное, он и отдал нам новый рассказ.

Назывался он «В те еще годы...». И появился в «Прозе Сибири» в номере первом (за 1996 год).

7.

<...>

А в 1996 году вышли в свет «Приключения и подвиги генерала Картошкина».

На каждую книгу всегда уходит какое-то время. С этим никак ничего не сделаешь.

Правда, сказку про Жаконю Юрий Михайлович написал буквально за два месяца, а вот на «Генерала Картошкина» ушло почти пять лет. По собственному признанию Юрия Михайловича, никак у него, как нужно, не получалось.

Бросал, снова начинал. Опять не получалось, бросал.

Торопился. Не мог не торопиться. Очень хотел, чтобы книжку успела увидеть его давняя любимая спутница. Посвящение поставил на рукописи: «Ирине Михайловне Николаевой, которая любила генерала Картошкина и мечтала его увидеть».

К сожалению, книжку про генерала Ирина Михайловна так и не увидела. Болела.

Часто, подолгу.

И в 1995 году ушла из жизни.

«Посиди со мною рядом»—
ты мне тихо говорила...
Я присаживался, гладил
руки теплые твои.

⁴ Распопин В. Н. Не только сказки. Проза Юрия Магалифа. — Новосиб. обл. дет. б-ка им. А. М. Горького. URL: https://www.maxlib.ru/maximg-00003/2018-2/Ne_skaz.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Мы молчали — мы мечтали,
что весна не за горами;
что, наверное, в апреле
можно выйти погулять.

А февраль в лихой поэмке
выкомаривал коленца;
и дрожал заледенелый
за окошком ржавый лист.
Зимний день подслеповатый
разбросал по книгам тени.
И напротив — в сером доме —
кое-где зажегся свет.

Почему ж я не молился,
чтобы время задержалось,
чтоб сто лет мела поэмка
и сто лет метался лист!
Преодо мной глухая осень.
Я один в пустой квартире.
«Посиди со мною рядом» —
мне никто не говорит.

<...>

В ожидании Дамы

1.

Публикация рассказа «В те еще годы!..» обрадовала Юрия Михайловича. Она его внутренне раскрепостила. Теперь он и о своем прошлом говорил свободней. «Мои заметки могут показаться кому-то странными из-за того, что в них нет кошмарных лагерных сцен, описанных Солженицыным, Шаламовым, Жженовым. Что поделать. Уж, видно, так устроена память сердца моего, что ужасные картины запомнились плоховато. Конечно, изуверы и палачи были не только на Колыме, но и на Печоре, в Акмолинске, в Сибири. Но мне хочется подчеркнуть, что свет не без добрых людей, что даже среди лагерного начальства мне посчастливилось встретить порядочных граждан, и в общем их было не так уж мало в Новосибирске военного времени...»⁵

При встречах Юрий Михайлович, как и прежде, сыпал анекдотами и веселыми историями и не раз утверждал, что именно в Новосибирске (так якобы он всегда чувствовал) должно было случиться с ним что-то очень важное, совершенно необыкновенное.

И без того богатое воображение Юрия Михайловича расцвело.

Любой анекдот, даже выходящий за пределы общепринятого, он мог рассказать так, что самые взыскательные, самые предвзятые слушатели от смеха просто падали.

⁵ Магалиф Ю. М. Далекий взлет / Ю. М. Магалиф // Мой Новосибирск. Книга воспоминаний [авт.-сост. Т. Иванова]. — Новосибирск, 1999. — С. 149—158.

Да и как иначе?
Артист!
<...>

2.

«Моя натура, вобравшая в себя четыре ярких крови: еврейскую, цыганскую, польскую и русскую, — очень общительна и оптимистична, — утверждал Юрий Михайлович. — Я всегда был источником веселья и добродушия, люди заражаются от меня позитивной энергией...»

Но однажды в пригородной электричке, идущей в Тогучин, в долгом разговоре с писателем и кинорежиссером Александром Косенковым он признался с горечью: «Иногда наедине с собой мне бывает страшно. В такие минуты я молюсь Богу, верю, что Бог меня поддержит...»

Читая стихи Магалифа, стóбит об этом помнить.

Когда такое помнишь, многое становится понятнее.

Даже ответы Магалифа на вопросы читателей становятся понятней.

Вот один из таких вопросов. «Чем вы объясняете свое творческое и жизненное долголетие?»

«Человек постоянно и как можно дольше, — ответил на это Юрий Михайлович, — должен находиться в состоянии любви, в состоянии влюбленности во что-то, в кого-то: в женщину, в искусство, в природу, в красоту, в жизнь».

Именно в жизнь. При этом — в *свою*.

Как ни крути, другой жизни у нас не будет.

В той пригородной электричке до Тогучина Юрий Михайлович о многом (как впервые) рассказал Александру Косенкову. О том, например, что родился в 1918 году и как раз в тот день и, кажется, час, когда в далеком Екатеринбурге расстреливали последнего российского царя и его семью.

Повторялся, конечно, но в свои ответы верил.

«Мне пришлось жить в эпоху Ленина, — рассказал он Косенкову. — Как бы я к нему ни относился, но это был великий человек, который перевернул весь наш двадцатый век...»⁶

Рассказал о Марии Николаевне Слободзинской, племяннице писателя Гарина-Михайловского, у которой долго (после развода родителей) жил. Она его многому учила, водила в филармонию, показывала музеи.

Рассказал, конечно, о том, что в Ленинграде не раз встречался с Сергеем Мироновичем Кировым, ходил с ним гулять, прогуливал его собак, вот-де, были у Сергея Мироновича хорошие охотничьи собаки.

О киноартисте Николае Крючкове рассказал, с которым ездил с выступлениями по Дальнему Востоку, по Крайнему Северу.

И о Юрии Владимировиче Никулине.

⁶ Косенков А. Последний вопрос / А. Косенков // Созидатели. Очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска. Т. I. — Новосибирск: Клуб меценатов, 2003. — С. 275—286.





Однажды этот знаменитый артист купил где-то книжку «Приключения Жакони», принес ее домой, и сказка стала любимейшей книгой его сына Максима. «Теперь Максим — директор Московского цирка на Цветном бульваре. Моя книжка не то чтобы спасла, она помогла выжить этому ребенку, когда он был тяжело болен и ему надо было поднимать настроение, успокаивать нервы».

Об известном советском поэте Давиде Самойлове рассказал — тот писал предисловие к одной из стихотворных книг Юрия Магалифа.

О Владимире Яковлевиче Лакшине. «Он писал предисловие к книге моих сказок, и я дорожу гораздо больше именно предисловием, чем самими сказками».

И о Святославе Рихтере.

И о Льве Оборине, и о Вадиме Козине.

«Стесняясь самого себя, я [Косенков] спросил: “Не могли бы вы вспомнить о какой-нибудь судьбоносной встрече в вашей жизни? С которой что-то пошло по-другому”».

Юрий Михайлович тут же сделал вид, что вопрос для него оказался очень неожиданным, даже задумался.

«Вот расскажу один мало приличный случай. Очень странный случай, но я о нем помню всю жизнь... Это было лето сорок второго года. Мы в лагере шли на работу. Колонна заключенных. По пятеркам, по пять человек в шеренге. Я шел и разговаривал со своим соседом, своим приятелем. А впереди нас шли женщины. И одна из женщин, что-то там рассказывая другой, грубо выругалась. Выругалась так затейливо, так заковыристо, что я повторил это ругательство вслух, призывая товарища отреагировать на такую виртуозность. Женщина, услышав меня, обернулась. Это была старая цыганка. Она сказала: “Мальчик, я в лагерях родилась и подохну. А ты-то зачем поганишь свой рот такими словами?” Можешь мне поверить, но после этого я много-много лет не употреблял никаких нецензурных слов. Эта женщина всегда стояла передо мной. Я и сейчас ее помню...»

«Но пора было подбираться к главному, — писал Косенков, — к тому, ради чего я решился на эту неуютную поездку в неведомый Тогучин. Не решаясь задать вопрос напрямую, начал издали. Помню, стал мямлить что-то вроде того, что... в его возрасте... чуть ли не каждую неделю... мотаться в какой-то Тогучин... Он остановил меня нетерпеливым жестом (видимо, не я первый высказывал ему подобное недоумение) и тихо, словно продолжая не сейчас начатый разговор, произнес: “Пора мне возвращаться в Тогучин...” Я тогда не знал этого стихотворения, поэтому принял первые строчки за ответ. Тогда он снова, глядя теперь уже не на меня, а куда-то в окно, повторил:

Пора мне возвращаться в Тогучин!
Здесь, в городе, простуда и морозы,
и на щеках обледенелых слезы,
и множество еще других причин...
Пора мне возвращаться в Тогучин.

Там чистый снег, и я к нему привык;
голубоватый дым из труб клубится;
там крепко думается, крепко спится —
и там еще я, вроде, не старик...
Там чистый снег, и я к нему привык.

Я знаю, что меня там нынче ждут:
готовится вино, бокалы, свечи
и тихие таинственные речи;
поет приемник, ходики идут...
Я знаю, что меня там очень ждут.

И, дочитав, без всякого перехода продолжил: “Знаю, знаю, о чем ты сейчас хочешь меня спросить. Я сам себе часто задаю этот вопрос. Что самое главное в человеческой жизни? Так? Для меня — любовь. Любовь в самом широком смысле. Например, любовь к моей работе. Мне кажется, что я ни одного дня в своей жизни не прожил без этого чувства, может быть, за исключением пяти лет пребывания в лагере. Да и то... не знаю... Наверное, и там были дни, когда я с радостью шел на работу. Это великое счастье — любовь к работе. А еще — любовь к местам, в которых живешь. Первую часть своей жизни я прожил в прекрасном городе на Неве, в Ленинграде. Теперь он — Санкт-Петербург. Я этот город очень любил, я его очень хорошо знал. Сейчас я живу в Новосибирске, который не очень хорошо знаю, но, тем не менее, очень его люблю. Город, казалось бы, такой функциональный, предназначенный вовсе не для любования, а для работы, для выполнения каких-то служебных дел, а я все равно этот город очень люблю, считаю его столичным.

Я очень люблю свою страну. Она меня очень обижала, я столько лет прожил в ней неуверенно, опасаясь за завтрашний день. Но я люблю эту страну. И не променял бы ее ни на что. Мне иногда говорят: “Почему ты не уезжаешь?” А зачем мне уезжать? Я прекрасно себя тут чувствую. Я человек, в котором течет какая-то доля еврейской крови. Фамилия моя, говорят, происходит от старинного еврейского слова “магалиф” — резчик по камню. Может быть, меня и приняли бы в этом Израиле, но мне туда совершенно не хочется.

Ну, наконец, и любовь к женщинам. Я ведь понимаю, к чему ты подбирался: почему это, мол, меня так вот тянет в Тогучин?.. Женщины в моей жизни играли огромную роль. И мама, и воспитавшая меня племянница Гарина-Михайловского — Мария Николаевна Слободзинская. И женщины, в которых я влюблялся, которые были моими женами — я трижды был женат. И женщины, которые не были моими женами, которых я очень любил. Они все играли огромную роль в моей судьбе. Я всех их помню, я всех их благословляю. Они мне помогали в жизни. Мне иногда говорят — у тебя хороший характер. Ну, мне о своем характере судить трудно, какой он там у меня — хороший или плохой. Но я знаю, что сознательно я никого не обижу, и никого никогда не обижал. Все это заслуга женщин, которые всю жизнь воспитывали меня...





Мне потрясающе повезло с женами. В Новосибирске я женился на Ирине Михайловне Николаевой, с которой мы вместе прожили сорок семь лет. Я ее очень любил, особенно в последние двадцать лет. Я просто обожал эту женщину. Она была старше меня, она была уже старушка, хотя никто в жизни не называл ее никогда старушкой. Она из такого рода — теперь это уже известно — в ней текла кровь русских царей. Она правнучка Николая I — от незаконного брака. Она была замечательная женщина — умная, тактичная, веселая. Господи, я так счастлив, что в моей жизни встретила Ира!

Потом она умерла. Я после ее смерти метался.

И вот в Тогучине, в том самом Тогучине, куда мы сейчас с тобой направляемся, я встретил... очень неожиданно встретил женщину, которая на сорок лет моложе меня... На сорок лет! — страшно сказать... Она мне понравилась, и я ей понравился. Кинулись, как в омут, сломя голову... Я пришел к ее родителям, которые моложе меня, и сказал: “Прошу руки вашей дочери. Не согласились бы вы, чтобы ваша дочь вышла за меня замуж?” И, представьте себе, они сказали: “Мы считаем для себя честью”. Сумасшедшие люди! Просто замечательные!

И мы стали жить с Тамарой. У нее маленькая дочь, скоро ей будет девять. Я очень люблю этого ребенка. У меня есть свой собственный ребенок — сын, которому уже за шестьдесят. Известный врач, живет в Москве. У меня и внук есть, и правнук, которого зовут так же, как меня, — Юра Магалиф. И вот еще эта девочка вошла в мою жизнь, и я счастлив, я ее очень люблю. И очень люблю жену свою Тамару. Мы с ней живем в постоянном ощущении счастья. Каждое утро мы просыпаемся и глядим в окно. А за окном — великолепный простор. Прямо под окном небольшое озеро. Весной там поют соловьи — прямо над этим озером, прямо под нашим окном. А дальше — огромные просторы. Я много стихов там написал. И еще напишу».

3.

Тамара Федоровна — это роман. Такие отношения — они из романа.

«После смерти Ирины Михайловны, — рассказывала Любовь Павловна Лазарева, — Юрий Михайлович не мог оставаться один. Его пытались знакомить. Знакомства не получались. Однажды, кажется, в 1996 году он поехал в Тогучин. Сергей Иосифович Пыхтин, главный врач санатория “Тогучинский”, пригласил его туда. Вот там, в санатории, Юрий Михайлович и встретил свою последнюю любовь. Томочка работала в библиотеке. Разница с Юрием Михайловичем — как у деда с внучкой.

Тома — очень искренний человек, она любила очень искренне. Не все, конечно, понимали их отношения. Было и такое: однажды в автобусе Тому попросили уступить место стоявшему рядом с ней дедушке! А это был ее муж.

Конечно, в Тогучине Тамара и Юрий Михайлович сразу оказались в центре внимания. Но это ничему не мешало. У Тома, кстати, и брат,

и сестра закончили консерваторию. Я сама видела, как Юрий Михайлович веселился с ними за праздничным столом...»

Родилась Тамара Федоровна в том же Тогучине, в семье педагогов.

«С раннего детства полюбила книги, особенно по искусству. Первое прочитанное мною слово было “Шишкин”, — вспоминала она. — Окончила Алтайский институт культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». Юрий Михайлович, конечно, не мог пройти мимо. Он много читал, ему интересно было, что есть [из книг] у нас в санатории. У нас с ним много общего было. Взгляды на жизнь, на литературу, на искусство, на воспитание детей»⁷.

Почти год (после первой встречи) роман их развивался, скажем так, на расстоянии, с помощью телефона. Юрий Михайлович часто звонил Тамаре Федоровне, даже писал письма, а в феврале 1997 года они, наконец, расписались, не испугавшись разницы в возрасте.

«Мы его очень сильно полюбили, — вспоминала Тамара Федоровна. — И я, и моя дочка, и мама с папой, вся моя родня. Он вошел в нашу жизнь так естественно и так легко, как будто мы знали его давно. Вместе с дочкой сочиняли сказки, гуляли, рисовали. Юрий Михайлович был хорошим хозяином, любил готовить, любил уют. Нам не приходилось подстраиваться друг под друга. Гармония была в семье. Он поражал меня своим остроумием, чувством юмора, неиссякаемым оптимизмом, феноменальной памятью и, конечно, интеллигентностью, мудростью».

Тамару Федоровну поражало великое терпение Юрия Михайловича: он никогда не жаловался на судьбу. А она у него была не сладкая, он всякого натерпелся. Но оптимизма не растерял, даже лагерную жизнь вспоминал не без улыбки. Там я познакомился, утверждал он, с очень интересными людьми, узнал новое, читал много...

Да и вообще, зачем говорить о плохом?

«Помню, — вспоминала Тамара Федоровна, — как-то, возбужденная, прибежала с улицы моя семилетняя Леночка и начала что-то громко рассказывать. Я ей говорю: “Тихо! Наш Юрочка работает”. Она подошла к его комнате, открыла дверь и с возмущением: “Ну вот, ты говорила — работает, а он пишет!”»

4.

Тогучин и Новосибирск.

Жить на два дома нелегко.

«Но самое главное, — признался Магалиф новосибирской журналистке Татьяне Гамалей (повод для такого признания был более чем серьезный — восемьдесят два года исполнилось!), — это жить в согласии с самим собой»⁸.

⁷ Цитируется по книге: Мостков Ю. М. Юрий Магалиф. Жизнь и творчество. — Новосибирск: РИЦ Новосибирской областной общественной организации «Общество книголюбов», 2003.

⁸ Гамалей Татьяна. «Надо говорить о вещах не сиюминутных...» / Т. Гамалей // Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов, 2000, 14 июля.





И добавил: «Если, конечно, у человека есть хоть капля здравого смысла».

Кстати, в этом коротком, но очень интересном, очень информативном интервью Юрий Михайлович как бы мимоходом, но неслучайно, упомянул о некоей пьесе, занимавшей его мысли. «Основная тема будущей пьесы — противопоставление двух конфессий, ислама и христианства. Противопоставление, конечно, искусственное, потому что обе религии — правильные, но... ни ислам, ни христианская вера никому не дают права распоряжаться чужими жизнями».

Опять «разбрасывание»? Или это всерьез — планы на будущее?

Все равно главное место в жизни занимала жена Тамара. «У нас прекрасная жизнь. Она (Тамара) моя опора, а я — ее. Мы одинаково мыслим, и это самое важное. Любовь — это ведь тяготение друг к другу, часто совершенно необъяснимое».

И (вот редкий случай) Юрий Михайлович вдруг заговорил о сложностях финансовых. «Мне ведь тяжело живется в этом плане, заработки бывают только случайные. Это вообще очень важная тема, предмет особого разговора. В нашем городе есть целая группа пожилых людей — старых артистов, художников, писателей, которым очень нужны деньги на лечение, лекарства и т. д. Но ни город, ни область не уделяют им достаточного внимания...»

Удивительно, но среди всех этих никогда не преходящих сложностей, работ, радостей, огорчений Юрий Михайлович — счастливый, как он сам считал, сказочник — написал еще одну сказку!

К сожалению, последнюю.

На рукописи ее указано: *Август 2000 г. Больница № 34. Кардиоотделение.*

О чем можно рассказать в сказке, написанной в больнице?

Да о любви, конечно!

О простой деревянной кошке была эта сказка.

И любовь в сказке описывалась такая, что могла одушевить, оживить даже самую обыкновенную деревянную игрушку! Осознав свое новое рождение, героиня сказки кошка Кисина так громко и радостно мяукнула на весь зал (дело происходило на выставке кошек), что все до одного посетители обрадовались и захлопали в ладоши.

Это же — чудо! Это игрушка деревянная ожила!

Кстати, в кардиологическом отделении, в которое попал Юрий Михайлович, поначалу свободных мест в палатах не оказалось, пришлось отлеживаться на койке в коридоре. А когда, наконец, перевели в палату, соседом Юрия Михайловича оказался незнакомый мужчина с таким мрачным выражением лица, что пришлось Юрию Михайловичу задуматься: ну как, как срочно вернуть улыбку такому, похоже, совсем отчаявшемуся человеку?

И это ему, конечно, удалось.

Не могло не удался. Ведь — сказочник!

Конечно, проза — это важно, это хорошо. Проза помогает разобраться в сложностях жизни. О публицистике в этом смысле и говорить

ничего не надо. А вот поэзии, это точно, можно отдать всю жизнь. И это вовсе не «разбрасывание».

Поэзия управляет нашими мыслями, поступками, управляет вдохом и выдохом. Сама по себе, мы этого даже не замечаем. Происходи это как-то иначе, давно выродились бы все сказочники.

Но они живут. Они всегда рядом.

Что бы с ними самими ни происходило, они всегда рядом.

И все время рассказывают одну нескончаемую сказку, не останавливаются, не умолкают, потому что — ну как нам без сказки? Без нее жизнь потускнеет, увянут цветы на клумбе. Не всегда и не везде ведь найдется Типтик, хороший мальчик Тимофей Птахин, чтобы — глаза серые, нос курносый.

<...>

«А смотрела Кисина далеко вдаль, туда, где текла темно-синяя река с белыми льдинами, а за рекой, на том берегу, росли развесистые ивы — на них еще, конечно, не было листвы, но они вот-вот уже готовы были нарядиться в пушистые сережки. Как хорошо жить! И дождик мне не страшен, и грозы я не испугаюсь. Как хорошо видеть большое небо над головой!»

6.

Стихотворение Юрия Магалифа «Ожидание дамы» написано в 1998 году.

В одной из его поэтических книг («Облако времени») даже дата указана: *14 января 1998. Тогучин*. И посвящение поставлено: *С. Н. Афанасьеву*.

«Жду — не дождусь!» — так пишу в завершенье
писем к любимой. И в этой строке —
тайная ревность, любовь, отчужденье,
встреча, которая невдалеке.

Воля, неволя и горечь изгнания, —
все отойдет, не оставив следа.
Только глубинная боль ожиданья:
«Жду — не дождусь!» — неизменна, всегда!

Милые шалости, грозные драмы;
с горних высот — да на грязное дно:
И — в суете — ожидание дамы:
тайного стука в ночное окно.

Слуга Аполлона

1.

Посвящение не случайно.

В 1997 году, к величайшей радости Юрия Михайловича, спектакль «Ожидание Дамы» (по пьесе «Где Люба Любич?») был поставлен



в Новосибирском городском драматическом театре под руководством режиссера Сергея Афанасьева.

<...>

Историю главный герой этой пьесы Егор Егоров (бывший подследственный) рассказывает сам. «Это было давно, через несколько лет после сталинской смерти. Я тогда баловался стишками, был простым радиожурналистом. Ну, в общем, не совсем простым. Я так часто выступал перед микрофоном, что радиослушатели узнавали меня по голосу. Однажды лютой сибирской зимой работа забросила меня в Степь. Большие и маленькие деревеньки, поселки, станции, города. В те годы туда проложили железнодорожную ветку от Великой Магистральной, и путешествовать сразу стало удобнее, проще...»

Все начинается с путевой дежурки.

Она хорошо протоплена. Фонарь на столе.

Кузьмищева — женщина не очень общительная, грубая; она — дежурная на этой заброшенной в Степи станции Спицино. Читает книгу очень популярную в те годы — «Кавалер Золотой звезды». Отрывочный разговор со случайно попавшим на станцию радиожурналистом течет как бы сам собой. Обо всем сразу. О детях, о погоде, о муже (которого нет), о жене Егорова (якобы от него сбежавшей). Понятно, и вопросы возникают по ходу. «Вы, товарищ, наверное, с новосибирского радио? Я вас сразу по голосу вашему признала. Голос у вас культурный. Из эвакуированных будете или как?» И останавливает руку Егорова, потянувшуюся к помятой алюминиевой кружке. «Это моя кружка. А вам я другую дам. Специально держу для гостей. Видите, надпись? “Фартальных”. Кружка — не просто так. Уникум».

Фартальных... Уникум... Странные слова звучат в душной дежурке...

<...>

У Егора Егорова путь в холодную Сибирь начался еще в далеком сорок первом году — в казенном кабинете, в котором его, молодого, только что арестованного студента, допрашивал капитан госбезопасности Молев. Капитан этот (о чем Егоров, понятно, в тот момент не знал) только что получил строгий срочный приказ от своего непосредственного начальника подполковника Сычева — как можно быстрее освободить сразу тридцать камер. Понадобились камеры для доставленных в Ленинград немецких пленных парашютистов.

Что ж. Приказ есть приказ.

<...>

3.

В рабочем кабинете капитана госбезопасности все как везде в таких вот казенных рабочих кабинетах. Ничего устрашающего. Обычный письменный стол. На столе — бумаги, телефон, даже скромный букетик васильков торчит из граненого стакана. В просвете окна — кусочек Литейного проспекта.



Все мирно, привычно. Только на капитане — казенная форма, а на доставленном на допрос подследственном студенте Егоре Егорове — мятые брюки без ремня, так и норовят сползти на пол.

«Ты, Егоров, не ломайся, — говорит капитан негромко. — Иллюзий не строй. У нас тут не до иллюзий, тоже мне, герой выискался! У нас героизм не проходит, никак у нас не проходит всякий этот ваш героизм, по-дружески тебе говорю. И не смотри на меня так. Я не дурак. Я тоже Пушкина люблю. В Царском Селе бывал десятки раз, и в лицейских коридорах не заблужусь. Как-никак, художник-любитель. Почти шесть лет в художественную студию бегал в Дом художественного воспитания детей. Так что мы с тобой — люди вполне интеллигентные, не всякие там хухры-мухры. И ты, Егоров, понимать должен, ты сразу понять должен: отсюда сам по себе уже не выскочишь, не уйдешь, не выползешь. Да и распоряжение у меня самое что ни на есть простое... — смотрит в упор, — побыстрее свернуть твое дело».

И уже с угрозой, переходя на «вы»: «При обыске у вас, Егоров, обнаружены были произведения, враждебные нашей партии, нашему народу. Да, да, стенограмму Первого съезда советских писателей у вас нашли. А на том писательском съезде, Егоров, сами знаете, не можете не знать, выступали Бухарин, Радек, Бабель и всякие другие товарищи. То есть, — спохватывается, — тогда они еще были как бы товарищами, а теперь они — чистые враги народа. И нечего юлить, Егоров, отпираться, невинными улыбочками отделяться! Вы, Егоров, сознательно хранили в своей личной библиотечке произведения злейших врагов нашей Родины. Подчеркиваю, сознательно. Значит, должны хорошо понимать, что это — от трех до десяти лет без права переписки. Законом так указывается. Так что бросьте ломаться, все чистосердечно выкладывайте. И про Дворец выкладывайте, где всей компанией собирались, и про все ваши контрреволюционные сборища».

И совсем грубо: «Про Воронишину свою все выкладывайте! Про эту вашу глубокоуважаемую Анну Дмитриевну!»

И опять переход на «ты»: «Хватит кашу размазывать по столу, Егоров, не крутись! Бить мы тебя, конечно, не будем. Сам должен понимать, мы тут люди интеллигентные. И, кстати, ты не где-то, а в “Шпалерной” находишься. Тут в двух камерах от твоей... совсем рядом... есть еще одна — знаменитая, мемориальная. “Здесь содержался в заключении вождь мирового пролетариата В. И. Ленин”. Должен понимать, какая тебе честь выпала. <...> Так что, колись, падла, не выламывайся! Кто она такая, эта твоя Воронишина? О чем болтала? Какой промежуток между вами был характер связи?»

И с изумлением: «Любовь?»

И даже с пониманием некоторым: «Ах, любите вы эту Анну Дмитриевну больше всего на свете! Ну и ну... Всякое бывает... Она и не старая еще, а по работе уже — ответственный хранитель Дворца-музея. Ну, чего вы там мямлите, Егоров? Что значит, ни при чем ваша Воронишина? Что значит, не виновата она? В чем не виновата? Не тяни. Виновата или нет, это мы решать будем. Нам и без тебя, Егоров, прекрасно известно, что



именно в кабинете этой вашей Воронихиной после рабочего дня устраивались монархистские сборища с целью восстановления царского дома».

И удивленно: «Что, что? О чем вы просите?.. Не трогать эту вашу драгоценную Анну Дмитриевну?.. Вот новое дело! Да почему же ее не трогать?.. Ах, она — талант! Ах, она — блестящий специалист по девятнадцатому веку! Ну, может, и так, Егоров, но не для нас... Для нас, Егоров, эта твоя Воронихина вполне возможный враг народа, и мы с этим должны считаться. А если вы, Егоров, считаете, что эта ваша Воронихина действительно тут ни при чем, то объясните, кто при чем? Тут у нас в списке таких, как вы, Егоров, целый букет. Вот Лифшиц Семен Семенович... Вот Васильева Антонина... А вот еще Любич Любовь... Ну, допустим, твоя драгоценная любимая Воронихина тут ни при чем, тогда кто, ну, кто тогда при чем? А? Колись, Егоров! Время не ждет. Говори, с кого начинать?.. Громче говори! Громче! Чего ты себе под нос шепчешь? С кого начинать? Ну? С кого? Может, с этой, которая Любовь? Ты что, даже отчества ее не знаешь? — Хмурит лоб, напоминает. — Любич... Любич... Такая вся простецкая, сутулая, толстая... Да?.. Ну вот и хорошо. Займемся этой Любой Любич... Вот тебе бумага, перо, чернильница перед тобой... Пиши. Подробно пиши... Что, что? Говоришь, Люба Любич тоже выдающаяся специалистка? По русскому фарфору, говоришь? Ну и ладно. Годится. Я, конечно, не такой уж большой специалист, но кое-что о русском фарфоре слышал. “Императорский”, “Гарднера”, “Гребенщикова”, “Фартальных”... Пиши, пиши, Егоров... Говоришь, Люба эта Любич совсем одна живет? Нет у нее ни ребенка, ни родителей?.. Ну вот, видишь. Потому, наверно, и смелая. Вон какие стишки сочиняет!»

И прочел вслух, не спуская глаз с Егорова: «Дорогой товарищ Сталин, получи от нас привет: мы совсем рабами стали и для нас свободы нет! У тебя кривая трубка и красивые усы; у меня худая юбка и дырявые трусы! Будь, родной, отцом народу, будь его достойный сын, но не будь — а то хоть в воду! — долговечен, как грузин».

И пояснил, усмехнувшись: «Вот какая храбрая девка эта Люба Любич».

И продолжил уже с откровенной насмешкой: «Мало, что толстая, сутулая...»

И закончил почти одобрительно: «Может, это ты, Егоров, и впрямь верно выбрал. Нам ведь все равно с кого-то начинать надо. Может и к лучшему, что начнем с Любы Любич. Она и толстая, и сутулая. Да еще и одинокая... Ну? Всё написал?.. Давай сюда! Теперь мы и твоей Воронихиной займемся. — Вскაკивает. — Сидеть, паскуда! Кому сказал, сидеть! Самое нужное ты уже написал, так что пиши дальше...»

4.

А в дежурке разговоры другие.

Кузьмищева (как бы затаенно): «Вас-то когда выпустили?»

Егоров (неохотно): «Давно уже... Давно... Лет десять назад».



Кузьмищева: «Ох, мне бы... Я бы пулей в Питер кинулась... Правда, мне жаловаться не след, мне подфартило. В Новосибирске поначалу я даже жила рядом с ленинградцами. В клуб Сталина бегала — слушать лекции товарища профессора Ивана Ивановича Соллертинского. Даже Шестую симфонию композитора Чайковского Петра Ильича слушала. <...>, целых два раза слушала! Мне вообще сильно везло. Как войну объявили, папа и братишка сразу ушли на фронт, а меня — в город Новосибирск... Вот куда я угодила... А здесь, в Новосибирске, сразу попала в оперный театр — уборщицей в подвальные помещения! Да, да, уборщицей. Зря смеетесь. Тогда в подвалах театра казенные ящики стояли, много, друг на друге. Из Москвы, из Ленинграда, из Киева, еще откуда-то. Сперва говорили, что это вроде как военное оборудование, а потом само собой открылось: там и картины были, и статуи, и фаянс, и фарфор редкий, и майолика. Да при тех ящиках была еще и настоящая специалистка, вывезенная прямо из Ленинграда. Меня к ней и определили — клеить, тонировать. Скоро я сама могла лекцию про это прочитать ничуть не хуже товарища профессора Соллертинского. Слышали, наверное, про Ивана Ивановича?.. Да вы сидите, сидите... Это у меня дела... Я сейчас свою напарницу разбужу. Пора ее будить. Она, между прочим, тоже из Ленинграда. А звать Нюра. Если полностью, то Анна Дмитриевна. И фамилия у нее для нашего Питера самая подходящая. Воронихина. Помните, был такой строитель. Вот Нюра и прикатила к нам прямо из Ленинграда».

5.

И чудо свершается.

Егор Егоров потрясен.

А что там, возле Белой Башни —
растет ли по ночам трава? —

без стихов тут никак не обойдешься.

И вспоминая день вчерашний,
болтает ли о нас листва?

Что вообще там сохранилось
и времени глядит вослед?

Ну, например, скажи на милость,
как поживает парапет?..

И Воронихина подхватывает — на том же, только им понятном языке.

Тот выщербленный? На котором
сломался тонкий мой каблук?

Когда нам все казалось вздором —
все, кроме глаз и кроме рук?..

Егоров потрясен. Он поверить не может.

Как, в сущности, немного надо,
чтоб я навек запомнить смог
прохладу кованой ограды
и мокрый утренний песок...

А Воронихина вторит:

И белой ночи завершение, —
нет, не во сне, а наяву:
в лицейских окнах отражение
зари сквозь смуглую листву...

И повторяет, повторяет, не может не повторять: «Я знала, чувствовала — вы живы...»

6.

Думаю, Юрий Михайлович простил бы мне этот несколько вольный пересказ.

17 апреля 2018 года на встрече «Вспоминая Юрия Магалифа», проведенной в Новосибирской областной детской библиотеке, режиссер Сергей Николаевич Афанасьев рассказал: «Я принадлежу к тому поколению, у которого в детстве обязательно должны были быть две вещи. Во-первых, книга Юрия Магалифа “Жаконя”. Во-вторых, собственно сам Жаконя — в виде игрушечной плюшевой обезьянки коричневого цвета...»

«С Юрием Михайловичем мы познакомились уже в последние годы его жизни. Для меня он был легендой. Когда, войдя в кабинет, он распростер объятия и обнял меня, это стало для меня совершеннейшей неожиданностью. А сам он так расшифровал свой поступок. “Я посмотрел ваш спектакль «Чайка» и совершенно заболел. Заболел потому, что в моей жизни есть одна нереализованная мечта, я хочу написать пьесу для театра”.

Мы стали дружить. Созванивались, встречались.

Оказывается, он уже начал работу над пьесой.

И не абстрактно, а адресно начал. Выписывая персонажей, уже имел в виду актеров именно моего театра, а в главной роли — тогдашнюю нашу “звезду” Зою Терехову, блистательно исполнившую Аркадину в спектакле “Чайка”.

Юрий Михайлович просил меня читать какие-то эпизоды, куски его пьесы.

Сперва я отказывался. Ну, какой я советчик писателю Магалифу? Но что-то, наверное, ему подсказывал. Так его пьеса и родилась. Называлась — “Где Люба Любич?”, или “Найти Любу Любич”. История явно автобиографическая, история явно из жизни самого Юрия Михайловича. История, которую другой человек, может, никогда в жизни бы





не опубликовал, даже никому не рассказал. История, явно связанная с его арестом, с допросами. Насколько знаю, по словам самого Юрия Михайловича, инцидент тот произошел на какой-то студенческой вечеринке, когда студенты веселились, рассказывая стихи, анекдоты. Кто-то потом донес, всех “замели”. Во время одного из допросов Юрий Михайлович, естественно, не по доброй воле (страшно даже представить, как велись эти допросы) назвал имя одной из студенток, которая наиболее ярко проявила себя на той веселой вечеринке: стихи читала, анекдоты рассказывала. Вот с той поры — глубокая рана на душе, на совести Юрия Михайловича. Он через всю свою жизнь пронес этот свой проступок, считал его непростительным. Когда я, наконец, спросил его, о чем пьеса, он так и ответил: “Она о моей совести”.

Через много-много лет, когда Юрий Михайлович, освободившись, был уже артистом новосибирской филармонии, довольно известным человеком, он много разъезжал по области, по краю. И вот где-то в пути поезд сломался, или пересадка была. На каком-то глухом полустанке возле стрелочной будки поезд остановился. И Юрий Михайлович должен был там выйти, дожидаться следующего поезда. Он вышел и увидел стрелочницу — довольно пожилую женщину, сильно потраченную. Она там топила печку. Она была неприветлива, груба, через губу разговаривала, не здоровалась. Тем не менее налила кипятку, чаю дала, каких-то сухарей. Что-то мучительно знакомое виделось ему в этой женщине...

Вот про что была его пьеса. Душераздирающая. Даже репетировать ее было сложно, потому что наше поколение — это поколение семидесятых, мы были радужным поколением; мы жили в эпоху застоя, когда даже ветер над страной исключительно по разрешению Коммунистической партии веял...

Но состоялась премьера. Очень-очень успешная.

Зрителю понравился спектакль, хотя был он невероятно грустный, а для самого Юрия Михайловича спектакль наш стал огромным событием. Передать не могу, как Юрий Михайлович был рад, счастлив. После премьеры схватил меня за рукав: “Едем ко мне”.

<...>

Жил он, кажется, на улице Блюхера...

А когда мы стали прощаться, он сказал: “У меня к тебе, Сережа, есть еще одна просьба. Я хочу, чтобы ты называл меня Юрой!” Я ему говорю: “Юрий Михайлович, простите, но вы же ровесник моего папы”. А он говорит: “Для меня это событие до такой степени важно, что я хочу, очень хочу, чтобы ты считал меня своим другом”.

Понятно, я крайне редко пользовался такой уникальной возможностью — называть Юрой известного писателя Магалифа. Публично никогда себе этого не позволял, но втайне страшно гордился и до сих пор горжусь тем, что Юрий Михайлович сказал мне такие хорошие слова.

К сожалению, это была единственная пьеса Юрия Михайловича.

Он, кажется, собирался написать еще что-то, рассказывал какие-то сюжеты.

Все они были связаны с прошлой жизнью. В основном, с гулаговской. Он редко говорил об этой своей прошлой жизни, потому что был лучезарным, очень радостным человеком...»⁹

<...>

7.

Все смешалось в доме Облонских...

Но если Лев Николаевич даже с одним домом Облонских разобраться не мог, то как было разобраться в случившемся самому обыкновенному униженному и запуганному студенту Егору Егорову?

Впрочем, ему повезло. В одна тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году бывший студент вернулся в Ленинград. Закончились его сибирские мучения. Он даже вновь прошлую свою любовь встретил — Анну Воронишину. Они даже празднуют эту встречу в мастерской известного художника Олега Молева. Этот Молев, человек весьма авторитетный, только что помог возвращению в музей очень ценного, нужного музею сотрудника. Разве не счастье? Среди собравшихся и Ленка Кузьмищева (дежурная с той глухой, потерянной в Степи станции).

Все собрались. И Воронишина здесь. И Авдошин — со своей женой. И Лифшиц Семен Семенович... «Ну, чего вы такие серьезные? Ну, радуйтесь! Ну, радуйтесь, наконец! Наливайте коньяк, откройте шампанское!»

И громко: «За вас, замечательный Олег Олегович!»

А Егоров хмурится. Пытается вспомнить: Молев...Молев... Очень уж какая-то знакомая фамилия... Мастерская у этого Молева — на диво. Просторная. Высокая. Светлая. Собственных работ много. Некоторые — еще незавершенные — аккуратно приставлены к стенам. Всё больше вожди. Гении и вожди. Маркс, Энгельс, Ленин, Хрущев. Не все портреты завершены, у Хрущева один глаз даже не дописан. Но стильные портреты, талантливые. И много-много разных прекрасных репродукций на стенах. Где нынче можно найти такие? Сам художник улыбается, щурится. «Вы к нам насовсем в Ленинград?» И улыбается дружески. «Если возникнут какие сложности... Ну, хотя бы с пропиской... Тогда сразу ко мне... Своим мы всегда поможем...»

За столом — звон стаканов, веселые возгласы. Имена мелькают. События вспоминаются. Вдруг прорывается чей-то голос: «А где Люба?» В ответ вразной: «Ой, правда, где Люба Любич?» И счастливый голос Воронишиной: «У нас сегодня “фарфоровый” вечер. Во время войны, — счастливо напоминает собравшимся, — мы музейный фарфор спасали. Отвечала за него как раз Любовь Васильевна. Да, да, Люба! Именно Люба Любич. Было что спасать. Один сервиз “Орденский” чего стоил! Помните? Это же пятьсот предметов! Я тогда спрашивала Любу: “А что страшней потерять? Янтарную комнату или наш “Орденский” сервиз?” Она отвечала без всяких раздумий: “Да что вы говорите

⁹ Афанасьев С. Н. Пьеса Ю. М. Магалифа в театре // Из стенограммы выступления на творческой встрече «Вспоминая Ю. Магалифа». — Обл. дет. б-ка им. А. М. Горького. 7 апреля 2018 г., Новосибирск.



такое? Янтарную комнату можно восстановить, а секреты фарфора давно утеряны»».

А где Люба Любич? Что случилось с Любой Любич?

9.

«Не из праздного любопытства мои коллеги и я, — в самом начале девяностых с горечью писал мне из Магадана замечательный писатель Александр Бирюков, друг близкий, светлый, — не из праздного любопытства глотаем мы зловредную пыль архивных томов, не из праздного любопытства расспрашиваем бывших колымских сидельцев, не тщеславия ради хотим донести добытые сведения до читателя. Кто-то должен. Потому что уйдет наше поколение, рожденное в тридцатые-сороковые, уйдет, не взяв на свои плечи груз прошлого, и останется оно, это прошлое, безмолвными немymi глыбами. Открывая очередной архивный том, я словно опускаюсь в ледяной колодец этого далекого прошлого... словно ступаю на почву, обильно политую слезами и кровью... и сердце мое... сердце человека, родившегося здесь (в Магадане), связанного всей судьбой с этим городом, с этим далеким краем, наполняется болью тех далеких лет, состраданием к мученикам, среди которых были, конечно, и герои; и злодеи — были! Но все были, прежде всего, жертвами. Как отделить одного от другого, если граница между страданием и злодейством проходила подчас (или — чаще всего) не между людьми, а в сердцах людей? Кого осужу? Кого помилую? — я, взыскующий какой-то призрачной истины. Разве не искупили все они — и герои, и злодеи — страданиями своей бессмертной души грех перед тем — Всевышним, кого одни называют Богом, а другие — Справедливостью?»¹⁰

10.

Илья Фoniaков очень верно назвал свою статью — «В защиту тех, кто разбрасывается». Сам немало о том думал.

Ты можешь весело рассказывать об охотничьих собаках Кирова, или нежно — о царской крови, текущей в жилах любимой жены, можешь писать чудесные волшебные сказки, или писать пьесы и повести, построенные на личных, пусть и не всегда веселых воспоминаниях, — какое уж тут «разбрасывание»? О чем бы ни писал настоящий писатель, да хоть о Марсе, да хоть о потерянной в толще океана Атлантиде, или о веселой тряпичной обезьянке, или о случайном лекторе в глухом заброшенном леспромхозе, или, наконец, о действительно случайной встрече на каком-то потерянном в заснеженной Степи полустанке, пишет он:

— о себе...

— о земном своем бытии, кем-то ополовиненном...

— о хлебе, съеденном только наполовину...

¹⁰ Бирюков Александр. Жизнь на краю судьбы. Писатели на Колыме. — Новосибирск: Свинья и сыновья, 2006. — 921 с.





Не пишутся стихи...

1.

Юрий Михайлович не раз говорил (даже писал об этом) о том, что бумаги творческих людей непременно должны попадать в архивы.

Не мы, был убежден Юрий Михайлович, а время отбирает нужное.

«Я часто задумываюсь над тем, что будет после меня. И полагаю, что в будущем судьба нашего жесточайшего двадцатого века будет пристально изучаться. Будет глубоко исследоваться психология нынешнего общества — его устремления, его смятения, падения и взлеты. Не сочтите меня излишне самонадеянным, но я уже сейчас хотел бы помочь будущим исследователям. Тешу себя надеждой, что мои дневниковые записи, заметки, статьи, наброски помогут осветить нынешнюю нашу жизнь, как освещает осеннюю дорогу луч слабого карманного фонарика».

Время идет. Силы гаснут. В августе 1999 года (такая дата указана под стихотворением), уже на самом переходе в новое тысячелетие, Юрий Михайлович жаловался:

Не пишутся стихи, совсем не пишутся —
С чего бы вдруг? Ума не приложу.
Все те же ветки за окном кольшутся,
все так же карандаш в руке держу.

Все так же по утрам душа в смятении —
сгоревший сон дымится позади.
Но нету музыки в стихотворении
и нету замиранья в груди.

Все меньше дней до верного прощания,
Все тягостнее суета сует.
И все темнее эти расстояния
меж датами скоро бегущих лет...

<...>

3.

Юрий Михайлович очень хотел дожить до нового тысячелетия.

Миллениум тогда всех тревожил и волновал. Очень уж интригующий переход.

«Двадцать первый век... Это же совсем рядом...» — однажды сказал мне Юрий Михайлович. И покачал головой: «Совсем, совсем рядом...» И вздохнул: «Вы, Геночка, наверное, доживете...»

Впрочем, и сам дожил.

Вот хотел — и дожил!

Журналистка Влада Полозова спросила его: «Что вы, Юрий Михайлович, думаете о конце света?»

Слухов о грядущем конце света ходило тогда по стране множество; очень уж нелегкое, непростое время мы переживали на сломе столетий. Но Юрий Михайлович и не подумал уйти от ответа.

Всем же интересно такое знать.

«Я не люблю говорить о том, что происходит сейчас, — сказал он со своей неизменной улыбкой. — Может, это потому, что я сейчас почти не принимаю участия в общественной жизни. Мало выступаю и совершенно сознательно избегаю разговоров на чисто политические темы. Живу в твердом убеждении, что Россия, оказавшись в чрезвычайно трудной ситуации, все равно из нее выйдет, и выйдет достойно. Ну, а из нововведений нашего времени меня по-прежнему тревожат электронные средства массовой информации. Компьютеры, телевидение, интернет — они, по-моему, до добра не доведут. Мне совершенно непонятно, как в этих условиях помочь нынешнему ребенку полюбить книги. Новое поколение совсем не любит читать. А чтение так необходимо для развития ума»¹¹.

4.

Годы, прожитые Юрием Михайловичем в Тогучине, были плодотворными.

В 1997 году вышел сборник стихов «Зимний лес», в 1998 году — «Облако времени», в 2000 году — «Солнечные часы». Счастливым сказочник (так он себя любил называть) писал, гулял, рисовал, думал, отлеживался после сердечных приступов.

Очень хотел встретить новое тысячелетие.

И встретил.

Вот он — двадцать первый век!

Даже прожил в нем двадцать восемь дней.

*Я в реденькой сетке летящих снежинок
и в переплетении белых тропинок
иду в молчаливом февральском бору,
где я никогда, никогда не умру!*

*Я — в этой заброшенной в небо вершине,
я — в этой трухлявой согбенной осине,
я — в просеке узкой, я — в стане берез,
что стынет в круженье бесхитростных поз.*

*В бору тишина. Только в зарослях где-то
синичка пропела свои полкуплета, —
во веки веков этой песне звенеть,
ее никому никогда не допеть.*

¹¹ Полозова Влада. «Я счастлив, что стал сибиряком». Интервью к 80-летию писателя / В. Полозова // Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов. — 1998. — № 28 (17 июля).



Деревья, как боги, — спокойны и строги,
воткнули в сугробы тяжелые ноги.
Они мне, быть может, немного родня —
Куда я без них, и они без меня?

5.

В Новосибирске именем писателя Юрия Магалифа названа улица в Заельцовском районе. А на улице Петухова в Кировском районе работает библиотека семейного чтения — имени писателя Юрия Магалифа. Была в свое время учреждена и премия для сибирских литераторов — Открытая, имени Юрия Магалифа.

На вопрос журналиста Андрея Подистова: «Что значит сказка для ребенка и вообще для человека?» — Юрий Михайлович однажды так ответил: «Сказка — это иносказание. В сущности, сказками своими народ говорил и говорит, что жизнь надо прожить достойно, например, без особой нужды не кататься по белу свету, а именно жить, заводить семью, воспитывать детей, работать».

И неожиданно добавил: «Сказка о Колобке — это ведь про это».

Библиотеки сегодня чуть ли не последний форпост нашей прекрасной и удивительной книжной культуры, всегда утверждал Юрий Михайлович.

Именно библиотеки хранят наше славное (а иногда и трагическое) прошлое, помогают самым разным читателям осмыслить свое и общее будущее.

В том же интервью Андрею Подистову Юрий Михайлович не без некоторой горечи заговорил и о том, что заменители книг (к сожалению, по его мнению) уже существуют.

«Но ничто не может и не должно заменить книгу. Потому что, во-первых, в книгах есть всё и обо всем, и в них, в книгах, можно найти ответ на любой вопрос. Во-вторых, книга — это как бы маленькое чудо. Ведь, когда вы книгу читаете, вы волей-неволей воображаете то, что в ней написано, а кино или в том же телевидении образы даются зрителям уже готовые. Вообще важен именно сам процесс чтения, а не только получения из книг информации. Читая книгу, вы всегда наедине с самими собой».

Нет смысла гадать о том, какая книга будит в человеке то или иное чувство.

Книг бесцельных, ненужных попросту не существует. Из любой можно что-то полезное извлечь, чему-то научиться. И «Казачьи» Льва Толстого, и блистательный «Петр Первый» другого Толстого — Алексея, и сказки Андерсена, и «Сказки дядюшки Римуса», и стихи из старых и новых «Чтецов-декламаторов» и из современных строгих томов «Библиотеки поэта», да те же волшебные сказки, наконец, — все работает на будущее!

Человек читающий — это особый вид.

Вид, чрезвычайно нужный для полноценной жизни общества.



Человек читающий — в нем всегда жила и всегда будет жить неутолимая, неистовая, неистребимая страсть — открыть новую книгу, увидеть новый для себя мир, осознать, понять нового автора! Читателю, думаю, важно и интересно узнать о том, как именно автор подошел к своей теме, сумел побороть в самом себе постоянное (для творца) чувство боли или вины — за все не сделанное им, а главное, за все *сделанное*. Бездумных пересказчиков и прочих болтливых суетных существ в нашем мире хватает, не сразу поймешь, кто кому и когда нужен; да и нужен ли? — в конце концов, самые громкие имена достаточно быстро тускнеют во времени, так уж исторически сложилось...

К счастью, ученики сами выбирают себе учителей.

Тут ведь самое главное — самому выбрать.

И чтобы никто не мешал твоему выбору.



Иван РОДИОНОВ

«ГРОЗА» НА МИНИМАЛКАХ

Мариничев Родион. Комендань. — *Рукопись.* — 104 с.

Всегда интересно, когда в длинный или короткий список крупной литературной премии пробиваются рукописи и журнальные публикации. Тем более если речь идет о «Большой книге». Раньше такие истории случались более-менее регулярно, в последние годы — редко. И вот недавний сюрприз: в финале «Большой книги — 2023» такой темной лошадкой стала неизданная повесть Родиона Мариничева «Комендань».

Наверное, необходимо пояснить, почему рукопись в коротком списке премии — это как минимум любопытно. Случалось, на «Большую книгу» анонимно подавались, простите за дурной каламбур, авторы с именем. И интерес читателя состоял в том, чтобы литератора X идентифицировать. Но чаще бывало иначе — высоко забирался неопубликованный текст мало кому известного писателя. В таком случае самое интересное — наблюдать за дальнейшей судьбой автора. Есть ли жизнь после премии? Станет ли этот автор литературной величиной, напишет ли что-то выдающееся? Или последующие тексты не «выстрелят», и его имя канет в небытие? А может, он и вовсе добровольно завяжет с литературой?

Случай Мариничева в эти схемы не вписывается. Он известный журналист, а в литературе состоялся скорее как поэт — его стихи публиковались в различных толстых литературных журналах. Но и в прозе он точно не новичок. Мариничев еще десять лет назад вполне котиrowался как перспективный молодой прозаик — например, добирался до длинного списка премии «Дебют». Однако реализоваться за эти десять лет у него вышло не очень. Хотя художественную прозу Мариничев никогда не оставлял: на известном самиздат-ресурсе можно найти его книгу «Западный перенос», датированную 2019 годом. Сотрудничает он и с литературными изданиями.

Может, перед нами тот случай, когда издатели прощелкали большой прозаический талант, хотя он был, можно сказать, все время перед их глазами?

Что ж, будем разбираться.

То, что перед нами не дебютант, видно сразу. Повесть «Комендань» писана почти по набоковским заветам — выправлена, отделана,

отшлифована. Язык повествования уснащен «стилем». Тщательно проработана речь персонажей — каждый из них использует свойственные только его лексикону конструкции и словечки. Две сюжетные линии запараллелены прочно, с циркулем и рулеткой. Приправлено все это дело психологическими и символическими детальками — по вкусу, но без перебора.

Без огрехов, впрочем, не обходится: путь стилия — опасный путь. Кое-где, хлесткости ради, прорастают выражения странные. *Загорается стержень, который не дает сломаться. Начала искать истоки своего отдаления от Семена. Впервые осознанно увидела самолет. Вобрав голову в шею (sic!). Диалог, звучащий у Артура внутри.* А еще автор любит, скажем так, неочевидные сравнения. *На югах все сказочники, как старик Хоттабыч.* Почему именно как старик Хоттабыч? У героини было *пиджаков не меньше, чем у Ангелы Меркель.* No comments. Впрочем, все это вовсе не критично. Перед нами рукопись, при публикации опытный редактор вычищает несуразности. Главный недостаток повести не в этом.

А в том, что ее содержание «не бьется» с тем, чем она кажется и что как бы заявлено.

Как уже было упомянуто, в книге две сюжетные линии.

Одна из них, малая, — история женщины-финки в тридцатые-сороковые. Советско-финская война, переезд, блокада... Автор, пусть и под определенной, дискуссионной оптикой, выписывает двойственность и эпохи, и частной судьбы: есть две родины, две жизни, и ничего с этим не поделат. Картины середины двадцатого века убедительны, а сама героиня — совсем не безупречная жертва жестоких времен, но человек сложный, изломанный. Эпизод про рис в тряпичной кукле — очень хорош.

Но эта линия занимает в лучшем случае треть текста. Оставшийся объем отдан современности — внешне выписанной подчеркнута реалистически. Что называется, под правду и убедительность. Однако если очистить текст от стилистических наворотов, выходит вот что.

Сложные и в целом хорошие герои

Бабушка Сусанна, матриарх русско-финской семьи и дочь той самой героини первой истории. Хранит преданья старины глубокой (финской, конечно), делится ими с внуком. Все помнит, ничего не забывает и не прощает.

Таня, ее дочь. Главная героиня, учительница. В школе ее мучит казенным квасным патриотизмом директриса, дома тем же самым — муж-военный, по имени Семен. В Таниной груди зреет смутное недовольство, находящее выход в финальном полуадюльтере.

Артур, сын Тани, школьник. Его мучат там же, тем же и те же. Плюс всем в этой семье (кроме Семена) не дает покоя инаковая, как сейчас говорят, идентичность — карело-финская.

Тамара, учительница литературы, подруга Тани. Неформал-правдолюб. Ее тоже не устраивает тот самый казенный патриотизм, о чем она всем постоянно и сообщает в самых непосредственных выражениях.



Сашка, возлюбленный Тани. Деревенский полубандит с чистой душой нараспашку. Внезапно, казенный патриотизм ненавидит и он.

Игорь Владимирович, учитель. Не может больше терпеть все это (догадайтесь что) и увольняется.

Плоские и однозначно нехорошие герои

Жанна Дмитриевна, директриса. Говорит лозунгами и директивами, подавляет все живое, превращает празднование 9 Мая в бездушный ад.

Семен, муж Тани. Бесчувственный солдафон, любит президента и телевизор, даже дома изъясняется армейскими командами.

Фанерная массовка

Лихач. Чуть не сбил женщину с коляской — и у него на заднем стекле автомобиля наклейка «Спасибо деду за Победу».

Алкоголик-хам. Обязательно в пилотке. Предъявляет Артуру за то, что тот «не празднует».

Аглая и Дана, школьницы. В финале первая, с георгиевской ленточкой, повязанной на запястье, блюет под праздничное ура, а вторая, которая нравилась Артуру, обнимается со школьным активистом.

Вот, собственно, и все герои — и почти весь сюжет. Ладно б «Комендань» была заявлена как памфлет, как гротеск, сатира — какие тогда вопросы? Но текст так настойчиво маскируется под ядреный психологический реализм, что хочется протереть глаза. Кажется, будто автор сам не видит театральщины и плакатности выписанных им проблем и характеров. И еще одна ассоциация: какой-то известный, прости господи, интервьюер с «ютуба» прихотливо подбирал гостей — чтоб правильные были симпатичными, а неправильные — бог весть кем. Нравственные качества людей так четко маркированы политически (в широком смысле), что подобной художественной картине мира невольно изумляешься. Помни, читатель: сочувствовать ты должен веселому разбитному Сашке, сработанному под шукшинских героев. А не мужу Тани — солдафону-рогоносцу, который до кучи еще и собачку, злодей, застрелил. Смотри не перепутай.

Кстати, про еще одну авторскую параллель. В самом начале Тамара, учительница литературы, мешающая в речи высокопарные, просторечные («хошь», «ишь», «тудысь») и крепкие слова, прямо называет Таню лучом света в темном царстве. Ага. Стало быть, Таню-Катерину (и всю Комендань-Калинов) злобно гнетут безжалостные Жанна-Кабаниха и Семен-Дикой. Игорь-Кулигин бросает это дело и уходит. Тамара-Варвара (о, рифма!) и Сашка-Кудряш (и немного Борис) подбивают героиню смелыми речами на бунт. Кончается все, конечно, трагически.

Только вот «Комендань» — совсем не «Гроза». И думается, не стоит объяснять почему.

Валерий ИВАНЧЕНКО

ПОЛЬЗА ЖАНРОВОЙ ОБЕРТКИ

Лунёва Анна, Колмакова Наталия. *Черная изба*. — Москва: МИФ, 2024. — 544 с.: ил. — (Читаем Россию).

Московское издательство «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер») открыло в этом году новую книжную серию «Читаем Россию». В ней выходят художественные книги региональных авторов, рассказывающие о российских провинциях. В их числе есть произведения известные и уже некогда изданные, например «Язычник» Александра Кузнецова-Тулянина — роман о людях Курил, номинированный в свое время на «Нацбест». Или «Потерял слепой дуду», повесть красноярца Александра Григоренко, победившая в 2016 году в одной из номинаций «Ясной Поляны». Особо примечателен, однако, тот факт, что открыл эту серию дебютный роман соавторов из Бердска Анны Лунёвой и Наталии Колмаковой. На обложке стоит значок «Читаем Россию. Новосибирская область», действие происходит в Барнауле, Новосибирске и Тогучинском районе. На форзаце есть стилизованная карта, довольно, правда, запутанная (реки Иня и Бердь имеют на ней единый исток).

Лунёва и Колмакова попали к московским издателям не с улицы, а с известного сайта «ЛитРес», и публикация предварена предисловием менеджера этого сайта Дениса Лукьянова. Он сразу же относит текст к жанру магического реализма, называет главную героиню «посредницей между мирами» и утверждает, что авторы «мастерски водят читателя за нос, подтасовывают карты, до последнего не давая понять, где правда, а где выдумка». Все в оформлении этой книги: и название, и обложка, и аннотация, и предисловие — настраивает нас на встречу со страшной, но все-таки сказкой, с литературной игрой. Что же мы видим, открыв сам роман?

Незамысловатый (по первому впечатлению), молодежный, еще точнее — девичий, текст. История семнадцатилетней выпускницы школы, вообразившей себя певицей и не поступившей в новосибирскую консерваторию из-за отсутствия голоса («связки не смыкаются» — так ей сказали). У девушки не все в порядке дома (она приехала из Барнаула; маме на нее, тихую старшую дочку, наплевать, все внимание трудному младшему брату; живут они втроем в проходной хрущевской



двушке, каждая копейка на счету, а брат, похоже, промышляет криминальными заработками), и вот, не желая возвращаться домой победенной, она случайно поступает в колледж на окраине Новосибирска, в Раздольном, чтобы учиться на фельдшера-ветеринара. Потому что так сложились обстоятельства: деваться некуда, идей никаких нет, а здесь ее встретили приятные люди, которые сразу пообещали общежитие и стипендию.

Дальше мы читаем про будни недавней школьницы: как она знакомится с соседками по комнате, налаживает быт, узнает преподавателей, пытается постигать неподдающиеся науки. Написано очень просто, очень традиционно, без всяких затей. Главное для авторов — не сфальшивить, и они справляются на удивление. Здесь все ожидаемо и все очень точно.

Студентки как по команде раскрыли свои сумки. Елена Алексеевна тем временем присела на кровать девушки, которая заселилась в комнату последней.

— Ну как ты, Леночка? — тихо спросила она. — Осваиваешься? Катя, продолжая копаться в вещах, напрыгла слух.

— Все в порядке, — тем же натянутым тонким голосом ответила Леночка, доставая из сумки постельное белье.

— Я понимаю, это не то, о чем ты мечтала, — вздохнула Елена Алексеевна, — но...

— Все нормально, — повторила Леночка еще более напряженно, — это хороший вариант. Мне мама уже сто раз об этом сказала.

Елена Алексеевна грустно вздохнула.

— В любом случае, если у тебя что-то не будет получаться или что-то будет непонятно — сразу иди ко мне. Куратор вашей группы — Светлана Геннадьевна, ты ее знаешь, можешь и к ней обращаться.

На этом моменте начинается интрига, потому что вскоре выясняется, что и зам. директора Елена Алексеевна, и куратор Светлана Геннадьевна, и новая соседка по комнате Леночка — все родом из одной глухой деревни в лесах Тогучинского района. Сюжет про «странности» окраинного колледжа развивается медленно, подспудно, и мы понимаем, зачем он нужен. Чтобы не разочаровать нас обещанием страшной сказки. Только читаем мы не ради сказки. Нам интересна судьба барнаульской девушки Кати, интересны ее переживания, ее отношения с миром. Вот умирает бабушка, единственный человек, который Катю любил. Она завещает внучке имущество: квартиру и дачный участок. Мама демонстрирует безразличие, но тут же сдает квартиру жильцам («буду посылать тебе больше денег»). И мы, в общем, предполагаем, чем дело кончится. Вот настоящая интрига, которая держит куда лучше, чем таинственная деревня в тогучинских лесах.

Проблема рецензирования книги в том, что нельзя допускать спойлеров, нельзя раскрывать сюжет, слишком это бессовестно по отношению к читателю. Ведь здесь у нас дважды триллер — и бытовой, и экзотический, так что убивать читательское ожидание (саспенс) — последнее дело. Потому ограничимся утверждением, что книга действительно увлекательная, и обратимся к частностям.

Труднейшее для начинающих писателей — прямая речь, в ней сейчас фальшивят, как правило, все. У Лунёвой и Колмаковой диалоги

персонажей очень естественные, как будто авторы учились по журналам «Юность» семидесятых годов, когда простота и естественность были нормой.

— В пед тоже неплохо! — Катя щелкнула кнопкой чайника. — У меня бабушка учительница. Правда, дети сейчас вредные пошли...

— Да они всегда вредные, — отмахнулась Вика. — Вон Людка моя. Из кого хошь душу вынет, если ей что надо... Лен, а ты нас рисуешь?

— Нарисую, если хотите. — Леночка отвлеклась от портрета и внимательно посмотрела на Вику. — Только я сама решу, как рисовать. Ну, в какой позе.

— Только не голый! — в притворном ужасе замахала руками Вика. — Я такое никуда выложить не смогу!

— Не голый, — согласилась Леночка. — Я такое не умею, очень сложно. Вот лица я неплохо рисую, это да.

В сюжете романа есть несколько поворотных моментов, и сопровождающие их драматические сцены выписаны просто отлично. Опять же обойдемся без спойлеров, но скажем, что диалоги сделаны буквально по учебнику голливудского гуру Роберта Макки. Не думаю, что авторы его изучали, тут все попадания, скорее всего, обусловлены природным чутьем.

— Значит, в суд пойдем! — попытожил Андрей. — Скажем, что мать на тебя надавила, что ты была не в адеквате. Ты наверняка была не в адеквате. Она такую истерику в общаге закатила, когда тебя увозила, что сложно было сохранить здравый рассудок. А еще упомянем про брата в тюрьме — и все станет ясно...

— Не пойду я ни в какой суд! — закричала Катя и прикусила язык: машина резко остановилась.

— Приехали, — безразлично сказал водитель.

— Куда? — не понял Андрей. — Только барахолку проехали, тут еще километров пять.

— А мне скандалисты не нужны, — бросил водитель через плечо. — Выходите.

— Ладно, будем молчать, — покладисто согласился Андрей. — Давай двигай. Ну не выгонишь же девчонку снег месить на трассе? Водитель тяжело вздохнул и снова завел мотор.

У поворота на общагу таксист остановился. Катя вышла из машины и тут же бросилась бежать, но Андрей легко догнал ее и схватил за руку.

— Кать, ты понимаешь, что я прав? Иди умойся, переоденься, а потом нам нужно...

— Ничего мне не нужно! — яростно взвизгнула Катя, вырываясь. — Отпусти меня, идиот!

— Это ты себя ведешь как идиотка! Подо всех прогибаешься, кто захочет прогнуть! Я тебе помочь хочу, а ты...

— Да иди ты! — Катя наконец высвободилась из его хватки и побежала к крыльцу.

Задыхаясь от подступающих к горлу рыданий, она пронеслась по коридору, рванула на себя дверь, влетела в комнату, не разуваясь, и закрыла замок на три оборота. Еще с минуту она тупо смотрела на обитое дерматином полотно, как будто ожидая стука, но в коридоре было тихо. Катя бессильно сползла по стенке на мокрую тряпку, которая служила им ковриком, и разрыдалась, уже не пытаясь себя сдерживать.



Да, это беллетристика и мелодрама, но образец прекрасный, ни ноты фальши.

Или вот:

Ей очень нравилось ходить с Андреем под руку по заснеженной улице до колледжа и обратно, нравилось сидеть с ним рядом и делать домашку или смотреть фильм. Нравилось, как он забирает у нее тяжелую сумку с книгами, как тихонько, одними губами, подсказывает на опросах. Со дня Катиного переезда они стали гораздо меньше бывать вдвоем: ей больше не нужно было ходить на общую кухню и в душ, а в комнате и на прогулках рядом всегда толклась Леночка, и где-то в глубине души Катю это даже устраивало. Наедине Андрей мог прижать ее крепче, начать целовать в губы, гладить по спине вдруг потяжелевшей рукой, отчего ей становилось не по себе. Вроде бы и глупо, ведь он ее парень и у них... любовь? Но Катя не чувствовала ничего такого, о чем пишут в романах, — только неловкость и растерянность.

Есть в романе свидетельства подлинного умения авторов в виде внезапного художественного отступления размером в абзац, но обычно они пишут так: «Ноябрь подходил к концу, Раздольное вовсю заметало сугробами. Утоптанная старательными студенческими ботинками дорожка от общаги до колледжа неприятно блестела в свете фонарей».

Помню, в конце 70-х годов (я был тогда школьником) в Новосибирске стала хитом опубликованная в «Сибирских огнях» повесть о девушке, совращенной взрослым ловеласом. Суть была в том, что ухажер заразил героиню венерической болезнью, а большая часть произведения описывала быт лечебного учреждения, в котором девушка оказалась. Повесть скандального содержания шла нарасхват.

Стоит задуматься: получил бы издателя и читателей роман Лунёвой и Колмаковой о переживаниях самостоятельной юной студентки, если бы не было в нем второго сюжета с inferнальным культом из таежной деревни, если бы жанр не был заявлен как «хтонический хоррор»? Вспомним, что первый, «студенческий» роман Алексея Иванова «Общага-на-крови» был опубликован только после успеха нескольких его более поздних бестселлеров. Хотя страстей в той «Общаге» было куда больше, чем в честной книге наших бердчанок о взрослении и одиночестве.

Жанровая обертка, коммерческая маркировка необходимы сейчас для хоть какого-нибудь успеха. Точнее, для гарантированного доступа к аудитории. Сам успех задается не жанром, в котором мы принципиально отстаем от переводных образцов. Главное все-таки — правда, жизненность, узнавание. В общем — литература.

Есть ли в книге фантастика? Есть, ведь после всех страшных событий героиня вдруг обретает голос и с легкостью поступает в консерваторию. В остальном авторам удалось пройти по тонкой грани между реализмом и мистикой. Да, атмосфера тайны неуклонно сгущается. Но начала мистических событий ждешь без всякого предвкушения, скорее с недовольством, ведь известно, что, когда фантастическое вылезает наружу,



зачастую вместе с правдоподобием пропадает и интерес. К счастью, все ирреальные события, которых здесь не так много, можно объяснить суевериями, совпадениями, психическими аномалиями, галлюцинациями, наконец. Такая игра с читателем имеет почтенную традицию. Из современных авторов, успешно использующих подобный прием, назову Эдуарда Веркина и Марию Галину. Кстати, их книги побеждали на конкурсе литературной премии «Новые горизонты» в 2016 и 2017 годах. Думаю, среди номинантов премии этого года мы увидим Лунёву и Колмакову.



Инна КИМ

ЧТО ТАКОЕ КРАСОТА?

Разговор с художником Олегом Шелудяковым

Что такое красота? Сонное дыхание речного рассвета? Или заплаканное дождем синее сияние улицы, идущее сквозь слезы сомкнутых ресниц, сквозь строй стойких одноногих солдатиков-фонарей, расплывающихся в зеркалах тротуаров разноцветным вечерним одиночеством? А может, отзывающийся сладкой болью в межреберье тихий и солнечный, медово-карий женский взгляд? Красота — это всё и ничего. Вопросы и ответы. Тайна. Это присущая миру гармония, которую можно увидеть в каждой картине 53-летнего живописца Олега Шелудякова.

Он родился в Новосибирске. Живет в Ницце. Своим местом работы называет земной шар. За минувшие три десятка лет своей выставочной деятельности провел около 50 персональных выставок в России, Греции, Словении, Германии, Голландии, США, Франции. Его живопись — эмоциональная, искренняя, образная, пронзительная — рождает ассоциации, исполнена глубины, оставляет послевкусие счастья.

Учителя

— Думаю, в жизни каждого живописца есть как минимум три вида учителей. В первую очередь это педагоги, которые помогли постигнуть азы ремесла. Во вторую — мастера прошлого, без которых невозможно осознать собственный путь и свое место в искусстве. Наконец, это твои коллеги, товарищи по профессии, та творческая среда, которая позволяет не замыкаться на себе, но общаться с другими, обмениваясь энергией, идеями, образами, планами, проектами.

Мне повезло. В моей жизни были и замечательные учителя живописи и рисунка, и мощная «накачка» многочисленными музеями по всему миру, и прекрасные друзья-коллеги, с которыми мы, зачастую находясь в разных частях света, продолжаем быть связанными тонкими нитями творческого единства.

Обретение профессии

— Все детство я рисовал в художественной студии «Калейдоскоп» в новосибирском Академгородке. Здесь находился мой «карманный рай» — мольберты, драпировки, бутафорские фрукты для натюрмортов, гипсовые головы, нарядные баночки вкусно пахнущей гуаши. Здесь я решил, что обязательно стану художником.

Однако мой путь в профессию не был прямым. После школы я поступил на архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института, где быстро понял, что архитектура — это не мое. Но, словно замыкая причудливый орнамент судьбы, именно этот факультет много лет спустя закончила моя жена.

А я поменял архитектуру на историю, благополучно закончив историческое отделение гуманитарного факультета НГУ. Учиться там было легко и интересно. Но и живопись я не оставлял — еще во время студенчества начались мои первые выставки. Вот тогда я окончательно понял, что моя жизнь непременно будет связана с живописью. А когда продал свою первую картину — сразу же отправился в Петербург. На заводе художественных красок купил целую гору масла, отправил в Новосибирск десяток посылок. На пару лет работы хватило.

Некоторое время я учился на факультете монументально-декоративной живописи в Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Он только открылся, все дышало поиском, экспериментом, веселой провокацией — вполне в духе времени. Был разгар девяностых... И вновь я обрел свой рай!

Опять были мольберты, палитры, запах краски, вечернее рисование, споры об искусстве. Но мне хотелось поднатореть в академическом рисунке, и я поехал в Петербург, на рисовальные классы при Академии художеств, где была совсем другая атмосфера — никакого вольнодумства. Зато рисовать там учили основательно, в дальнейшем это здорово пригодилось. После этого я и пустился в свободное плавание вольного художника.

Жизнь коротка, искусство вечно

— За всю мою жизнь я, кажется, еще не встречал человека, которому бы удавалось существовать беззаботно: что в Ницце, что в Новосибирске. Забот хватает везде, никто без них не останется. Жизнь художника в чем-то легче, а в чем-то сложнее жизни любого другого человека. Главное — быть уверенным, что занимаешься своим делом, и тогда внешние обстоятельства будут складываться в соответствии с твоими убеждениями.

Конечно, в идеале художник должен заниматься исключительно искусством, а арт-менеджмент — совершенно параллельное занятие. Увы, в реальности зачастую приходится совмещать и то, и другое. Важно следить, чтобы центр тяжести все же оставался в сфере творчества, а не бизнеса. Ведь, как говорили римляне, *vita brevis, ars longa* — жизнь коротка, искусство вечно.





Поиск собственного пути

— Помимо своей излюбленной живописи маслом, я когда-то весьма увлеченно занимался керамикой, книжной иллюстрацией, пробовал себя в остроактуальных четверть века назад формах — перформансах и инсталляциях. Это был любопытный опыт. А вскоре все мое внимание захватила компьютерная анимация. Где-то на год я с головой погрузился в цифровой мир, нарисовал около двух десятков коротеньких мультфильмов. А когда я более-менее разобрался, как все это работает, интерес к анимации стал иссякать, и я вернулся к масляной живописи.

В то время я как раз начал активно выставляться в Европе, так что быстро оставил все, что не вписывалось в жесткие рамки: холст-масло. С одной стороны, у меня просто не было времени на что-либо иное, а с другой — я осознал, что именно живопись, как некая волшебная пещера, таит в себе бесконечные загадки и сюрпризы. И чтобы пройти по всем ее тайным ходам и тропкам — не хватит и трех жизней.

Сферу ИЗО, в которой я работаю, можно приблизительно обозначить как фигуративную живопись, выросшую на традициях экспрессионизма. Считаю, что в наше время закончилась эпоха многочисленных «измов», которые определяли изобразительное искусство минувшего XX века. Сейчас это пространство формируется по принципу «один художник — один стиль». Даже если того или иного художника и можно условно обозначить как «абстракциониста» или «сюрреалиста», то содержательные подобные определения мало что о нем скажут, настолько широки и неопределенны пластические границы того или иного направления.

Не разрывая связи с родиной

— Я никогда не считал, что окончательно покинул город, в котором родился. Но так сложилась судьба, что с начала 2000-х я стал все чаще выставляться за границей, главным образом в Европе. Постепенно стал проводить там больше времени и с 2005 года поселился во Франции.

Однако практически ежегодно в Новосибирске проходят мои персональные выставки. Так, минувшим летом в залах Дома ученых Академгородка прошла большая выставка «Полдень в Ницце». Там было представлено около 80 работ. А этим летом — в июле-августе 2024-го — будет открыта масштабная экспозиция на четыре зала в ЦК19 на Свердлова, 13. Заранее приглашаю!

В общем, я не разрываю связи с родным городом. Тем более что в Новосибирске остались мои родители, близкие. Это одна из причин, по которой я стараюсь каждый год приезжать в Сибирь. К слову, многие мои друзья тоже живут за пределами Отечества. С кем-то мы пересекаемся в разных широтах земного шара, а с некоторыми видимся только в Новосибирске — они тоже регулярно возвращаются домой.

Внутренняя и внешняя реальности

— Самое любимое место — это Академгородок, где прошло мое детство. Приезжаешь сюда — и словно пазл складывается, все оказывается на своих местах, гармония мира восстанавливается. НГУ, ботсад, Обское море... Все это настолько близко и знакомо, что ощущается как неотъемлемая часть меня самого, некое расширенное в пространстве собственное тело. Центр Новосибирска я тоже люблю — художественный музей, родную архитектурно-художественную академию. Еще обязательно бываем с детьми в оперном театре.

Однако я крайне редко рисую Новосибирск, хотя жанр городского пейзажа — один из моих любимых. Дело в том, что в самом акте изображения того или иного городского вида есть некая экспансия, покорение пространства, своего рода конфликт, освоение нового. Мои же отношения с родным городом настолько спокойны и гармоничны, что в них не остается места для подобного напряжения. А где нет напряжения — там нет искусства.

Поэтому на моих картинах можно видеть площади, каналы, улицы Парижа и Амстердама, Нью-Йорка и Берлина, Барселоны и Венеции. Они, безусловно, прекрасны, но являются по отношению ко мне внешней реальностью, которая нуждается в освоении. Речь идет о некоем спарринге художника и пространства. А тихие уголки новосибирского ботсада — это реальность внутренняя, уже давно ставшая частью меня, и потому не нуждающаяся в подобном поединке.

Как поймать вдохновение

— Аппетит приходит во время еды, а вдохновение — во время работы. Если лежать на диване и ждать, когда оно снизойдет, то, скорее всего, ничего не дождешься. Живопись для меня — это, прежде всего, профессия. Занятие, которому я посвящаю свое основное время и которое является моим единственным источником дохода. Поэтому с музой я строг, не могу себе позволить зависеть от ее капризов: сегодня пришла, завтра нет. Она является как на службу, четко и без опозданий. Наступило утро, раскладываем на палитре краски — извольте включить вдохновение, ждать некогда. И это работает.

Для художника крайне важна внутренняя собранность и организованность. Я терпеть не могу любую навязанную мне извне дисциплину, но дисциплина внутренняя, осмысленная, добровольная — совершенно необходима. Этот принцип я определил для себя очень давно — и с годами его лишь оттачиваю.

Ну а чтобы зарядиться для плодотворного труда, я стараюсь побольше читать, путешествовать, выбираться с семьей на концерты классической музыки, в музеи и на интересные современные выставки. Путешествия



вообще взбадривают дух, расширяют кругозор, замедляют время, которое с возрастом имеет тенденцию ускоряться. Правда, в далекие страны мы выбираемся не так часто, как это было раньше. Зато внимательно изучаем то, что под рукой: Прованс и Лазурный берег.

Это прекрасные края с богатой историей и удивительно разнообразной природой. Тут и заснеженные горные вершины, и переменчивое — пронзительно синее, изумрудное, лазурное — море, и сосновые леса, и долины рек, и горные озера, и разноцветные скалы. Жизни не хватит, чтобы заглянуть в каждый уголок этой, казалось бы, не такой уж необъятной земли.

Семья — тоже отличный источник вдохновения. Дочь все больше рисует, интересуется искусством, хотя нарочно я ее к этому не подталкиваю. В этом году она начала ходить в городскую художественную школу в Ницце. А вот сын тянется к музыке, он отважно пытается осваивать виолончель, с которой примерно одного роста. А вообще общение с детьми — это само по себе ежеминутное творчество, увлекательный экзамен, одновременно трудный и веселый для всех участников.



АВТОРЫ НОМЕРА

Владимиров Сергей Андреевич родился в 1977 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Журналист. Автор сборника рассказов «Дорога на Старобалык» (2022). Живет в Новосибирске.

Воробьев Руслан Сергеевич родился в 1999 г. в городе Клину Московской области. Окончил филологический факультет Тверского государственного университета по специальности «Литературное творчество». Публиковался в журналах «Топос», «Нижний Новгород», «Москва» и др., альманахах и сборниках. Финалист всероссийских и международных литературных конкурсов. Лауреат 15-го молодежного литературного конкурса журнала «Север» «Северная звезда» (2023). Автор книги «Русские писатели на Клинской земле». Живет в Клину.

Иванченко Валерий Георгиевич родился в 1963 г. в Магадане. Окончил исторический факультет Алтайского государственного университета. Работал обозревателем газеты «Книжная витрина». Член жюри и номинатор литературной премии «Новые горизонты». Лауреат годовой премии «Сибирских огней» за 2023 год. Живет в Барнауле.

Ким Инна родилась в Осинниках (Кемеровская область). Окончила Новокузнецкий педагогический институт. Удостоена знака «Мастер» за вклад в журналистику. Неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных литературных и драматургических конкурсов. Публиковалась в ряде сборников прозы, журналах «Новая юность», «Сибирские огни», «Литература», «Огни Кузбасса», альманахах «Образ», «Кузнецкая крепость». Живет в Новокузнецке.

Коберниченко Анатолий Борисович родился в 1968 г. в Донецкой области. Выпускник Рязанского военного автомобильного училища. Служил в ВС РФ на командных и научно-педагогических должностях. Автор более ста научных и методических работ. Более десяти лет работает в сфере строительства. Ранее не публиковался. Живет в поселке Знамя Октября (Новая Москва).

Комаров Константин Маркович родился в 1988 г. в Свердловске. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор нескольких книг стихов и сборников литературно-критических статей «Быть при тексте», «Магия реализма». Член Союза российских писателей. Живет в Екатеринбурге.

Короткова Наталья Сергеевна родилась в 1974 г. в городе Бердске Новосибирской области. Окончила факультет психологии Новосибирского гуманитарного института. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Молодая гвардия», «Дон» и др. Лауреат ежегодной литературной премии журнала «Сибирские огни» (2018). Член Союза писателей России. Живет в Бердске.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюлье Верне, Уэллсе, Брэдли и др. Заслуженный работник

культуры РФ, лауреат ряда литературных премий. Живет в новосибирском Академгородке.

Прокопов Евгений Васильевич родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства. Автор семи книг (проза, очерки, пьесы). Публиковался в журнале «Сибирские огни». Член Союза писателей России, Творческого союза художников России. Живет в Новосибирске.

Пэйт Элинор (Eleanor Pate) родилась в 1984 г. в поселке Шушенское Красноярского края. Натуралист, фотограф, писатель. Работала в Саяно-Шушенском заповеднике, национальном парке «Шушенский бор». В настоящее время доцент в Центре природы и заказнике города Форт-Уэрт (штат Техас, США). Член Союза журналистов России. Автор ряда публикаций, а также сборника стихов и сборника рассказов. Живет в США.

Родионов Иван Валерьевич родился в 1986 г. в Волгоградской области. Литературный критик, редактор. Публиковался на порталах «Год литературы» и «Горький», в журналах «Новый мир», «Наш современник», «Звезда», «Юность», в «Российской газете» и «Литературной газете» и др. Автор книги «Счѣтчик. Путеводитель по литературе для продолжающих» и «На дно, к звездам. Заметки об отечественной литературе 2019—2021 годов». Член Литературной академии премии «Большая книга». Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Камышине.

Рысенков Василий Николаевич родился в 1966 г. в пос. Кречевницы Новгородской области. Окончил аграрный вуз, работал агрономом и учителем. В настоящее время преподает литературу и ряд других дисциплин в Колледже Росрезерва города Торжка. Публиковался в журналах «Нева», «Москва», «Русская провинция», «Сибирские огни» и др. Автор шести сборников стихотворений. Член Союза писателей России. Живет в Торжке.

Рычкова-Закаблукская Алена родилась в 1973 г. в с. Баклаши Иркутской области. Публиковалась в журналах «Плавучий мост», «Байкал», «Юность», «Сибирские огни» и др. Лауреат и дипломант ряда международных поэтических конкурсов, лауреат премии журнала «Этажи». Автор поэтических книг «В богородский сад», «Птица сороказим», «Про свет». Член Союза российских писателей. Живет в Иркутске.

Смирнов Сергей Михайлович родился в Москве. Окончил Московский железнодорожный техникум. Публиковался в журналах «Кольцо А», «Нева», «Юность», «Север», «Крещатик», «Формаслов», «Причал», «Метро», «Дальний Восток», «Дрон», в сборниках «Земляки», «День и ночь», «Урал», «Москва». Трижды лауреат литературного конкурса маринистики им. Константина Бадигина. Сценарист документального кино. Лауреат кинофестивалей «История и культура», «Белые ночи» (Санкт-Петербург), «Киноклик» (Ярославль), «Киноток», «Отцы и дети» (Орел). Живет в Москве.

Фокин Александр Алексеевич родился в 1966 г. Доктор филологических наук, профессор Ставропольского государственного педагогического института, почетный наставник сферы образования Ставропольского края, почетный работник сферы образования Российской Федерации. Автор более 200 научных статей и книг, среди которых учебники по русской литературе XX века, монографии, издания произведений И. Д. Сургучёва.

Частные лица и организации в Российской Федерации
и в странах СНГ могут подписаться
на журнал **«СИБИРСКИЕ ОГНИ»** в любом отделении связи —
красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России,
Администрация Новосибирской области.
Журнал зарегистрирован в Государственном комитете
Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15
E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»
630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104
<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 23.07.2024.
Дата выхода № 8 за 2024 г. в свет 19.08.2024.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 11,79.
Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака
просим обращаться в типографию.



Олег Шелудяков.
Бродячий фокусник.
2009



Олег Шелудяков. Ницца. Площадь Массена после дождя. 2009

